

2

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

ISSN 0206-8680

КИНОСЦЕНАРИИ

1987

ИЗДАЕТСЯ
С 1973 ГОДА

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ

2

1987

- 3 *Н. Джанелидзе, Т. Абуладзе, Р. Квеселава*
ПОКАЯНИЕ
- 26 *Р. Ибрагимбеков*
СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
- 49 *Е. Ласкарева*
СКОРЫЙ ПОЕЗД
- 71 *В. Мережко*
АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО
- 93 *Е. Григорьев*
ОТЦЫ, 66
- 127 *А. Червинский*
ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА
- 163 *Л. Гуревич*
Сценарии документальных фильмов
**ЕСТЬ НАД ЧУЕЙ-РЕКОЮ ДОРОГА...
ЛЮБОВЬ
СЦЕНЫ У ФОНТАНА**

ГОСКИНО СССР
МОСКВА • 1987

Главный редактор В. СОЛОВЬЕВ

Редакционная коллегия:

О. АГИШЕВ, С. АНТОНОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ, Е. ГРИГОРЬЕВ,
Р. ИБРАГИМБЕКОВ, В. СЫТИН, С. СОЛОВЬЕВ,
В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ

Ответственный секретарь Е. КЛЕЙНЕР

Выпуск подготовили к печати:
О. ГОРБАЧЕВА, Н. РЮРИКОВА,
Т. ПОКРОВСКАЯ, М. СЕРГИЕНКО

Технический редактор Л. РЯБЫКИНА
Корректор И. АВETИСОВА
Мл. редактор Т. ЕРМОЛОВА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

© В/О «Союзинформкино».

Сдано в набор 11.02.87. Подписано к печати 24.04.87. А08483. Формат 70×100 1/16. Усл. печ. л. 15,6+0,32
Уч.-изд. л. 20.3. Усл. кр.-отг. 796,0 тыс. Печать офсетная, Бумага типограф. «Сыктывкар» Гарн. таймс.

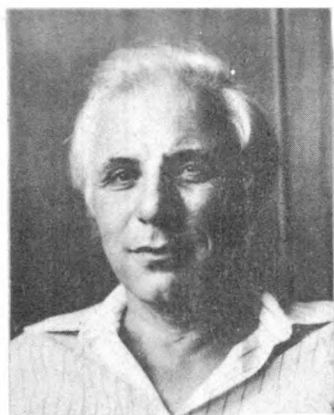
Тираж 68750 экз. Заказ № 448. Цена 1 р. 20 к.

Всесоюзное объединение «Союзинформкино» 109017, Москва, Б. Ордынка, 43. Тел. 231-11-33.

Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., д. 12.

Телефон 299-47-74.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат В/О «Союзполиграфпром»
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
142300 г. Чехов Московской области



НАНА ТАМАЗОВНА ДЖАНЕЛИДЗЕ в 1979 году окончила режиссерский факультет Грузинского Государственного института им. Шота Руставели (творческая мастерская народного артиста СССР Тенгиза Абуладзе). Дебют в качестве режиссера состоялся в 1985 году — Нана Джanelидзе поставила по своему сценарию короткометражный фильм «Семья». Н. Джanelидзе является вторым режиссером и музыкальным оформителем фильма «Покаяние».

ТЕНГИЗ ЕВГЕНЬЕВИЧ АБУЛАДЗЕ (родился в 1924 году) окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дебют в кино состоялся в 1955 году, когда он вместе с режиссером Р. Чхеидзе поставил короткометражный фильм «Лурджа Магданы» на киностудии «Грузия-фильм». Тенгиз Абуладзе соавтор сценариев всех своих фильмов: «Я, бабушка, Илко и Иларийон», «Мольба», «Ожерелье для моей любимой», «Древо желания» и др. Эти фильмы были награждены международными призами.

РЕВАЗ АКАКИЕВИЧ КВЕСЕЛАВА (родился в 1933 году) окончил Тбилисский институт иностранных языков. С 1965 года работает редактором сценарной коллегии киностудии «Грузия-фильм». Р. Квесе-лава соавтор сценариев художественных фильмов «Мольба», «Грузинская хроника XIX века», «Путь домой».

Фильм по сценарию «Покаяние» снял кинорежиссер Тенгиз Абуладзе на киностудии «Грузия-фильм». Михаил Квливидзе — автор и диктор русского закадрового текста фильма.

НАНА ДЖАНЕЛИДЗЕ, ТЕНГИЗ АБУЛАДЗЕ, РЕВАЗ КВЕСЕЛАВА

ПОКАЯНИЕ

Старый уголок провинциального города.

Откуда-то доносятся нежные звуки гитары — играют старинный вальс. По мостовой проезжает, нарушая тишину, фаэтон, запряженный четверкой лошадей, и останавливается у маленького домика.

Из фаэтона выходит молодая красивая женщина в роскошном парчовом платье, изящно вспархивает на специально установленный стульчик и стучит в окошко.

В окне появилась Кети Баратели с огромным нарядным тортом в руках и, привычно улыбаясь, передала его заказчице.

Фаэтон отъехал. На улице воцарилась тишина, опять доносятся звуки грустного вальса.

Крошечная квартирка Кети Баратели заставлена разноцветными сказочными торта-

ми, украшенными старинными храмами из крема с крестами на куполах. Хозяйка этой скромно обставленной квартиры — молодая женщина с утонченным, усталым лицом. Быстрыми привычными движениями рук Кети Баратели делает золотистые кресты, бирюзовые купола, алые розы.

Мужчина в зеленом френче без погон, сосед Кети, уютно расположившись в кресле, жадно зачихнул в рот купол храма. Вдруг взгляд его упал на газету с портретом в траурной рамке.

— Боже мой, какое несчастье! — воскликнул он, всплеснув руками.

— Что случилось, Аполлон?

— Какого великого человека мы потеряли! Боже мой, боже мой!

— Он твой родственник?

— Больше чем родственник! Ближе не было у меня друга!— не переставая жевать, запричитал гость.

Кети надела очки и с интересом стала рассматривать портрет. Тень удивления скользнула по ее лицу.

— Счастливец ты...— многозначительно заметила она.

— Кончилось мое счастье, не стало дорого Варлама!

— И все-таки повезло тебе, что ты знал такого человека...

... Просторный, сверкающий белизною зал утопает в красных гвоздиках. Посреди зала установлен гроб с телом Варлама Аравидзе— бывшего важного сановника. На стене увеличенная фотография покойного с траурной лентой.

Около гроба стоят ближайšie родственники: его сын Абель Аравидзе, который тоже, как и его отец, на вершинах власти, жена Авеля— красавица Гулико и единственный внук усопшего— семнадцатилетний Торнике. Вокруг— их друзья.

На лицах собравшихся— почтительная скорбь, которая не может полностью стереть выражения собственного достоинства, усиленного важностью происходящего: хоронят большого человека! И только в глазах Торнике искреннее страдание и боль.

Народу очень много. Не иссякает поток соболезнающих. Каждый стремится засвидетельствовать свою причастность к горестному событию, которое постигло не только семью Аравидзе, но и весь город, возможно, всю страну, поскольку умер не просто глава семьи, а великий государственный муж.

Перед Авелем проходит вереница сочувствующих сановников. С подобострастием, стараясь перещеголять друг друга, они обращаются к Авелю:

— Никогда уже у нас не будет такого городского головы, никогда!

— Какого человека мы потеряли!

— Какая утрата!

— Соболезную!— сказал Авелю Аравидзе большой тучный человек, пожимая ему руку.— А почему его в Пантеоне не хоронят? Наверное, сам не захотел? Молодец, Варлам! Он всегда отличался скромностью.

— Варлам не умер, нет!— крикнул из толпы Аполлон.— Его душа здесь, с нами, она витает в воздухе, мы дышим ею!

К Авелю стремительно подошел один из его друзей и что-то тихо сказал ему на ухо. Абель изменился в лице.

— Идет,— взволнованно предупредил он собравшихся.

Тревожный шепот пробежал по толпе. Все приводят себя в порядок, приосаниваются, замирают в ожидании важного гостя.

В зал вошел крохотный человек с бород-

кой в нелепом одеянии в сопровождении четырех верзил-охранников. Все почтительно расступились перед карликом и его свитой.

— Большое спасибо, патрон, что вы почтили меня своим посещением,— согнулся в поклоне Абель.

— Да здравствует наш благодетель Церецо!— закричал, приподнимаясь на цыпочки, чтобы его было видно в толпе, Аполлон.— Похлопаем ему, господа!

Все зааплодировали. Крошка Церецо некоторое время наслаждался устроенной ему овацией, потом властным жестом остановил воодушевленную толпу, неторопливо достал из кармана своего жилета заранее приготовленную речь и зачитал ее:

— Дамы и господа! Еще несколько минут, и прозвонит колокол расставания, и мы предадим земле прах великого сына отчины, человека высокой души, светлого ума и доброго сердца, всеми любимого, глубокоуважаемого Варлама Аравидзе! Наверное, многие из вас обратили внимание на глубоко волнующую, мудрому надпись на венке от друзей покойного. Она выражает мысли и чувства каждого из нас: «Один мертвец бывает лучше порою тысячи живых»... У дорогого Варлама было много достоинств, всех не перечислить. Но не могу не отметить одно: он обладал необычайным даром превращать врага в друга и друга во врага! Да, это свойство избранных!— Церецо возвел глаза вверх и, помолчав немного, прочитал патетично:

Вот гроб— как шведский стол,

Стоит в просторном зале.

И лица меркнут в мутных зеркалах,

Но смерти нет!.. А есть сальто-мортале

Греховной плоти и предсмертный страх.

Спи спокойно, неутомонный труженик! Пусть будет пухом тебе родная земля!

И все благоговейно слушавшие карлика Церецо запели мощным хором гимн родине, который звучит, как клятва верности делам покойного.

Похороны начались.

Из роскошного особняка Аравидзе вынесли венки и корзины с цветами: поток алых гвоздик выплеснулся из широко раскрытых дверей во двор с фонтанами и беседками, газонами и оранжереями. По мраморной лестнице несут портрет, затем гроб— на высоко поднятых руках,— и траурная процессия направилась к кладбищу.

Могилу засыпали землей.

Семья Аравидзе— Абель, Гулико и Торнике— покинула кладбище. За ними следовали четверо близких друзей Авеля:

— «Он уйдет,— артистично продекларировал один из них, похожий на воблу,— другой придет в этот мир цветущий»...

— Воистину, воистину...— подхватил мощный толстяк, и все прыснули от смеха.

Прошла ночь. Светает.

В доме Аравидзе тишина. Только в спальне у Гулико горит свет. Гулико перед трюмо мажет лицо кремом. Авель курит в постели.

— Что же не соизволила твоя милашка явиться на похороны?— насмешливо кривя губы, спросила Гулико.

— Не болтай глупости!— нахмурился Авель.

— Впрочем, и без нее все хорошо прошло,— лениво потягиваясь, сказала Гулико, сбросила с себя халат и скользнула под одеяло...

— Мой хороший мальчик, сиротинушка моя, бедный мой Авель,— ласкалась Гулико к мужу, пачкая его кремом и напрашиваясь на ответную ласку.

— Что с тобой? Перестань паясничать!— рассердился Авель.— Почему здесь этот портрет?

В углу комнаты, прислоненный к стене, стоит портрет Варлама в траурной рамке.

Гулико нехотя встала, нагая и прекрасная, небрежно закинула портрет на шкаф и возвратилась к мужу.

В страстный шепот милующихся супругов неожиданно ворвался тоскливый вой дворовой овчарки.

— Чего она воеет, проклятая?— испугался Авель.

— Ты лежи, я посмотрю.— Гулико накинула на плечи халат и вышла во двор.

Через мгновение раздался ее истошный крик:

— Авель!

Из дома выбежал Авель:

— Что случилось?! Что с тобой?!

С перекошенным от страха лицом Гулико выкрикнула:

— Не подходи туда, там... у бассейна... под деревом...

Авель бросился к бассейну и остановился как громом пораженный: покойник Варлам собственной персоной стоял со скрещенными руками на груди, прислонившись к дереву.

Ночь на кладбище. Сквозь крошечную тьму пробивался слабый луч света. Постепенно вырисовывались очертания людей— это четверка друзей Авеля, несущая на плечах гроб с телом Варлама. Молчаливую процессию возглавлял Авель с фонарем в руках. Тут же и сын его Торнике. С трудом пробравшись через узкие проходы между железными могильными оградами, они опускают гроб в могилу и вновь засыпают ее землей.

И снова раннее утро. Встав с постели, Гулико подошла к окну и раздвинула шторы. Лицо ее искажил ужас:

— Авель! Посмотри...— истошно закричала она.

Во дворе, под тем же деревом, так же скрестив руки на груди, стоял покойник Варлам.

Представители власти— префект полиции, следователь, а также журналист и фотограф— внимательно осмотрели место происшествия. Четверка Авеля находилась тут же.

— Труп надо арестовать,— веско изрек префект.— Кто его первый обнаружил и при каких обстоятельствах?

— Гулико первая увидела,— сказал длинный, похожий на воблу.

Напустив на себя важный вид, префект направился к дому Авеля. Навстречу ему вышла Гулико.

— Здравствуйте, уважаемая Гулико.

— Здравствуйте.

— Когда вы его увидели?

— Утром проснулась и вижу— стоит, бедняга, прислонившись к дереву...

— Покойника придется арестовать!

— Как— арестовать?

— Это необходимо для следствия. Не волнуйтесь, через час вы получите уважаемого Варлама в целости и сохранности.

— Тогда действуйте,— разрешила она.

Четверка Авеля приступила к операции «ареста покойника».

— Только в перчатках!— остановил их следователь и протянул им белые перчатки.

Руки в белых перчатках запикивают труп Варлама в тюремный катафалк, запряженный парой гнедых.

— Ну и времена,— ехидно заметил мощный толстяк, залезая в катафалк,— самого Варлама арестовали!

Четверка захихикала в катафалке.

— Тс-с,— шикнул похожий на дуболома.

Все замолкли, и катафалк тронулся.

У ворот дома Аравидзе остановился «мерседес». Из него вышел Авель и направился к Гулико:

— Ну, как? Был?— нетерпеливо спросила она.

— Был.

— И что?

— Не принял меня.

— Я так и знала. Кто-то явно опередил нас и донес.

С балкона соседнего дома свесился Аплон и прокричал:

— Глубокоуважаемый сосед мой Авель! Неужели вы надеетесь на их помощь?

— А что прикажете делать?— огрызнулся Авель.

— Вот вам мой совет: поставьте на моги-



В роли Варлама Аравидзе — актер Автандил Махарадзе.

лу железную клетку, повесьте на дверцу замок, закройте его, ключи — в карман, и все! Пусть тогда копают!

На могиле Варлама — железная клетка с большим амбарным замком. Четверка Авеля любит делом своих рук. Тут же суетится и вездесущий Аполлон.

— Лев в клетке! — самодовольно воскликнул он. — Пусть теперь кто-нибудь тронет его!

Смерив его презрительным взглядом, Авель резко повернулся и быстро пошел с кладбища.

— Даже фараонам не воздвигали таких пирамид! — глубокомысленно заметил один из четверки Авеля с меланхолическим выражением лица и еле заметно подмигнул своим.

Раннее утро. Аполлон в трусах и майке, полив цветы на балконе, начинает утреннюю разминку. Случайно взглянув в сторону соседнего дома, он замирает на месте и нечленораздельно мычит:

— Варлам... Варлам...

Во дворе Аравидзе, на садовой скамейке в уже знакомой нам позе со скрещенными руками на груди, сидит как ни в чем не бывало покойник Варлам Аравидзе.

По ночному кладбищу с диким ревом пронеслись мотоциклы. Полицейские во главе с префектом и Авелем, со служебными собаками и целой армией вооруженных детективов, окружили могилу Варлама... За одним из могильных камней, скрываясь от всех, с охотничьей двустволкой спрятался Торнике: он пришел сюда, чтобы защитить честь деда, которого чья-то кощунственная рука в который уже раз выкапывает из могилы!

Префект полиции, преисполненный чувства долга, отдал распоряжения подчиненным:

— Одна группа спрячется за той могилой. Без моей команды — ни шагу, здесь я старший! Не курить и не разговаривать! Все по местам!

К Авелю подошел подчиненный префекта:

— Авель, сам господин префект присутствует на операции...



В роли Авеля Аравидзе — актер Автандил Махарадзе (справа); Гулико, жена Авеля, — актриса Ия Нинидзе.

— Да, сердечный человек, не оставил меня в беде!

— Послушай, АVELЬ, ты видишь за кладбищем освещенные окна?

— Вижу.

— Там мой родственник живет. Когда он узнал, что мы всю ночь будем сидеть здесь, в двух шагах от его дома, он решил приготовить нам королевский ужин.

— Ну и что?

— А то, что он обидится, если мы не придем к нему!

— Как?! Бросить могилу?

— Оставим здесь дежурных... До полуночи все равно никто не появится. А если что, они позовут нас! Ну как?

— Не знаю... Спроси у префекта.

— Значит, ты согласен? Тогда я пошел.— И он скрылся в темноте.

Через некоторое время раздался голос префекта:

— Филипп! Мелитон!

Два человека торопливо устремились к префекту:

— Да, начальник.

— Видите тот дом... Ну тот, где большая лампочка горит?

— Так точно!

— Сейчас мы туда пойдём, а вы, если что заметите, сразу же позовите нас, ясно?

— Ясно, начальник!

За всем этим наблюдает Торнике. Ему и страшно, и холодно, но больше всего обидно за деда. И глядя на комедию, которая разыгрывается у него на глазах, он еще крепче сжимает ружье и напряженнее всматривается в темноту.

А тем временем Филипп и Мелитон, усевшись на могильный камень, не спеша распивали бутылку водки, которую один из них предусмотрительно прихватил с собой.

— «Грош цена постылой жизни, пей, проснись и снова пей...» — с пафосом произнес Филипп.

Мелитон, слегка покачиваясь, отошел в сторону, чтобы справить малую нужду, но, приглядевшись к надписи на надгробье, вдруг воскликнул:

— Лукреций Тагидзе?! О, прошу прощения, Лукреций... Здесь нельзя. Какой поэт был, а! Царь поэтов... — И что-то пьяно пробормотав, пошел дальше.

Филипп dokonчил бутылку прямо из горла и завалился спать...

... Широко раскрытыми глазами смотрит на них мальчик Торнике из своей засады.

И вдруг на тропинке, ведущей к могиле Варлама Аравидзе, появился человек в ватнике, сапогах и с лопатой в руках. Незнакомец подошел к могиле и спокойно стал копать.

У Торнике перехватило дыхание. Стараясь не производить шума, он медленно поднял ружье, тщательно прицелился и выстрелил. Злоумышленник упал.

От выстрела проснулся Филипп и начал бесцельно палить во все стороны.

Прибежали люди во главе с префектом.

Торнике бросился на преступника с диким воплем:

— Задушу тебя, сволочь!

Его с трудом оторвали от жертвы.

— Спустите собак, и дело с концом! — кричит кто-то.

Сквозь крики, ругань и остервенелый собачий лай вдруг раздался чей-то голос:

— Господи... Да ведь это женщина!

Судебное заседание. Слушается дело Кетеван Баратели по обвинению в осквернении праха Варлама Аравидзе. Зал битком набит родственниками, близкими и знакомыми Аравидзе.

За судейским столом сидят служители правосудия в белых париках и черных мантиях. В первом ряду расположились пострадавшие: Авель Аравидзе и его жена Гулико в роскошном палантине и платье с глубоким вырезом. Они заранее уверены в успехе дела и потому держатся надменно и самоуверенно.

Стражники в средневековых латах вводят обвиняемую.

Ее облик как-то не вяжется с преступлением, за которое ее судят. Ослепительно белый костюм. Широкополая белая шляпа. Умный иронический взгляд. И раненая рука на перевязи. И ни тени страха или растерянности на ее лице. Мгновенная улыбка на кончиках губ — улыбка удовлетворения содеянным...

Процесс начинается.

— Обвиняемая Баратели! — обратился к Кети судья. — На предварительном следствии вы признались, что трижды выкопали покойника из могилы и принесли его в дом родных. Подтверждает ли вы этот факт перед судом и признаете ли себя виновной?

— Факт подтверждаю, виновной себя не признаю.

— Но во время следствия вы признали себя виновной.

— Это ложь! Во время следствия я себя виновной не признавала!

— Это ваша лопата? — спросил судья.

— Да, этой лопатой я выкопала покойника. Но где пуля, которую извлекли из моей руки?

— Значит, покойника выкопали вы? — не ответив на вопрос подсудимой, вновь спросил судья.

— Да.

— Вот в этом и заключается ваша вина. Сам этот факт преступен.

— Да, я выкопала из могилы... Но виновной себя не считаю.

— Садитесь! Я прошу вас сесть и соблюдать судебный порядок.

— Суд уже состоялся, — по лицу Кетеван скользнула легкая ирония, — и приговор вынесен!

— Садитесь! — судья уже терял терпение.

— Пока я жива, Варламу Аравидзе не лежать в земле. Этот приговор окончательный и обжалованию не подлежит, ибо вынесен он провидением нам обоим, и мне, и Аравидзе... Не трижды, триста раз его выкопаю! — Кетеван села.

— Уважаемый судья! — встал защитник Кети Баратели. — Обвиняемая взволнована, и это естественно. Прошу слова!

— Слово имеет защитник обвиняемой, — объявил судья.

— Уважаемый судья! Уважаемые граждане! Сегодня мы имеем дело с беспрецедентным случаем. Покойника трижды выкопали из могилы! Трижды!.. То, что обвиняемая действовала не с целью ограбления, бесспорно: ценности, захороненные вместе с покойным, не тронуты! В чем же дело? С какой целью совершено преступление? Во время предварительного следствия я пытался беседовать с обвиняемой, но она молчит. Поэтому только здесь, на судебном процессе, нам придется одновременно и ознакомиться с делом, и провести расследование, и, конечно же, вынести приговор! Вот почему я прошу суд внимательно выслушать обвиняемую!

— Слово предоставляется обвиняемой! — распорядился судья.

Кетеван поднялась:

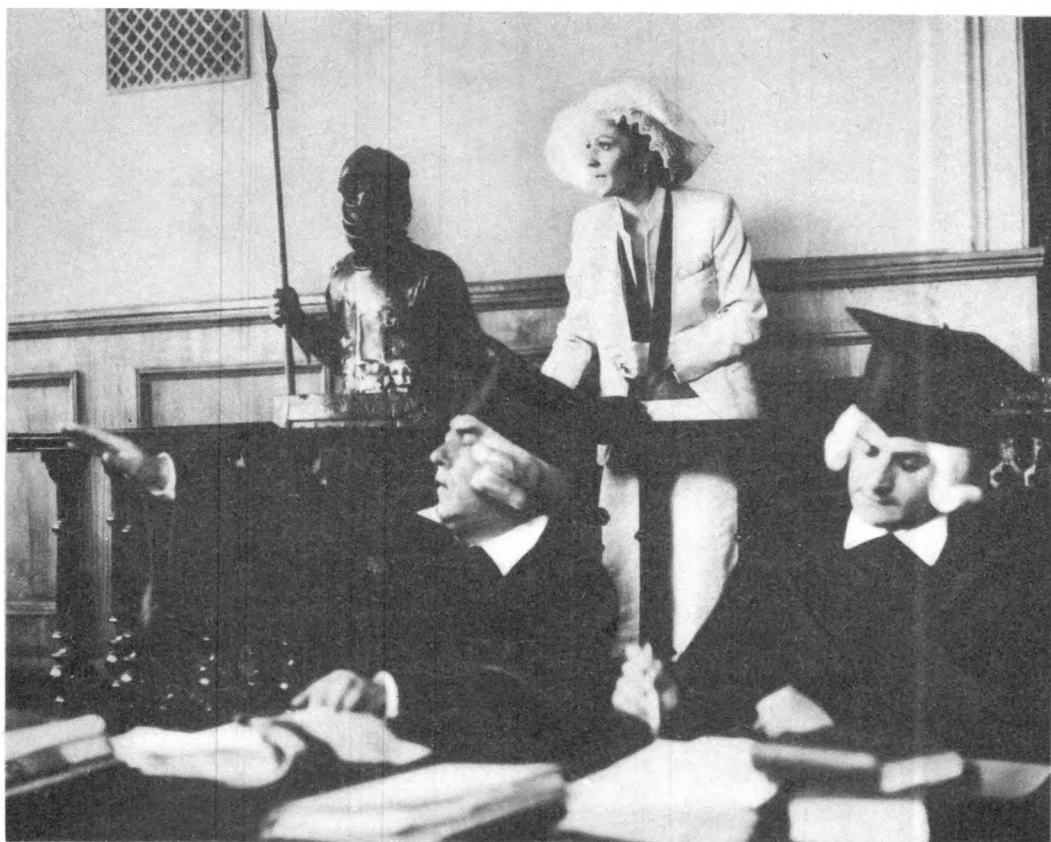
— Всем вам, конечно, интересно, почему я преследую покойника... Единственное, о чем бы я сейчас мечтала, — это не сводить счеты с мертвецом. Мечь не является для меня счастьем, это моя беда, мой крест, но мне никуда от этого не уйти... Итак, кто такой Варлам Аравидзе?..

Обвиняемая задумывается. Ее взгляд как бы устремлен в прошлое и в себя — одновременно. С трудом начинает она свой рассказ:

— Мне было восемь лет, когда он стал городским головой...

Девочка в берете — восьмилетняя Кети Баратели — из окна своего дома пускает мыльные пузыри. Она очень увлечена этим занятием.

Перед домом площадь, заполненная народом. Гремит бравурная музыка. Происходит



Кадр из фильма. В центре Кетеван Баратели—актриса Зейнаб Боцвадзе.

церемония по поводу избрания Варлама Аравидзе мэром города. На трибуне— представители разных слоев населения: дети в праздничных костюмах, старики, мужчины, женщины... Разноцветные флажки, транспаранты и много портретов нового городского головы. Под звуки марша перед трибуной проходят демонстранты. Над их колоннами сжигают огромное чучело «буржуя»...

Тут же, на площади, двое водопроводчиков ремонтируют лопнувшую трубу. Один из них сидит в люке, орудуя ключом, а другой невозмутимо пьет кофе, с любопытством поглядывая на происходящее.

— Мама! Фонтан, фонтан!—раздается восторженный крик Кети.

Рядом с Кети в окне появляется ее мать Нино Баратели, молодая прелестная женщина. Мать и дочь с улыбкой смотрят на площадь.

В это время на стыке труб сорвалась резьба и мощная струя воды забила по трибуне, на которой стоит пышная толстоногая девочка в коротком платьице и, захлебываясь от восторга, произносит речь.

Сквозь шум воды и грохот музыки слышны обрывки фраз:

— Вредители... диверсанты... шпионы... агенты империализма...

Тут же, возле оратора, вода беспощадно заливает машинистку-стенографистку, которая ведет запись торжественного митинга.

Над всем этим скопищем людей возвышается сам виновник торжества Варлам Аравидзе. Он тоже героически мокнет, но не покидает своего места, и поэтому ни один человек не смеет уйти или укрыться от воды.

Некто, как видно, подопечный городского головы, хочет навести порядок. Отогнав рабочих от места аварии, он грудью пытается заткнуть брешь в трубе, но мощная струя отбрасывает его в сторону.

А у микрофона уже стоит дряхлый старичок и произносит очередное приветствие:

— Светлоликий Лев Николаевич Толстой еще в тысяча восемьсот девяносто третьем году писал: «Злодеи всегда угнетали носителей добра... Каин убил Авеля, Киафа и Пилат мучили Христа... Римские императо-



В роли Нино Баратели—актриса Кетеван Абуладзе;
Кетеван Баратели в детстве—Нато Очигава.

ры презирали Сенеку... Царь Иоанн Четвертый со своими опричниками...»

Подчиненные Варлама, наконец, осознав, что старик несет не то, бросились к нему, и уже на его месте появился другой выступающий.

А фонтан все хлещет и хлещет. Грохот воды заглушает и голоса выступающих, и музыку...

В окне дома напротив звонким смехом заливается маленькая Кети Баратели.

Наконец трубу удастся заткнуть, и под звуки уже явственно зазвучавшего марша к микрофону подошел Варлам Аравидзе. Он в пенсне, с усиками, в черной облегающей гимнастерке, перепоясанной португеей, в брюках-галифе и сапогах. От его упитанной фигуры веет мощью и уверенностью. Он начинает говорить...

В окне дома появляется отец Кети, художник Сандро Баратели. Молча, без улыбки, окидывает взглядом площадку и, отстранив жену и дочь, захлопывает окно.

На миг их взгляды скрещиваются—стоящего за окном Сандро и поблескива-

ющего стеклышками пенсне Варлама Аравидзе...

В древнем храме Богородицы—Сандро, его жена и Елена Коришели, близкий друг их семьи.

Стены храма покрыты древними фресками, а в самом храме расположилась лаборатория: стоят мощные современные агрегаты причудливых форм и окраски. Странно и пугающе выглядит этот храм—одновременно и обитель божья и скопище техники XX века!

Из репродуктора голос диктора передает: «Незадолго до смерти Эйнштейн в последний раз возвысил голос и поведал миру трагедию современного ученого. Вот что он завещал: «Судьба современного ученого трагична, вдохновение ведет его к ясности и внутренней независимости, а своими почти сверхчеловеческими усилиями он выковал орудие своего социального порабощения и уничтожения своей личности. Дело дошло до того, что политические власти надели на

него намордник... Неужели прошло то время, когда умственная свобода ученого, независимость его исследований могли освещать и обогащать жизнь людей? Неужели в слепом искании научной истины он забыл свою человеческую ответственность перед людьми и свое достоинство?.. Нашему миру угрожает кризис, размеры которого как будто не понятны тому, кому дана власть принимать великие решения на всеобщее благо или на зло. Развязанная мощь атома изменила все, за исключением нашего образа мысли, и мы скользим вследствие этого к еще не виданной катастрофе. Чтобы человечество могло выжить, необходимо мыслить по-новому. Самая сложная задача нашего времени — предотвратить эту угрозу. В решительную минуту мой голос будет звывать изо всех оставшихся мне сил»... Передача «Великие мыслители мира — Альберт Эйнштейн» — закончена. Послушайте концерт легкой музыки».

На прием к Варламу Аравидзе пришли Сандро Барателли и представители городской общественности, профессоры — почтенная Мариам и старый Мосе.

Городской голова принимает просителей в саду. Все вокруг утопает в зелени, щебечут птицы, одним словом — идиллическая обстановка.

— Вибрация повредила не только фрески. Появились и трещины в стенах храма, — взволнованно сказал Сандро. — Если так будет продолжаться, храм рухнет. Между прочим, он стоит на сваях... Мы просим немедленно приостановить дальнейшие лабораторные опыты в церкви и по возможности ускорить строительство нового здания для научно-исследовательского учреждения.

— Значит, вы против науки и прогресса? — с наигранным удивлением спросил Аравидзе.

— Мы против такой науки, которая разрушает памятники искусства.

— Уважаемый Варлам, — вмешалась в разговор Мариам, — только вы, как мэр города можете спасти этот храм! Мы очень надеемся на вашу помощь.

— Доксопуло! — окликнул Варлам стоящего неподалеку секретаря. — Что это за распоряжение там о храме?

— Речь идет о старой, полуразрушенной церкви, — отчеканил Доксопуло.

— А кто сказал, что она разрушена? — взорвался Мосе.

— Почти разрушена.

— Почти... Вы слышите, уважаемый Варлам, почти!.. — снова возмутился Мосе.

— Здание почти разрушено, оно стало очагом антисанитарии, — скороговоркой, как пулемет, застрочил Доксопуло. — В фундаменте развелись змеи и ящерицы, никто уже не ходит в вашу церковь. Прошли те време-

на, когда людей держали во власти тьмы и долбили им, что человек создан богом и так далее. Специально скрывали от нас, что мы все от обезьяны произошли... Вот поэтому и решено снести церковь и на ее месте, из того же материала...

— Постой, Доксопуло! Постой! — прервал его Аравидзе.

— Уважаемый Доксопуло! — с напряжением начал Сандро. — Храм Богородицы — один из величайших памятников христианства. Памятник культуры! Неужели вы не понимаете, что разрушить его — это значит перерубить живительные корни, которые питают и духовно обогащают народ. Тогда бросьте в костер произведения Гомера, Толстого, Данте, Руставели! Пусть не звучит Бах, Чайковский, Верди. Разрушим храм Петра, Нотр-Дам, Светицховели... Уважаемый Варлам, в нашем храме имелись уникальные реликвии. Предки наши много веков берегли их и донесли до наших дней, они утеряны бесследно. А теперь и здание рухнет...

— Дай-ка сюда мое распоряжение о лаборатории, — строго сказал Аравидзе Доксопуло. — Вот, господа, что здесь написано: «Сооружение нового здания для лаборатории в принципе считаю целесообразным, но за неимением средств мы должны временно воздержаться». Так что, уважаемый Мосе, этот вопрос и нас беспокоит. Но, видимо, надо спешить, откладывать нельзя, и вы меня в этом убедили. Доксопуло! У тебя мать есть?

— Есть...

— Сколько ей лет?

— Старая она.

— Если она заболит, разве ты не должен за ней ухаживать? Так и этот храм — памятник шестого века. История наша. Гордость наша. Оставить больную мать без присмотра, на произвол судьбы — не пристало это сыну. Доксопуло, запомни хорошо... В общем, мы должны только сказать спасибо этим благородным людям, что они открыли нам глаза, сказали правду. Даю вам честное слово, господа, я не пожалею сил, чтобы уладить это дело... А что касается опытов, как мне известно, они производятся с минимальной, ограниченной мощностью. Так и будет продолжаться до построения нового здания.

— Если установки высокого напряжения заработают на полную мощность, — не унимался Мосе, — не только храм, весь город взлетит в воздух.

— Как вы сказали? Вот, в вашем присутствии я уничтожаю этот документ. — Аравидзе разорвал резолюцию. — Ты свободен, Доксопуло! Чем могу еще служить, уважаемые?

— Спасибо, у нас все, — ответил Сандро.

— Тогда сейчас мы можем уточнить некоторые биографические мелочи. Биографии

уважаемой Мариам и уважаемого Мосе — этих представителей, так сказать, голубой крови — мне хорошо известны. Что же касается уважаемого Сандро, то тут меня интересует один вопрос, милейший Сандро! Слыхали ли вы что-нибудь о некоем Тараси Тарасконелли?

— Как же, Тараси Тарасконелли — мой прадед.

— Значит, получается, что у нас один и тот же предок, ведь и я потомок Тараси Тарасконелли.

— Каким образом?

— Да, да... Но об этом после. Теперь вот что мне скажите... Если я не ошибаюсь, вы живете на городской площади, в двухэтажном доме? Помните, в день моего назначения городским головой во время церемонии маленькая девочка из окна пускала мыльные пузыри. Там ваша квартира?

— Да...

— Все вижу, все замечаю! Так что остерегайтесь меня, господа, остерегайтесь! Хотя, шутки в сторону, в сущности, это и есть жизнь! Одни мыльные пузыри пускают, другие преследуют врагов народа, вы, художники, в творческом горении. Нищие попрошайничают, убийцы убивают, шлюхи, простите, гуляют... И это разве нормально? Это разве нормально?! — неожиданно сорвался на крик Аравидзе.

Все в недоумении смотрят на него. Но грозное выражение на лице Аравидзе тотчас сменяется ласковой улыбкой.

— Так было, — умиротворяюще сказал он. — Но так уже не будет. Наш город мы в рай превратим... С вашей помощью, господа, при вашем содействии.

Неожиданно в идиллическую обстановку сада ворвались неистовые звуки какой-то сатанинской музыки. Испуганный Мосе озирается: прекрасная лужайка оказывается под стеклянным куполом, по которому расхаживают, заглядывая вниз и наблюдая за посетителями, стражники в средневековых латах.

— Прием окончен! — сказала невесть откуда появившаяся секретарша.

В кабинете Михаила Коришели Елена Коришели и Сандро. Сандро взволнованно ходил по комнате.

— Может, Аравидзе и впрямь ничего не знает. Он говорит, что его здесь не было, — старался успокоить своего друга Михаил.

— Ну за что этих стариков арестовали? Объясни! В чем они виноваты? Нашли тоже шпионов! Нет, конечно, это с храмом связано! — Сандро вне себя. — Он просто отомстил им за то, что сам разорвал свое распоряжение! Я сейчас же пойду к нему! Пусть немедленно освободит стариков или меня тоже посадит вместе с ними!

— Успокойся, дорогой, при чем тут ты? — сказала Елена.

— Я повел их к Аравидзе, по моей вине их арестовали. И все из-за храма.

— Не в храме дело! — неуверенно сказал Михаил.

— А в чем же, в чем?!

— Не знаю...

— Не знаешь?

— Сандро, ты успокойся. Даю слово, я этим займусь. Варлам разберется и мне доложит. — Михаил подчеркнуто спокоен.

— В чем разберется? В чем?

— Так нельзя, Сандро. Ну что ты от Аравидзе хочешь? Ведь его в то время не было... Ты не бушуй, иди домой, я все улажу...

Зазвонил телефон. Михаил взял трубку.

— Да, Варлам!.. Варлам, в таких вопросах мы должны рассмотреть лучше быть... Нет... Да, конечно... Спасибо. Будь здоров, — он положил трубку и с облегчением вздохнул. — Станный ты человек, Сандро. Просто чудак! Варлам разобрался во всем и освободил их. Что теперь скажешь?

Квартира семьи Барателли. Звонок в прихожей. Кети открыла дверь и застыла в недоумении. В комнату с торжественным выражением лица, в черных фраках и цилиндрах, вошли Доксопуло и Риктафелов. У одного в руке красные тюльпаны, у другого — клетка с канарейкой. Неожиданно из-за их спин появился Варлам Аравидзе в ослепительно белой бурке и высоким фальцетом затянул заздравную песню «Мравалжамьер» («долгие лета»). Подручные мастерски, в два голоса, подхватили ее. Варлам на высокой ноте закончил песню, Доксопуло и Риктафелов расступились. Варлам распахнул бурку, крикнул: «Гоп!» — и из бурки выскочил девятилетний мальчик Авель, его сын.

Варлам небрежным движением сбросил на пол бурку и с благоговейной улыбкой направился к хозяйке дома:

— Не знаю, насколько похож художник Сандро Барателли на великого Сандро Боттичелли, но Нино Барателли напоминает мне божественных мадонн Боттичелли!

Гость бережно взял руку Нино, наклонился, чтобы запечатлеть поцелуй, и вдруг как подкошенный упал к ее ногам, тотчас же со смехом вскочил и продолжил:

— Уж не напугал ли я вас, Нино? Ручки целуют обыкновенным смертным, а богиням и святым кланяются в ноги! — И он приложился губами к подолу платья хозяйки.

Испуганная Кети прижалась к отцу.

Сандро сурово, без тени улыбки смотрит на лицедейство незваных гостей.

— Дорогая Нино, — продолжил Варлам, — я столько слышал о вас, о художнике Сандро Барателли и его красавице супруге...

Давно мечтал познакомиться с вами, посмотреть картины, но в ожидании Михаила и Елены, которым всегда некогда...— Аравидзе бросил лукавый взгляд на Елену Коришели, которая в гостях у Нино.

— Клевета, батона Варлам, клевета! Не мы, а вы постоянно заняты, в последнее время — особенно, — в тон Аравидзе сказала Елена.

Но Варлам уже забыл о женщинах. Он подошел к хозяину дома.

— Дорогой Сандро! Хочу извиниться за моих чрезмерно прилежных помощников. Хорошо, что вы вовремя заступились за несправедливо обвиненных стариков, иначе неизвестно, где оказались бы эти честнейшие люди. Сколько дней они там пробыли?

— Целые сутки, — мрачно ответил Сандро.

— Небось, струсил бедняги?

— Не очень. Они не из пугливых.

— Старая гвардия все же, да? Уважаемый Мосе, прекрасная Мариам...

— А это самый главный член семьи Кети Баратели! — представила гостям девочку Елена.

— О, уважаемая Кети... Прошу! — Варлам передал ей клетку с канарейкой.

— Спасибо.

— А теперь, Кети, пригласи Авеля в свою комнату и там играйте, — сказала Нино.

Кети взяла Авеля за руку и повела в детскую.

— С уважаемым Кайхосро Доксопуло Сандро уже знаком, — представил свою свиту хозяевам Аравидзе. — А что касается Гено Риктафелова, фамилия его, наверное, напоминает вам «риктафелу» — детскую игру в салочки... Это такая деревяшка, которой ударяют по палочке... Зато оба моих спутника певцы первоклассные... Дзин-нь!

По мановению руки Варлама все трое заплели.

— Bravo! — иронически усмехнувшись, зааплодировал Сандро.

— Это тоже талант, — с гордостью сказал Варлам. — Милая хозяйка! Извините, что мы навеселе, много говорим, поем... Даже споткнулись слегка! Но долго беспокоить мы вас не будем.

Аравидзе окинул взглядом стены комнаты, где развешаны картины Сандро. Лицо его стало серьезным и многозначительным. Голос снизился до шепота.

— Сандро, — сказал он проникновенно, — любая из ваших работ украсит лучшие музеи мира. Нам именно такая живопись нужна: серьезная, вдумчивая, глубинная...

Варлам взял под руку Сандро и увлек за собой.

— Дорогой Сандро! Неужели нельзя, чтобы у наших современников были такие вот одухотворенные, вдохновенные лица, а не трафаретные, похожие друг на друга физиономии? Почему нельзя изобразить совре-

менную девушку-труженицу в виде мадонны? Что может быть красивее трудящегося человека? Ничего! Хотя, знаете, противники у вас тоже будут, и даже много. Не правда ли, милая Елена? — неожиданно обратился он к Елене.

— Конечно, сущая правда, — с удовольствием поддакнула она.

— Скажут, к чему нам такое искусство, это же камерная, будуарная живопись, это ведь фактически бегство от действительности? А я бы им ответил: иной раз бегство от действительности означает уход в еще большую действительность. Народу нужна великая действительность, хотя... Знаете, как могут это истолковать наши враги? Как призыв к анархии! Полной анархии! Да, да. А это кто? — уставившись на одну из картин, спросил Варлам. — Молодец, Сандро, молодец! А вот и наша Нино. Великолепная работа!

Варлам оглянулся на своих подчиненных. Доксопуло, раскрыв рот, рассматривает рисунок обнаженной натурщицы. Риктафелов любуется своей физиономией, которая отражается в стекле картины.

— Интересно было бы заглянуть в их мозги, что там происходит? Эх, Сандро! Они хоть грамотные. Ты не представляешь, с какими невеждами приходится общаться нам с Михаилом по долгу службы. Не правда ли, милая Елена?

— Да, сущая правда, — с готовностью ответила Елена.

— Сейчас именно такие художники, как вы, должны быть рядом с нами, а не бездушные ремесленники. На нас возложена великая миссия: мы должны просветить народ, поднять его культурный уровень.

— Батона Варлам! — неожиданно резко оборвал его Сандро. — Разве я своими картинами или вы своими стараниями сможем просветить народ, создавший «Витязя в тигровой шкуре»? Народ просветит только его духовный пастырь, нравственный герой.

Варлам не ответил. Он долго и проникновенно смотрел на Сандро, а потом восхищенно сказал:

— Скромность украшает человека! И впрямь, дорогой Сандро, какой я духовный пастырь. Но... потерпите немного, не торопите нас. Дайте срок, героя время родит... Возможно, очень скоро наступит пора испытаний — и для вас, и для меня.

В детской комнате перед маленьким распятием стоят Кети и Авель.

— За что пытали Христа? — спросил Авель. — В чем он провинился?

— Ни в чем. За правду пытали, — ответила девочка.

Тень скользнула по лицу Авеля.

— Ты не бойся, — поспешила успокоить его Кети, — Христос не умер, он воскрес и,

как птичка, улетел в небо. Там только добрые люди. Злой туда попасть не может.

— Почему?

— Злой тяжелый.

— Отчего тяжелый?

— От грехов. А добрый—это чистая душа. А душа легкая, как птичка, ей не трудно летать.

— Ты откуда знаешь?

— Мама сказала. Знаешь, этот крест—чудотворный. Если перед сном или в новолуние попросить его о чем-нибудь, все исполнится.

— Все-все?

— Все.

— Неужели все исполнится?

— Все.

В комнату вошла Нино с фруктами для детей.

— А мою маму он может оживить?— тихо спросил Авель.

Нино подошла к мальчику и опустилась перед ним на корточки:

— У тебя нет мамы? Твоя мама любит тебя. Она жива. Она на небесах с ангелами, все время смотрит на тебя и о тебе думает...
— Нино!—позвали ее из гостиной.

— Сию минуту.

Нино нежно поцеловала мальчика в лоб и вышла.

А в гостиной Варлам хорошо поставленным голосом пел по-итальянски знаменитую арию Манрико из оперы «Трубадур». Доксопуло и Риктафелов, сложив губы трубочкой, прилежно исполняли партию оркестра.

Отдавая дань гостеприимству, Сандро, Нино и Елена послушно сидели на диване и со смешанным чувством страха, удивления и скрытой иронии слушали этот импровизированный концерт.

Набрав в легкие воздух, Варлам взял почти немисливо высокую ноту и закончил песнь. Слушатели с восторгом заплодировали. Варлам с достоинством раскланялся. А «оркестр» зауценно, как заводные куклы, в точности повторил поклон и улыбку патрона.

— Нам пора,—сдержанно сказал Варлам.—Авель!

Из детской выбежала Кети и попросила: — Дядя Варлам, можно Авелю еще на минуту остаться?

— На минуту можно,—снисходительно разрешил тот.—Но только на одну минуту! — Уважаемый Варлам,—улыбнулись хозяева,—спойте нам еще что-нибудь!

— С удовольствием.

Аравидзе приосанился и неожиданно начал декламировать:

Зову я смерть, мне видеть нестерпим
Достоинство, что просит подаянья,
Над истинной глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,

И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор.
И ночь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью сльвет,
И глупость в маске мудреца-пророка.
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у пророка.

Вильям Шекспир, шестьдесят шестой сонет...— закончил Варлам.—Однако... Режим есть режим. Авель... Алле-гоп!—скомандовал он.

Авель торопливо чмокнул Кети в щечку.
— Я еще приду к тебе!—бросил он ей на ходу, вскочил на подоконник распахнутого окна и выпрыгнул на улицу со второго этажа.

Женщины вскрикнули, Кети бросилась к окну:

— Мама, он ускакал!

А в проеме окна уже возвышался Варлам в своей белой бурке. Странно усмехнувшись, он устремился вслед за сыном. Поочередно из окна выпрыгнули Доксопуло, Риктафелов и исчезли в ночи, как привидения.

Сандро, Нино и Елена в растерянности стояли у окна.

— Комедиант... Шут гороховый...— процедил сквозь зубы Сандро.

Неожиданно раздался звонок в дверь. Нино пошла открывать. Перед ней—снова Варлам.

— Извините, Нино...—с какой-то пронизывающей грустью сказал он.—Это опять я... Мой глупыш унес ваш крест, говорит, Кети ему подарила...—Он почтительно передал ей маленькое распятие.—Мальчик верит, что эта штука оживит его маму. Хорошо, я вовремя заметил... Берегите, это большая ценность.—Варлам пристально посмотрел на женщину.—Милая Нино, включите, пожалуйста, меня в список ваших многочисленных поклонников... Прошу вас...—последние слова он произнес почти шепотом и благоговейно приложился к руке Нино.

Ночь. В доме Барателли тихо. Сандро сидел у рояля, глубоко задумавшись. Нино прикорнула в кресле. Видно, что даже во сне ее что-то беспокоит.

Сандро тихо перебирает пальцами по клавишам. Под тревожные звуки мелодии, которую он наигрывает, Нино видит сон...

... По узким, темным коридорам подземелья бегут Нино и Сандро, спасаясь от невидимых преследователей. Кошмарная погоня продолжается в пустынных, залитых слепящим светом улицах. Всадники в латах, а следом за ними Варлам в открытой машине, гонятся за объятый ужасом четой...

Перед беглецами раскинулось вспаханное поле. На горизонте—упряжка быков и се-

дой пахарь за плугом. Сверкающий лемех переворачивает жирные комья земли. Нино и Сандро кидаются к крестьянину, моля его о спасении...

Всадники в латах и машина с Аравидзе выскочили на поле. Они разыскивают беглецов, но не обнаружив никого, поворачивают назад...

Нино и Сандро, засыпанные по горло землей, лежат в борозде. Крестьянин с беспокойством глядит вслед удаляющимся преследователям, потом срывается с места, догоняет их и...

Нино в ужасе зажмуривается: над ней с торжествующей ухмылкой стоит Варлам Аравидзе и поет арию Манрико из оперы «Трубадур»...

... Нино проснулась в смятении.

— Что с тобой?—спросил Сандро.

— Ужасный сон я видела, Сандро! Давай уедем отсюда. Заберемся в какую-нибудь глушь...—вся в слезах шептала Нино.

— Если они захотят, из-под земли достанут нас.

— Господи, именно это и приснилось мне! Что делать, что делать?!

— Нино...—горько усмехнулся Сандро.— Ты сейчас напоминаешь мне того зайца, который бежит слома голову. «Куда бежишь?»—спрашивают его. «Волков, говорят, ловят!» «А ты при чем?» «Поймают, потом доказывай, что ты—не волк!..» Эх ты, трусишка моя!

Раздался звонок в прихожей.

— Сандро... Это они! Это наверняка они!—в ужасе зашептала Нино.

Сандро открыл дверь.

В комнату вошли стражники в латах.

— Мир дому сему! Вы Сандро Баратели?

— Да.

— Вы должны пойти с нами. Это ненадолго.

— Извольте,—ответил Сандро.

Стражники приступили «к работе»: деловито сняли со стен картины и вынесли из дому. Один из них подошел к роялю и простучал на клавишах бесхитростную мелодию, ужасно фальшивя. Нино словно окаменела, молча глядя на происходящее.

Сандро нарочито медленно и элегантно одевается, повязывает галстук, надевает шляпу.

Нино не сводит глаз со стражника, бречащего на рояле. На миг ей показалось, что за железным забралом шлема блеснуло стеклышко пенсне.

Сандро уводят. Прощальным взглядом он окинул опустевшие стены, беспомощную фигуру жены...

В кабинете Михаила Коришели Варлам Аравидзе ждал своего начальника.

Стремительно вошел нахмуренный Кори-

шели и, не удостоив взглядом Варлама, сел за стол.

— Здравствуйте, уважаемый Михаил,—почтительно произнес Варлам.

— На каком основании арестовали Сандро Баратели?—с трудом сдерживая гнев, спросил Коришели.

Варлам без слов достал из папки бумагу и протянул Михаилу.

— Что это такое?

— Прочтите.

Коришели читает:

— «В последнее время мазня некоторых горе-живописцев носит черты индивидуализма... Этот зазнавшийся художник-хулиган... Он связан с поэтами-анархистами... Позавчера, в пять вечера, в кругу художников он публично грозился, что дедовским кинжалом отрубит руку каждому, кто хоть пальцем коснется храма Богородицы. Спрашивается, кто покровительствует этому маньяку и устраивает его персональные выставки? Искусство анархиста Баратели—позорное пятно на нашей культуре, оно опасно для нашего общества. Если вы не займетесь этой темной личностью, мы обратимся куда следует!.. Группа художников». И это письмо стало поводом для ареста Баратели?!—с возмущением спросил Коришели.

Аравидзе промолчал.

— Я тебя спрашиваю?.. Из-за этой белиберды, этой пакости вы его арестовали? Враги-то наши те, кто это написал! Господи боже мой! Совсем взбесились. С ума сойти можно. Баратели мой друг, более того, он мой воспитанник, и я горжусь этим. Что же получается, мой друг и воспитанник—враг?

— Я-то все понимаю, но это не довод для авторов письма!

— А может, и талант художника не довод для них?

— Они, наверно, его позицию имеют в виду...

— О какой позиции ты говоришь? Талант—это доброта, а доброта—уже позиция!

— Уважаемый Михаил, я понимаю вас, Сандро Баратели ваш друг и воспитанник... Кстати, вы знаете, что он мой родственник?

— Нет, я не знал этого,—настороженно сказал Коришели.

— Да, да! И даже близкий!.. А вы напишите протест, уважаемый Михаил...—с подобоострастной улыбкой предложил Варлам.—Баратели ведь только арестован, он еще не осужден. Я лишь выполнил волю народа. Ведь за этим письмом стоят люди, масса, а каждое слово, исходящее от массы, для меня святая-святых... Напишите протест, уважаемый Михаил, напишите!

Сбитый с толку, ничего не понимая, но чувствуя, что его куда-то засасывает, что его опутывают, Коришели спросил:

— Написать?

— Напишите, я ничего не имею против.

— Постой, постой! Что значит—ты не против? А что ты можешь иметь против истины?

— Истины?

— Да, истины.

— Ничего.

— Вот и напишу!—с угрозой в голосе сказал Коришели.

— Напишите... Только учтите, что существует и это письмо.— Он показал на письмо «группы художников».

— При чем это письмо? При чем эта... эта мерзость?— В ярости разорвал письмо на мелкие клочки.— Эта провокация?!

— То, что вы называете провокацией, это официальный документ, и он зарегистрирован в тысяче разных мест.

— Наплевать, где он зарегистрирован!

— Так нельзя, уважаемый Михаил!—с подчеркнутой почтительностью, терпеливо, как ребенку, разъяснил Варлам.— В этом вопросе я, извините, обязан занять позицию большинства, ведь большинство решает все.

— Какое большинство, что ты мелешь?! Один разумный человек перевесит тысячу идиотов!

— Я понимаю, что вы думаете обо мне, уважаемый Михаил!. Извольте, заступитесь за Баратели. Зашита одного человека не такое уж большое дело. Но только помните— в глазах авторов письма вы выгораживаете врага! Да, да! Этот ваш друг и мой родственник отныне наш враг. Он враг, а мы его жертвы.

— Кто враг?! Кто враг?!— голос Коришели сорвался на крик.

Не в силах более сдерживаться, он вlepил пощечину Аравидзе.

Торжествующая улыбка мелькнула на лице Варлама. С минуту он молча смотрел на своего начальника, потом, по-военному щелкнув каблуками, повернулся и вышел из кабинета.

В проходной тюрьмы у окошка дежурного—огромная очередь на передачу.

Женщина с ребенком стремительно шла вдоль очереди и приговаривала:

— Детей без очереди пускают... Пропустите, я с ребенком...

Достигнув окошка, она почти выкрикнула:

— Баакашвили.

— Документ,—раздался безликий голос оттуда.— Передача принята.

С облегчением вздохнув, женщина отошла. Все с завистью глядели ей вслед.

— Корели Элизбар!—вещал бесстрастный голос из окошка.— Выслан без права переписки!

— Куда его выслали, куда?! В какое место?!—в отчаянии закричала несчастная.— Скажите лучше, что нет его в живых... Он умер... Не мучьте нас!

Стражники в латах оттащили ее от очереди.

К окну подошла Нино с дочерью.

— Баратели...—сказала она робко.

— Выслан без права переписки,—ответил все тот же невидимый голос.

Нино вбежала в приемную Михаила Коришели. Секретарша загородила собою дверь в кабинет и вытолкнула просительницу в коридор:

— Дорогая моя, туда нельзя... Михаила Коришели арестовали... Только что увели... Уходите, а то сами попадете в беду. Уходите, ради бога!..

... Потрясенная Нино одна стояла в коридоре. Многочисленные транспаранты с изображением Варлама Аравидзе были приклеены к стене. Она медленно, в раздумье, подошла к ним, опрокинула их на пол и начала неистово топтать ногами. Подняв голову, она увидела самого Варлама, который с улыбкой наблюдал за ней.

— Уважаемый Варлам, помогите, прошу вас... Сандро погибает... Выручите его...— умоляюще зашептала женщина и, опустившись перед Варламом на колени, поцеловала его сапоги.

Скривив губы в победоносной улыбке, Варлам с презрением перешагнул через распростертую на полу Нино.

В окно подвального помещения, где теперь проживали Нино с дочерью, заглянул с улыбки маленький мальчик.

— Тетя Нино,—сказал он приглушенным шепотом,—на станцию бревна привезли... Говорят, на них фамилии и адреса ссыльных... Может, и дядя Сандро написал свое имя... Меня мама прислала...

— Кети, вставай... Скорей, скорей...— Нино торопливо одела Кети, накинула на себя шаль, и они выбежали из дому.

Ненастный мартовский день. Товарное депо на железнодорожной станции. Огромные штабеля леса на платформах.

Седоволосая женщина в траурном платье лихорадочно искала на желтых срезах огромных бревен имя дорогого ей человека.

Нино и Кети бежали вдоль груженых лесом составов и жадно, с трепетом тоже высматривали знакомое имя на срезах бревен.

— Мама!—раздался торжествующий детский крик.— Я нашел, нашел!—мальчик побежал в город с радостной вестью.

Фамилии Баратели не видно нигде. Усталые, отчаявшиеся Нино и Кети безнадежно кружили по территории станции.

А там же, неподалеку, седоволосая женщина будто срослась с бревном. По лицу ее

текли слезы, она часто-часто целовала выцарапанную на древесине надпись и что-то нежно шептала.

... Уже смеркалось. Начинался дождь. На станции не было никого, кроме Нино и Кети. Девочка сидела на груде опилок и просеивала их сквозь пальцы, как песок...

На залитой солнцем зеленой лужайке стоял белый рояль. Щebetали птицы. Порхали бабочки. Легкий ветерок колыхал травку...

Юный следователь во фраке с венком на голове и красавица-невеста в белом платье в четыре руки играли «Свадебный марш» Мендельсона.

Стражники в латах ввели арестованного Сандро Баратели.

Девушка в белом завязала себе глаза черной повязкой, взяла в руки меч и весы и превратилась в богиню правосудия Фемиду. Началось фантастическое действие. Жених-следователь вскочил на рояль и приступил к допросу.

— Садитесь в кресло, Баратели. Может, закурите?

— Спасибо, не курю.

— Поверьте мне, своевременное и искреннее признание облегчит вашу участь. Руководитель тайной организации, сам главный управляющий Михаил Коришели назвал вашу фамилию как одного из активных членов организации.

— Безнравственно чернить честного человека, чтобы выудить у меня ложные показания.

— Нравственно то, что полезно для общего дела.

— Какая польза общему делу от лжи и наказания невиновных людей?

— У нас есть точные сведения, что каждый из этих «невиновных» — враг нации.

— Вроде меня?

— Как, вы мне не верите?!

— Как же верить вам, когда лично меня, например, арестовали без всякого повода, ни за что! А теперь вы прибегаете к любым средствам, чтобы заставить меня подписать ложное показание.

— Ложное? А если устроить вам очную ставку с Михаилом Коришели, что тогда скажете?

— Никто не убедит меня, что Михаил Коришели враг. Когда арестовывают таких честных людей, как Коришели, тогда всю страну надо арестовать.

— Введите Михаила Коришели, — обратился следователь к стражнику.

Стражники ввели исхудавшего, похожего на мученика Коришели в длинной белой рубахе.

— Коришели, являлись ли вы шпионом Понтосса? — спросил следователь.

— Да...

— Какие агентурные задания вы имели?

— Я должен был прорыть тоннель от Бомбея до Лондона, — ответил Коришели.

— Кто вам помогал в этом?

— Весь состав заговорщиков.

— Конкретно? Сколько человек?

— Две тысячи семьсот!

— Их фамилии вы, конечно, не помните?

— Существует список заговорщиков. Думаю, вы легко его найдете.

— А какими диверсионными делами вы занимались?

— С целью уничтожения населения мы вырастили отравленную кукурузу.

— Был ли Сандро Баратели членом вашей организации?

— Был.

Следователь удовлетворенно улыбнулся. Обняв за талию «Фемиду», он увлек ее за собой в кусты, бросил на ходу арестованным:

— Вы тут побеседуйте. Я на некоторое время оставляю вас, закончу свои дела и вернусь.

Оставшись наедине, Коришели и Сандро некоторое время молчали. Наконец, убедившись, что следователь ушел, Коришели сказал:

— Послушай, Сандро. Я много думал, все ночи напролет думал. Мы должны обвинить как можно больше людей и назвать их врагами нации. Всех не смогут арестовать, а когда число обвиняемых станет астрономическим, задумаются там, наверху, созовут чрезвычайное собрание и выявят всех злоумышленников, которые ввели правительство в заблуждение. Понимаешь, Сандро? Это тактика, хитрая, лукавая тактика — подпишем все, доведем все до абсурда, до полной бессмыслицы... Тысячу нелепых показаний, тоннель от Бомбея до Лондона и так далее... Наконец, правительство поймет все, возмутится и своей железной рукой схватит за горло злодеев и уничтожит их. Все это мне подсказала мудрость вымысла. Ты понял, Сандро?!

На лице Сандро — удивление, растерянность, ужас. Глаза полны слез.

Увидев это, Коришели как будто очнулся от бредового сна. Лицо его перекошилось от боли, из груди вырвался звериный рев, и он стал биться головой о крышку рояля.

На городской площади опять был торжественный митинг. Гремел бравурный марш. Варлам Аравидзе с трибуны произносил речь:

— Мы не должны доверять человеку — ни его делу, ни его словам! Мы должны быть бдительны и уметь распознавать врага, — истерически выкрикивал он, накаляясь и накаляя толпу. — Вот сегодня наша первой-

шая задача. Это не легкое дело, господа! Усложняет и то, что из каждых трех человек четверо — враги! Да, да, не удивляйтесь! Один враг по количеству больше, чем один друг! Всегда так было! Так оно есть и сегодня... Родина в опасности, господа!!! Пусть наш народ превратится в сжатый кулак, в ту китайскую стену, преодолеть которую враг не в силах. Раз уж я упомянул китайскую мудрость... — вдруг Варлам улыбнулся и слащавым голосом продолжил: — Конфуций говорил: «Трудно поймать черного кота в темной комнате, тем более, если он там не находится». Безусловно, мы стоим перед труднейшей задачей. Но для нас нет преград. Если мы захотим, мы поймем кота в темной комнате, даже если его там нет...

Шум торжественного митинга проник и в кабинет, где Нино дожидалась прихода Елены. Закончив уроки в школе, вошла Елена с глобусом в руке.

— Как хорошо, что ты пришла, — сказала Елена. — Что нового?

Нино сокрушенно покачала головой.

— Погоди, я все сейчас узнаю.

Елена взяла телефонную трубку.

— Три семнадцать, пожалуйста... Ника? Это я. Нино у меня. Ничего не слышно о наших? Да, понятно. Хорошо.

— Итак, Нино, слушай, — сказала Елена. — Все будет так, как мы хотим. Арест Сандро и Михайла, конечно же, ошибка. Надо нам набраться терпения — и тебе, и мне. Вот увидишь, Ника все выяснит. Разберутся и обоих освободят... Мужайся, Нино! Помни, что у тебя есть Кети. Ты ответственна за нее. Я уверена — все уладится, все будет хорошо. Нельзя, чтобы правду не узнали и Сандро не выпустили!.. Нино! Сейчас я о твоей девочке думаю. Кети должна стать прежде всего хорошим гражданином и достойной женщиной. Твое несчастье не должно сбить ее с пути, — все больше и больше заражалась пафосом Елена. — Ты не забывай, что мы великому делу служим. Нас с гордостью будут вспоминать грядущие поколения. — Глаза ее горят, забыв о Нино, она обращается к невидимой толпе: — И поскольку у нас масштабы грандиозные, естественно, и ошибки будут большие. Может случиться, даже невинные станут жертвами. Но я уже слышу, слышу, дорогая, бетховенскую «Оду к радости», которая неминуемо и скоро зазвучит по всей земле...

Елена молитвенно сложила руки и начала петь «Оду к радости» на немецком языке:

Радость — мира украшень,
Дочь родная небесам,
Мы вступаем в упоенье,
О чудесная, в твой храм!..

...В кошмарном сне Нино продолжает звучать «Ода к радости» и возникает образ Сандро, обреченно идущего на смертную казнь.

Вселенский хор, сопровождая этот крестный путь, обрывается адским взрывом в минуту распятия Сандро.

Нино в ужасе просыпается.

— Что случилось, мама? — спрашивает Кети.

— Нет у нас больше папы...

— Что-о?!

За окном раздается оглушительный грохот.

Мать и дочь выбегают на улицу и видят зарево пожара.

— Храм Богородицы взорвали... — говорит кто-то.

Раннее утро. Нино постучалась в дверь квартиры, где жила Елена. Никто не открывает. Наконец, из соседней двери высунулась перепуганная женщина:

— Чего вы стучите? Там никого нет. Елену взяли... Не видите, квартира печатана?

Нино обессиленно опустила на лестничную ступеньку и заплакала.

Роскошный кабинет Варлама Аравидзе, набитый старинными вещами, напоминал антикварный магазин.

В дверь просунулась голова Доксопуло, а затем вошел и он сам.

Варлам почтительно разговаривает с кем-то по телефону.

— Да, понял... Хорошо...

— Привел, уважаемый Варлам, — сказал Доксопуло.

— Непременно. Да. Всего доброго. — Варлам закончил разговор и поднял глаза на пришедшего. — Кого привел?

— Этих... Дарбаисели. Ваше распоряжение выполнено.

— Каких Дарбаисели? — недоуменно спросил Варлам.

— Тех, которых вы поручили привести.

— Я поручил? Ты что, спятил?

— Уважаемый Варлам, вы ведь велели мне, чтобы я разыскал и привел всех по фамилии Дарбаисели. Я и привел.

Варлам никак не может сообразить, о чем идет речь.

— Где они?

Доксопуло подбежал к окну и показал пальцем:

— Внизу, в машине.

Варлам выглянул из окна — в тюремном дворе стояла грузовая машина, набитая арестованными.

— Сейчас же отпусти их! — грозно сказал Варлам.

— Я думал, вы спасибо скажете. Полную машину привез, а вы вместо поощрения... Риктафелов всего одного шпиона поймал, а получил пятикомнатную квартиру и грамоту. Везёт иным людям!

— Делай, что тебе говорят, а то вместо них сам за решетку угодишь. Немедленно отпусти их домой!

— Уважаемый Варлам, неужели я зря трудился?— канючил Доксопуло.— Целый месяц, как ищейка, бегал за этими проклятыми, с трудом собрал... Запрет их в подвале, жалко вам, что ли? Не сегодня— завтра придутся!

— Пойдешь, извинишься перед этими людьми и отпустишь их! А сам вернешься, сядешь вот за этот стол и напишешь...

— За этот стол?

— Да. И напишешь заявление об уходе с работы!

— Но вы же знаете, что я неграмотный.

— Вон отсюда!— закричал Варлам.

Доксопуло пулей вылетел из кабинета. Варлам нажал кнопку звонка. Вошла секретарша.

— Объясни, что все это значит?— спросил ее Варлам, указывая на окно.

Секретарша наклонилась к нему и что-то зашептала ему на ухо. Потом вышла в приемную и, улыбнувшись Доксопуло, распахнула перед ним дверь кабинета:

— Доксопульчик... Прошу вас!

Варлам заговорщически ухмыльнулся:

— Ладно, черт с тобой... И с ними тоже! Посадим всех!

— Спасибо, уважаемый Варлам, спасибо!— угодливо склонился Доксопуло и, пятясь назад, ушел.

Ухмылка медленно погасла на губах Варлама, и лицо его приняло усталое, озабоченное выражение.

Дворник подслушивал разговор, который происходил в подвале Баратели.

Перед Нино стояла секретарша Варлама:

— Не бойтесь, Нино. Слушайте меня внимательно. Сегодня ночью придут за вами. Вот деньги и билеты на поезд. Торопитесь, может, спасетесь.

Секретарша ушла. Нино сорвалась с места.

— Кети, скорей, скорей...— заторопила она дочь.— Мы должны уехать.

Она лихорадочно собрала вещи, одела девочку...

— Мир дому сему!— раздалось у двери знакомое приветствие, и в комнату вошли стражники в латах.— Вы Нино Баратели?

— Да...

По ночным улицам ехал фургон со стражниками. Въехал в тюремный двор. У желез-

ных ворот один из стражников распахнул дверцу фургона и вытащил оттуда Кети. Дверца захлопнулась.

— Мама, мамочка!— истошно закричала девочка и бросилась к фургону.

Машина с Нино Баратели скрылась за тюремными воротами.

— Так навсегда простилась я со своей матерью,— закончила свою горестную историю Кети Баратели.

В зале суда гробовая тишина. Все под впечатлением услышанного.

В первом ряду, где сидели представители семьи Аравидзе, Гулико с тревогой посмотрела на сына Торнике. Юный влюбленный Варлама бледный, как смерть, не сводил глаз с подсудимой. История семьи Баратели потрясла его больше всех, потому что главное действующее лицо и виновник всех бедствий в этой истории оказался его любимый дед, боготворимый им Варлам Аравидзе.

— Я кончила свой рассказ.— Кети оглядела сидящих в зале и продолжила:— От своего имени и от имени всех несправедливо наказанных я требую, чтобы Варлама Аравидзе его же близкие собственными руками выкопали из могилы!

— Я протестую!— вне себя от возмущения вскочил с места Авель Аравидзе.— Все, что вы здесь сказали,— ложь, клевета!

Зал бурно реагировал на перепалку, вспыхнувшую между обвиняемой и членами семьи Аравидзе, в которую включились и судья, и прокурор, и защитник.

— Клевета? Докажите, что я клевету!— с вызовом сказала Кети Баратели.

Как тигрица бросилась Гулико на Кети:

— Что же нам, не хоронить покойника?

— Нет, не должны вы его хоронить. Вронам должны бросить на растерзание! Предать его земле— это значит простить его, закрыть глаза на все, что он совершил. Еще раз публично заявляю, если вы его не выкопаете, я достану его, в земле не оставлю!

Апполон закричал с места:

— Это же сумасшедшая, господа, сумасшедшая! Разве не видите? Зачем ей суд? Она ненормальная! Она на все способна, стерва ты этакая!

— Немедленно покиньте зал!— потребовал от Апполона судья.

— Как это, покинуть? Сидите тут, понимаешь, разинув рты, и слушаете эту дуру! Мы тоже жили на свете и понимаем кое-что!

Апполона вывели из зала. Поднялся судья:

— Вопросы есть к обвиняемой? Если нет вопросов, тогда разрешите на этом закончить сегодняшнее заседание.

В опустевшем зале остался один Торнике.

Он вспомнил дедушку, который последние годы своей жизни провел в бункере, прячась от людей. Только внуку разрешал он навещать себя, только ему он доверял.

Трудно было узнать в этом поседевшем, заросшем щетиною, неопрятном старике когда-то холеного баловня судьбы, всемогущего Варлама.

Перед мысленным взором Торнике ожили картины последних минут жизни дедушки. Он слышит полный страха, безумный шепот:

— Никто не безгрешен, мой мальчик! Мы все в грехе родились. Помоги же мне, Торнике, помоги! Солнце восходит, солнце! — Не бойся, дедушка, тут темно, ничего не видно! — пытался утешить Варлама внук.

— Вон луч, видишь? Что он от меня хочет? Чего пристал? Давай затемним его, затемним... А то я кровью истеку.

— Почему истечешь, дедушка?

— А ты посмотри на мои пальцы... Видишь, кровь капает. Когда восходит солнце, я кровью истекаю. Скорее, мой мальчик, затемни свет. Затемни. А то вся кровь из меня выгечет!

— Перестань, дедушка! Сейчас же перестань, успокойся!

И вдруг Варлам зарычал, как раненый зверь. Он перестал видеть и слышать мальчика и уставился в отверстие в стене бункера, откуда просачивался луч солнца.

— Чего пристал ко мне? Зачем в душу мою лезешь? — кричал Варлам солнцу. — Что ты во мне копаешься?.. Ну, погоди... Сейчас ты у меня погаснешь... Сейчас я тебя уничтожу... — Варлам взял в руки невидимое ружье, прицелился в солнце и, издав губами звук «пух», «выстрелил»: — Ну вот, затемнил... Совсем погасло... — удовлетворенно зашептал он и — гримасничая и пританцовывая — стал совершать «круг победителя» по бункеру.

В конце этого скороморешского шествия Варлам — усталый и изможденный — расстелил свое старое пальто посередине бункера, уютно устроился на нем и затих...

Торнике в отчаянии заколотил кулаками в глухие стены бункера и закричал:

— Мама, дедушка умер! Мама!

Авель в тревоге оглянулся: ему послышался крик сына. Он поспешно отошел от своей четверки, которая в фойе окружила его и Гулико и старалась развеять тяжелое впечатление от только что закончившегося судебного заседания.

— Дорогая Гулико, — сказал «вобла». — Я вынужден покинуть вас.

— Почему?

— Говорят, мой папаша был плохим чело-

веком, и я иду на кладбище, чтобы выкопать его!

Все засмеялись.

Авель заглянул в зал заседаний и увидел сына, сидящего в одиночестве. Он подошел к нему, но мальчик сделал вид, будто не замечает его. После долгого тягостного молчания Торнике спросил отца:

— Ты знал все это?

— Что — это?

— О дедушке?

— Твой дед ничего плохого не совершал. Тогда время было сложное. Теперь трудно это объяснить...

— При чем тут время?

— При том! Другая была обстановка. Решался вопрос — быть или не быть... Нас окружали враги. Они боролись с нами, и что же, по-твоему, мы должны были врагов по головке гладить?

— Разве Барателли был враг?

— Был, был... Художник он, может, был и хороший, но многого не понимал. И потом... Я не говорю, что у нас не было ошибок, но что значит жизнь одного-двух человек, когда дело касается счастья миллионов?! Перед нами стояли большие задачи. Об этом надо помнить и смотреть на вещи шире.

— Значит, к человеческим судьбам вы подходили с арифметической меркой, главное пропорции, да? — едко сказал Торнике.

— Нечего иронизировать, умник! Пора тебе знать, что для должностного лица общественные интересы всегда выше частных соображений. Да, да, выше частных соображений!

— Человек рождается человеком, потом становится должностным лицом.

— Ты все время в облаках витаешь, — примирительно сказал Авель. — А в действительности все не так. Варлам всегда руководствовался интересами общества, но порой действовал и не по своей воле.

— А если бы дедушке приказали уничтожить весь мир, он бы уничтожил?

— Знаешь что... Дед сам, собственноручно никого не убивал, а ты, мальчишка, уже стрелял в человека! О какой морали ты говоришь? — завелся Авель.

— Я не знал... — растерялся мальчик.

— Что не знал?

— В кого я стрелял.

— Какое это имеет значение? Ты стрелял в человека?!

— Да, стрелял... И это усугубляет нашу вину!

— Чью вину?

— Дедушки... Мою и твою...

— А меня ты в чем винишь?

— В том, что ты оправдываешь дедушку и идешь по его стопам. Как я могу верить тебе? Ты такой же убийца, как я, и даже

хуже, потому что тебе не жаль этой женщины,—ожесточенно сказал Торнике.

— Кого я должен жалеть, ты что, рехнулся?

— Ты готов задушить ее, вместо того, чтобы просить прощения...

— Оказывается, ты еще и идиот!— зарычал Авель.—Каждый день эта стерва моего отца из могилы выкапывает, а я еще должен просить у нее прощения? Да я ее придушу, и тебя впридачу, если не образумишься. Не позволю глумиться над покойником!

Торнике некоторое время пристально смотрит на отца. В его глазах боль и презрение. Наконец с силой он выкрикнул:

— Ненавижу тебя! Ненавижу!—и выбежал из зала, хлопнув дверью.

Уставившись в потолок, Торнике лежит на кровати в своей комнате. Ему слышится голос дедушки:

— Никто не безгрешен... Все мы в грехе рождены...

— В этом возрасте психика юноши очень неустойчива...— закончив осмотр, врач утешал Авеля и Гулико.—Отрицательные эмоции... Бессонница... Нарушение распорядка жизни... Даже взрослому тяжело каждый день видеть мертвеца, извлеченного из могилы!.. Нужен покой. Это лекарство давайте три раза в день. Торнике крепкий парень. Не бойтесь...

Гулико и Авель с надеждой смотрят на врача, слушают его наставления.

— Обычно шокоевое состояние долго не длится,—продолжал врач.—Думаю, что завтра он уже войдет в контакт с вами.

А Торнике в это время во власти кошмарных видений. Ему мерещится гроб с телом Варлама посреди двора. Над гробом, как ведьма, совершает странный танец Гулико. Вдруг покойник открывает глаза, надевает пенсне и приподнимается из гроба. Гулико падает перед ним на колени. Варлам, удовлетворенно улыбувшись, поворачивается набок, с головой накрывается саваном и, благодушно причмокивая губами, сладко засыпает.

В гостиной совещались Авель, Гулико и их друзья:

— Суд, конечно, вынесет какое-то решение, но мне как быть? Каждый день хоронить отца?—упрекнул свою «четверку» Авель.

— Пусть присудят ей, что полагается,—проговорил «дуболом».—А потом посмотрим.

— Да брось ты, она и года не получит!

Штрафом отделается!—выслуживался «вобла».

— Как?! Заплатит штраф, и ее тут же отпустят?!—как фурия стоит над ними Гулико.—Господи, что за законы! Каждый день нам покойника подбрасывают, а преступницу в тюрьму не сажают... Авель! Если еще раз увижу выкопанного Варлама, я сойду с ума! Наверняка сойду с ума!

— Послушай, старина!—сказал толстяк.—Я к ней таких ребят подошлю, что она шелковой станет! Два-три словечка ей шепнут, и все!

— Ничего не выйдет!—Авель презрительно окинул взглядом «четверку».

— Тем хуже для нее! Зарежу как пасхального барашка, прямо на могиле Варлама!—завелся толстяк.

— Ладно тебе...—отвернулся от него Авель.

— Авель, все имеет свои границы, пора решиться на что-нибудь.—Гулико на грани истерики.

— Да поймите вы, я сына теряю, сына! Он и так чуть не свихнулся из-за смерти деда, а теперь еще новое убийство?

— Ты сыном не прикрывайся! Мой мальчик не трус! Он первый бросился с ружьем на эту потаскуху!

— Понимаю тебя, Авель, ты сына оберегаешь...—сказал «меланхолик».—Но ведь он когда-нибудь спросит тебя: почему ты сидел сложа руки, когда деда из могилы выкапывали? Если сейчас ты ошибешься, он тебе всю жизнь не простит.

— Может, еще раз попробуем с ней договориться?—зондирует их Авель.

— Исключено, она взбесилась, когда услышала о деньгах,—сказал «дуболом».

— Сдается мне, что она действительно не в своем уме. Скажи, пожалуйста, она психически проверена?—какая-то мысль осеняет «воблу».

— Да, здорова,—с вызовом сказал Авель.

— Медицинское заключение—это одно, а факт—другое. Можно ли считать ее поведение нормальным?—интуитивно почувствовал Авеля «вобла».—Отомстила вам всячески: надругалась над бедным Варламом, тебя на весь город опозорила, чего же ей еще надо! Добилась кажется своего! А она твердит: «Все равно выкопаю!». Конечно, она сумасшедшая.

— Какое теперь это имеет значение? Эксперт ведь установил, что она здорова!—прикинулся невинным Авель.

— Постой, постой! Как какое имеет значение?—почувствовав, что он на верном пути, осмелел «вобла».—Если обвиняемая душевнобольная, никакого судебного процесса не будет, ее отправят в больницу лечиться... Навсегда...

— Постойте, постойте, как это делается?—воспряла духом Гулико.

— Очень просто. Защитник Авеля, господин Джуй, потребует у суда повторной экспертизы,— бодро сказал толстяк.

— А кто у нас главный эксперт?— спросила Гулико.

— Дорофей.

— Авель, ты слышишь, наш Дорофей,— в ее голосе счастье.

— Странно, что мы сразу об этом не подумали,— с виноватой улыбкой сказал толстяк.

— Кто знал, что все так сложится,— напыжился «вобла».

Зал судебного заседания. Продолжается процесс. Слово взял защитник Авеля:

— Уважаемый судья, уважаемый прокурор, уважаемое общество!

Главный судья остановил его:

— Потерпите, потерпите. Мы еще не приступили к работе!

— Именно потому я и прошу внимания! Процесс не может продолжаться! Обвиняемая больна!— торжественно сказал защитник Авеля.

— Медицинское заключение имеется в деле,— строго заметил главный судья.

— Согласен, медицинское заключение имеется в деле, номер семьдесят шесть,— защитник Авеля зачитал его:— «Обвиняемая не является душевнобольной. Она является психопатической личностью, склонной к аффективным действиям»... Я ставлю вопрос: может ли у такой личности развиться бредовая идея? Разумеется, может! Скажу больше, на процессе я внимательно слушал выступление обвиняемой, и некоторые моменты ее горькой судьбы даже вызвали у меня слезу, но упорное заявление обвиняемой, что даже если ей присудят сто лет, она все равно выкопает покойника, и странная категоричность этого заявления уже выходят за рамки навязчивых идей и превращаются просто в бред. Бред, как известно, является признаком психического расстройства, а судить душевнобольного человека законом запрещено! Необходимо, чтобы наши авторитетные врачи сказали слово. Я убедительно прошу суд направить обвиняемую в больницу для повторного обследования,

— Уважаемый судья!— вскочил защитник подсудимой.— Я весьма удивлен смелостью и легковесностью суждения моего коллеги! «Может ли развиться бредовая идея у обвиняемой?»— ставит он неожиданный вопрос и сам же отвечает на этот вопрос: конечно, может. Попутно он рисует портрет психически больного, обремененного бредовыми идеями человека, о котором в заключении ясно написано: «Обвиняемая душевнобольной не является!» Нет! Да простит меня мой коллега, но такая смелость и легковесность

суждений, так называемые силлогические упражнения, когда дело касается судьбы многострадального человека— явное святотатство. Тяжелая душевная травма, ненормальные условия жизни, естественно, пошатнули здоровье обвиняемой и, как говорят психиатры, изуродовали ее характер. Это бесспорно. Но месть обвиняемой— это не осуществление годами созревшего решения, а состояние аффекта, не психоз, а реакция протеста! Уважаемый судья! Уважаемые заседатели! Я не прошу у вас снисхождения. Я ходатайствую перед вами, чтобы вы учли вышесказанное мною, дабы на этом основании вынести подсудимой оправдательный приговор...

Сидящий на суде Авель на миг отрешается от происходящего. Ему вдруг мерещится некий закодированный круг, из которого никак не могут вынести гроб с телом отца...

... Ночь в доме Авеля Аравидзе. В блаженной истоме спит на постели Гулико. Авель бродит по квартире, не находя себе места. С зажженной свечой он спускается в подвал. Здесь на стене висит маленькое распятие— то самое, с помощью которого маленький Авель когда-то хотел оживить свою покойную маму.

— Господи,— шепчет Авель.

— В чем дело, сын мой?— ответил ему невидимый голос.

Авель в испуге оглядывается. Мерцающий свет выхватывает из темноты фигуру человека в рясе. Святой отец сидит за столом и с аппетитом ест рыбу. Блики света поочередно освещают то лоб, то губы, то руки незнакомца. Полностью лица его не видно.

— Исповедаться пришел, святой отец! Грешен я, раздвоена душа моя...

— Человек раздвоен с той поры, как отведал запретного плода и познал добро и зло. Это не большой грех,— ехидно сказал святой отец.

— Нет, я о другом раздвоении говорю: сознание мое раздвоилось, сознание... Проповедую атеизм, а сам крест ношу. Может, потому и запуталась моя жизнь...

— Как раз после проповеди атеизма хорошо в церковь сходить, покаяться в грехах,— насмехается святой отец.

— Нет, вы меня не поняли! Меня беспокоит то, что я постепенно теряю свои моральные принципы, я уже не вижу разницы между добром и злом... Веру потерял, веру!

— Какую веру?

— Готов всем все простить и всякую мерзость оправдать: донос, коварство, малодушие... Обман, низость...— безжалостно вывернул себя наизнанку Авель.

— Выходит, ты Христос, сын мой! Тебе ли жаловаться? А ты не врешь?

— Нет... Сушую правду говорю!

— Ты так думаешь? Кого ты обманываешь, лицемер? Я ведь знаю тебя, ты в порошок сотрешь всякого, кто встанет на моем пути.—Святой отец издевался.—А если тебя по щеке ударят, ты не другую подставишь, а так двинешь, что челюсть свернешь! Такие, как ты, не способны раздваиваться! Тебе же наплевать и на добро и на зло! Не раздвоение тебя беспокоит, а страх тебя гнетет, страх!

— Какой страх?

— За самого себя—ты самого себя боишься! Всю жизнь за престижем гонялся, примерной семьей гордился, и вдруг все рушится.

— Нет!

— Да! Отца из могилы выбрасывают, власть из рук уплывает, единственный сын восстает против тебя...—беспощадно бил его святой отец.—Все, из чего состояло славное имя—Авель Аравидзе, ускользает от тебя и ты остаешься один—беспомощный и слабый.

Авель закричал:

— Нет, нет!!!

— Да! Боишься ты! Страх одиночества тебя гнетет! Ибо неверующий в одиночестве только о смерти и думает.

— Да, боюсь!—в страхе зашептал Авель.—Какая-то пустота вокруг. Всю жизнь пытаюсь убежать от этой пустоты: притворяюсь, лгу... И семья, и дело—все это самообман, чтобы не остаться наедине с собой, чтобы не думать.

— О чем?

— О чем-то самом главном... Кто ты такой, Авель Аравидзе?

Авель поднял свечу и увидел себя, стоящим перед треснувшим зеркалом, в котором отражалось его раздвоенное лицо. В это время свет выхватил из тьмы полотна художника Сандро Баратели, небрежно прислоненные к стене. Это портреты Нино, Елены, Кети, самого художника.

— Ради чего ты живешь?—обращался Авель к ним.—Кто ты? А ты? А ты?

За спиной Авеля раздался насмешливый голос святого отца:

— «Кто мы, для чего явились на этот свет? Куда мы несемся?» Знаешь, что я скажу тебе? Брось ты эту чепуху, Авель Аравидзе! Я-то знаю, что завтра все на свое место станет, и ты будешь жить по-прежнему. Грехи замаливать?... Трус ты, вот кто! Будь на то моя воля, я бы отправил тебя в ад прямым рейсом!

— Кто ты, я спрашиваю?—в отчаянии закричал Авель.

В ответ он увидел в зеркале лишь обглоданный скелет рыбы. Ударил подсвечником по зеркалу. Оно с грохотом обрушилось, и оттуда, из черного проема, предстало перед ним сытое лицо Варлама Аравидзе, кото-

рый, ехидно посмеиваясь, спросил его:

— Не узнал меня, сынок? Ты что же это, на исповедь к дьяволу пожаловал?

— Авель, что с тобой?!—трясет его Гулико.—Очнись! Все на нас смотрят.

Авель приходит в себя от кошмарного видения, оглядывается на зал судебного заседания. Процесс продолжается.

В его руках скелет обглоданной рыбы.

— Что это? Что это, я спрашиваю?— Гулико брезгливо взяла скелет и выбросила под стул.

— Конец всему... Кончилась жизнь,—забормотал в оцепенении Авель.

— Тебе плохо? На... Прими это.—Она сунула ему в рот таблетку валидола.

Суд продолжается.

— Что скажет господин прокурор?—спросил главный судья.

Поглощенный кубиком Рубика прокурор нехотя отложил его в сторону, поднял голову:

— Я требую вернуть дело на повторное расследование, довести его законным путем до суда и отныне именовать «Делом Аравидзе—Баратели»,—благодушно закончил он.

— Варлама Аравидзе я все равно не оставлю в земле,—вызывающе спокойно заявила Кети Баратели.—Как только выйду на свободу, опять выкопаю!

— Мне не хочется думать, что госпожа Баратели то примитивное создание,—улыбнулся прокурор,—которое верит, будучи безнравственным поступком—оскорблением покойника—можно добиться нравственной цели.

— Возможно, ибо Аравидзе не мертв!

— Значит, по-вашему... он жив?—провоцировал защитник Авеля.

— Да! Жив!...—И как разъяренная тигрица, она стала нападать:—И пока вы его защищаете, он живет и продолжает разлагать общество.

— Одну минуту!—продолжал провоцировать ее защитник Авеля:—Прошу прощения... Значит, вы утверждаете, что он жив?

— Да!

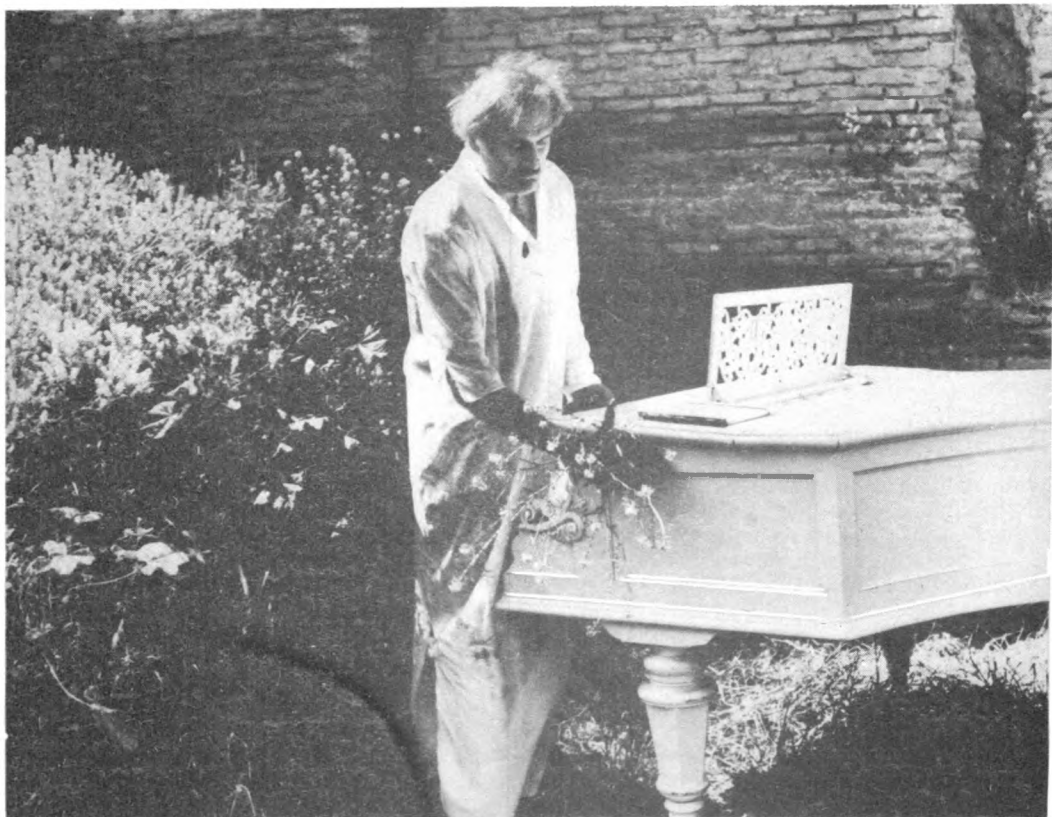
— Уважаемый судья!—торжественно обратился к залу защитник Авеля.—Уважаемые заседатели! Уважаемый прокурор! Я категорически требую направить обвиняемую Баратели в психиатрическую больницу для обследования!

— А я с той же категоричностью повторяю вам: обвиняемая здорова! Это установлено экспертизой и подтверждено заключением, которое подшито к делу,—встал защитник Баратели.

— Что скажут заседатели?—обращается главный судья.

Заседатели что-то бормочут.

— По единодушному решению членов су-



В роли Михаила Коришели — актер Кахи Кавсадзе.

да, заседание откладывается! — заявил главный судья.

Одинокая тюремная камера. У зарешеченного окна стоит Кети Баратели. Теперь это усталая, опустошенная женщина. Она тихо, как бы механически бормочет стихи:

Вечер. Весна. Теней перекличка.
С ветки на ветку прыгает птичка...
Новой мечте хочу я отдаться,
Месяц устал землей любоваться.

Дверь со скрипом отворилась. Вошел Торнике.

— Я — Торнике Аравидзе. Я внук Варлама Аравидзе.

— Что вам угодно от меня? — без тени удивления спрашивает Кети.

— Я пришел... Я пришел просить у вас прощения.

Легкая ироническая усмешка скользнула по губам женщины.

— Я же не господь бог, чтобы грехи отпускать?

— Я стрелял в вас. Я убийца.

— Боже мой, под какой роковой звездой я родилась, — вздохнула Кети. — Даже тебя,

невинного мальчика, в убийцу превратила, — и отрешенно продолжила:

Вечер. Весна. Теней перекличка.
С ветки на ветку прыгает птичка...

— Насмехаетесь надо мной?

— А я ведь сумасшедшая. По настоящему сумасшедшая. Завтра придут, возьмут меня под руки и потащат в сумасшедший дом.

— В сумасшедший дом?!

В гостиной Авеля Аравидзе собрались его друзья. Они празднуют победу.

Гулико обносит гостей напитками.

Авель сидит у рояля и с одухотворенным выражением лица играет «Лунную сонату».

Неожиданно ворвался Торнике. На нем лица нет.

— Папа! Что ты наделал?! — крикнул он.

Авель молча встал, схватил сына за плечи и потащил его в другую комнату.

С очаровательной улыбкой гостеприимной хозяйки, извинившись перед гостями, заспешила за мужем Гулико. Втроем они уединились в спальне, закрыв плотно дверь.

— В чем дело, что значит твоя выходка?

В чем ты меня винишь? Это суд решил, что она сумасшедшая, и велел поместить ее в больницу. Я этого не требовал.

— Не сумасшедшая она, нет! И не вина-вата.

— Как же, ангел она!

— Неужели вам не надоело без конца лгать! До каких пор вы будете успокаивать-ся ложью?!

— Чего ты от меня хочешь? Чтобы из-за этой дряни я деда из могилы выбросил?

— Да, хочу! Противно мне все это! Сил нет терпеть столько вранья.

— Торнике, успокойся!— с мольбой в го-лосе сказала Гулико.

— Оставьте меня! Неужели вам не сове-стно перед собой и перед людьми?! Вам бы только благополучие сохранить. Ради этого вы глотку перегрызете всякому; невинного преступником объявите, нормального— сумасшедшим! Неужели ничего святого у вас нет?! Совесть вас не мучает?.. Вот дедушку она мучила. Отец, ты знаешь, почему он в бункере прятался?

— Замолчи, змееньш!

— Да, да... Потому, что стыдно ему было!

— Торнике, перестань!— умоляла Гули-ко.

— Оставьте меня! Ненавижу вас, всех ненавижу! Это не дом, а могила!

— Заткнись, мать твою...— с дикой зло-бой орет Авель.

— Ты не мужчина после этого...— тихо, но отчетливо произносит Торнике.

Со всего размаха Авель бьет сына по лицу.

— Авель!— истуканно закричала Гули-ко, пытаясь образумить мужа, но он оттолкнул ее и вышел из комнаты.

Торнике страшно улыбается ему вслед.

В квартиру ввалилась подвыпившая ком-пания друзей Авеля, пришедших поздравить семью с успешным завершением судебного процесса.

Торнике стремительно убежал в свою комнату и заперся там на ключ.

Гулико последовала за ним.

— Торнике, открой. Слышишь, открой,— ломится она в дверь.— Открой, тебе говорят!

Раздался выстрел...

...В комнате рядом с Торнике на полу лежит охотничье ружье с выгравированной на нем надписью: «Любимому внуку от дедушки Варлама».

— Да будет проклято имя твое, жизнь и дела твои, Авель Аравидзе,— оплакивал сы-на Авель.— Что ты наделал, чудовище! Пусть кровь твоя станет водой, а хлеб твой

в землю превратится... Пусть в адском пламени сгорит твоя плоть и не удостоится она, как родитель твой, земного погребения. Зачем ты родился, исчадие ада, Авель Аравидзе? А твой отец, а сын твой... Зачем они родились?! Как стемнело, какая тьма!.. Господи, как все это бессмысленно!

Авель в остервенении выкапывает из мо-гилы труп отца...

...Где-то за городом, в пустынной местно-сти, на свалке Авель бросает тело Варлама Аравидзе в овраг. Оттуда с шумным кар-каньем взлетает стая ворон...

Опять крошечная квартирка Кети Барате-ли. На столе и подоконнике разнообразные торты с храмами и крестами из крема. Кети дочитывает опубликованный в газете некро-лог Варлама Аравидзе:

— «Исполнив свой долг, ушел от нас верный сын отчизны, образцовый гражда-нин и безупречный человек... Светлая па-мять о нем навсегда сохранится в сердцах его друзей и соратников...» Значит, ты близко знал Аравидзе?— спросила Кети у Аполлона, который сидел в кресле и жевал торт.

— Он был на пятнадцать лет старше меня. Сейчас бы ему исполнилось семьдесят восемь... Большую, содержательную жизнь прожил... Хороший был человек, великий!

Кети пожала плечами:

— А говорят, что грехи ему покоя не давали?

— Что ты, милая!— возмутился Апол-лон.— Чего только не наплетут люди. Выду-мают же такое! Такого отзвучивого челове-ка в целом свете не было! Только об одном и заботился, как бы людям пользу прине-сти!

Кто-то постучал в окно. Кети выглянула.

Под окном стояла старая женщина в нелепом одеянии, с двумя чемоданами.

— Скажите, эта дорога ведет к храму?— спросила она.

Кети в недоумении посмотрела на незна-комку.

— Я спрашиваю, эта дорога приведет к храму?— нетерпеливо и требовательно по-вторила старуха.

— Нет. Это улица Варлама Аравидзе и не эта улица ведет к храму.

Незнакомка удивленно вскидывает брови:

— Тогда зачем она нужна? К чему доро-га, если она не приводит к храму?

Она поворачивается и— гордая, независи-мая— уходит прочь по длинной, неизвестно куда ведущей дороге.

*Авторизованный перевод с грузинского
Михаила Келивидзе*



РУСТАМ ИБРАГИМБЕКОВ (родился в 1939 году) по образованию инженер. Работал в Институте кибернетики Академии наук Азербайджана. С 1962 г. стал выступать в печати с литературными произведениями. Член Союза писателей СССР. В 1967 г. окончил Высшие сценарные курсы, а в 1973 г.—Высшие режиссерские курсы Госкино СССР. Автор ряда сборников прозы и многих пьес. Рустамом Ибрагимбековым и при его участии написаны сценарии фильмов «В этом южном городе», «Белое солнце пустыни», «И тогда я сказал—нет», «Допрос», «День рождения», «Перед закрытой дверью», «Парк», «Храни меня, мой талисман» и др. За участие в создании фильма «Допрос» Р. Ибрагимбеков удостоен звания лауреата Государственной премии СССР.

Фильм по литературному сценарию Р. Ибрагимбекова «Свободное падение» ставит на киностудии «Мосфильм» режиссер Михаил Туманишвили.

РУСТАМ ИБРАГИМБЕКОВ СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ

Пять точек отделились одна за другой от самолета и через несколько секунд свободного падения поровнялись друг с другом, чтобы продолжить свой путь к земле вместе, рядом...

Взявшись за руки и образовав на фоне эмалево-голубого неба фигуру, напоминающую пятиконечную звезду, группа парашютистов летела меж серебристо-белых облаков к земле...

А когда над ними одновременно, как бы залпом, раскрылись купола парашютов, стремительное падение прервалось, перешло в плавный полет, парение...

Круглолицый, с высоким выпуклым лбом и внимательными глазами следователь говорил как человек заинтересованный в наилучшем для всех разрезении неожиданно возникшей сложной проблемы.

Крошечный, аскетически обставленный кабинет, в котором он меня допрашивал, сидя спиной к единственному окну, наводил на мысль о не очень высоком чине хозяина. Однако лексика его речи, манера держаться и возраст свидетельствовали об обратном.

За окном царила ночная тишина, изредка нарушаемая шумом проезжавших автомашин.

Саднило кожу на голове, под волосами заскорузли корочки засохшей крови. Сильно болел весь правый бок—от ударов ногой.

— Я понимаю ваши сомнения,—он откинулся на невысокую спинку старого деревянного кресла и, склонив голову набок, к правому плечу, направил на меня сочувственный взгляд,—но необходимо общими усилиями восстановить истинную картину происшедшего...

— Я рассказал вам все как было,—голос мой независимо от меня прозвучал откровенно неприязненно.

Он улыбнулся. Это была улыбка—терпеливая, усталая, чуть снисходительная—профессионала, который часто, быть может, сотни, тысячи раз слышал эти слова от разных людей, но в конце концов убеждался в том, что все они заблуждаются в оценке своих возможностей сообщить ему необходимую информацию.

— За ту пару часов, что мы с вами не виделись,—сказал он,—мне удалось кое-что

выяснить,—он придвинул к себе исписанные убористым почерком допросные листы,—и, к моему огорчению, ваши показания никак не вписываются в общую картину.—Он помолчал, предполагая, видимо, что-то услышать от меня, но, не дождавшись, продолжил:—Противная сторона показывает, что погибший упал от удара Александра Субботина. И именно в результате этого ударился головой о край тротуара.

— Так все и говорят?—усмехнулся я.

— Вы сможете убедиться в этом на очных ставках,—он будто и не заметил моей иронии.

— А что говорит сам Субботин?

— Субботин пока молчит.

— Как молчит?—удивился я.

— А вот так...—неожиданно очень устало сказал следователь.—Не говорит ни слова—и все! Ничего не видел, не знает, никого не бил. Но от удара, полученного в драке, погиб человек. И в любом случае этот удар нанес кто-то из вас пятерых. Вас ведь было пятеро?

— Да.

Несколько секунд после приземления, пока к нам бежала радостная толпа, мы были одни. Я смотрел на своих друзей и понимал, что и на моем лице запечатлено такое же выражение абсолютного счастья. Никогда раньше ощущение твердой земли под ногами не доставляло нам столь острое наслаждение.

— Да, нас было пятеро,—сказал я.

— А где же пятый?

— Улетел. Мы как раз ехали его провожать, когда это произошло... Я же говорил вам.

— Да, говорили,—подтвердил следователь,—но к некоторым моментам мы будем возвращаться по несколько раз...

Мы проводили его до трапа и, обнимая по очереди на прощание, не подозревали о том, что через три часа будем арестованы.

— И куда он улетел?

— В Москву... и дальше, за границу... в Стокгольм.

— А давно у него такая кличка—Счастличик?

— С детства.

— Была какая-то причина?

— А это имеет какое-то отношение к делу, из-за которого я здесь сижу?

— В некотором смысле имеет,—тон следователя оставался мудро-мягким,—позже я вам объясню.

— Не знаю,—я пожал плечами,—конкретной причины не было. Просто ему часто везло...

— Как и на этот раз,—негромко, под нос себе сказал следователь, что-то записывая на отдельный листок.—Это он попросил остановить машину?

— Нет.

— А кто?

— По-моему, Вадим.

— Плавский?

— Да. А что в этом противозаконного? Здоровый детина бил мальчишку, он увидел... крикнул... Мы вступились... А теперь мы же и виноваты... Борись после этого с хулиганством!

— А кто первый выскочил из машины?—спросил он, дождавшись, когда я выговорюсь.

— Не помню...

Первым из «Латвии» выскочил Алик; он сидел в кабине водителя. Следом—я. Их было человек десять, один из них бил мальчишку, остальные с молчаливым одобрением наблюдали.

Машина остановилась не сразу, метрах в тридцати от них. Мне удалось догнать Алика. Пока он вырывался из моих рук, Счастличик и остальные успели нас обогнать...

Укоризна в устремленном на меня взгляде следователя вступила в конфликт с общедоброжелательным выражением его лица.

— А вы сами?—спросил он, выдержав довольно долгую паузу, но так и не дождавшись моего ответа.—Вы остались в машине, когда она остановилась?

— Нет, конечно. Я же говорил вам...

— Вы вышли из нее первым?

— Нет.

— Вторым?

— Да.

— Значит, кто-то выскочил из машины, а следующим были вы? Правильно я вас понял?

— Да.

— И что вы сделали?

— Побегал...

— Вслед за бегущим впереди вашим товарищем?

— Да.

— Он бежал впереди вас, в довольно светлое время дня. И вы не помните, кто это был?—он усмехнулся, отнюдь не радуясь тому, что сумел доказать очевидность моей лжи, а, наоборот, сожалея об этом и как бы испытывая неловкость и за меня, пытающегося его обмануть, и за себя, вынужденного поймать меня за руку.—Я понимаю, вам не хочется назвать имя своего товарища. Но помимо того, что

вы обязаны сказать мне всю правду, есть еще одно обстоятельство, которое вы, по моему, недопонимаете: кто-то из вас пятерых нанес удар, приведший к смертельному исходу. И если этот кто-то не будет в ходе следствия установлен, тяжесть обвинения ляжет на всех вас пятерых в равной мере.

— Что вы хотите этим сказать?— задал я вопрос, выдающий довольно сильную мою растерянность.

— Только то, что сказал: или виновен кто-то из вас один, или—все вместе. И, говоря правду, вы не только никого не предаете, а, наоборот, помогаете избавиться от ложного обвинения четырех человек и в том числе себя.

— Не видел я, как Субботин его удрил,— буркнул я и, отвернув голову в сторону, увидел висевший на вешалке милицкий мундир с майорскими погонами.

— К этому моменту мы еще вернемся,— голос следователя звучал все так же мягко, но какая-то внутренняя напряженность вдруг ощутилась в нем, звенящая как струна, которая вот-вот может лопнуть, не выдержав напряжения.— А пока я прошу вас вспомнить, кто бежал впереди вас, когда вы выскочили из машины?

Не назвать имя Алика в этой ситуации я уже не мог.

— Субботин,— я все еще разглядывал китель на стене; рядом с другими знаками отличия был привинчен ромбик университетского значка.

Боковым зрением я увидел, как следователь придвинул к себе чистый допросный лист.

— Итак, я пишу, что когда машина остановилась по просьбе Плавского,— сказал он, ничем не выдавая своего удовлетворения по поводу достигнутого результата,— вы видели, как первым из нее выскочил и побежал к месту происшествия Субботин?

— Да. Но к месту драки он прибежал после того, как она началась...

Следователь отложил ручку и посмотрел на меня с какой-то особой внимательностью, будто обнаружил нечто новое на давно знакомом и достаточно хорошо изученном предмете.

— Вы мне уже говорили об этом,— сказал он.

— Да, говорил. И прошу занести это в протокол.

— Непременно,— следователь откинулся на спинку кресла,— но сперва я должен убедиться в том, что вы говорите правду.— Он помолчал, продолжая изучающе меня разглядывать.— Скажите, где вы находились, когда милиция приехала в гостиницу?

— Выходил погулять.— Попытка обидеться на его довольно откровенное выражение недоверия к моим словам не удалась— мешало то, что минутой раньше он

довольно легко уличил меня в попытке его обмануть.

— С Субботиным?

— Да.

— А как вы оказались на месте происшествия? Случайно?

— Нет.

— У вас были причины?

— Да.

— Какие?

— Я потерял свою папку во время драки.

— Какую папку?

— С рукописями... К делу это не имеет отношения. В ней находились важные для меня бумаги. И когда я обнаружил пропажу, мы с Субботиным решили поискать папку на месте драки.

Следователь нагнулся и вытащил из нижнего ящика письменного стола мою папку.

— Эта?

— Да,— привстав, я потянулся за ней через стол.

— Мы вернем вам ее, как только закончим расследование,— сказал следователь, пряча папку в ящик стола.— Вы извините, я просмотрел содержимое— там какие-то рассказы?

— Повести.

— Это вы написали?

— Да.

— Вы ведь врач по специальности.

— Да.

— Работаете в районной поликлинике?

— Да.

— В Московской области?

— Да.

— А живете в Москве?

— Да.— Этими короткими ответами я пытался дать ему понять, что всякие разговоры, впрямую не связанные с расследованием, мне неприятны.

— И давно пишете?

— Да.

Пока я мерил давление его жене и выписывал рецепты, Классик, расхаживая по комнате в темно-коричневом бархатном халате, облегающем его грузное тело, ставил диагноз результатам нескольких лет моей работы. Мягкая поступь, пушистые усы под курносым носом в сочетании с мохнатым халатом делали его похожим на мощного хищного зверя из семейства кошачьих. Голос, хриплый, прокуренный, рыкающий, и желтоватые длинные передние зубы усиливали это сходство.

— Написано неплохо, крепкой рукой, увидено много интересного, но не хватает художественности; сколки жизни в ее, так сказать, неприкрытом виде. Не хватает авторского отношения, оценок, позиции. Слишком все жестко, грубо, открыто... И отсюда, как я уже сказал, недостаточно

художественно.—Он умолк, остановился, понаблюдая за тем, что я делаю, и спросил:—И давно пишешь?

Я молча кивнул; никаких художественных средств не хватало бы для выражения отчаяния, которое в тот момент меня охватило,—он был моей последней надеждой.

— Печататься пытался?

— Да.

— Не печатают?

— Нет.

— Естественно,—он налил себе чая из самовара, стоящего на столе,—не с того ты начал. В литературу полагается входить вежливо, а ты вламываешься. Вот тебя и не пускают. Право писать, как тебе хочется, надо завоевать. А ты сразу выложил. На все сто: хотите ешьте, хотите нет. И оказался несъедобным...

И лексикон у него был какой-то хищнический, а в сочинениях своих он поражал нежной лиричностью: публиковаться он начал рано и к пятидесяти годам был уже автором пятитомного собрания сочинений, что делало его в глазах современников почти классиком...

Трудно сказать, как долго продолжились бы его рассуждения о несъедобности моих повестей, если бы он не наткнулся на неодобрительный взгляд жены, которая почему-то с большим уважением относилась к моим скромным врачебным способностям.

— Конечно,—согласился он, хотя она не произнесла ни слова,—самобытность многого стоит. Иные уже с пеленок такие мастера дозировки, что диву даешься, как в первых же работах все точно взвешено, отмерено, подслащено. А аромата подлинности нет, реальной жизни нет. На вкус приятно, потребляется легко, а насытиться невозможно...

Я встал, понимая, что только мой уход может освободить его из западни, в которой он из-за меня оказался,—жена его походила сейчас на укротителя, готового обрушить на недостаточно покорного зверя все имеющиеся под рукой средства насилия.

— Вот что,—воскликнул он, видимо, хорошо понимая, что ему грозит,—я сделаю попытку! У последней повестушки, самой короткой, если ее чуть-чуть почистить, есть реальные шансы. Убери там кровь на губах, когда они целуются. И вообще высветли немножко. У тебя сажают его, что ли, в финале?

— Да,—вынужден был я признаться, хотя судьба героя последней моей повести была ясна и без моего подтверждения.

— С этим, к сожалению, ничего уже не поделаешь,—вздыхнул он.—Ну, ничего, думаю, пробьём и так. Только кровь убери. Да, и постельную сцену подсократи.

— Что ты говоришь?!—негромко, но с убеждающей силой подала голос жена.—

Это же лучшая сцена. И такая целомудренная!

— Целомудрие есть,—согласился классик и, прогнувшись в пояснице, сморщился, как от удара плетью...

Следователя продолжало тянуть на отвлеченные разговоры. Шел первый час ночи, и если бы за тем, что он говорит, не угадывался какой-то, пока еще непонятный мне, умысел, это выглядело бы чудачеством. При всей искренности тона поверить в то, что его интересует судьба моих несчастных произведений, я не мог.

— Значит, все пишете, пишете, а результатов нет?

— Так получается.

— А я—математик,—сказал он, как бы признавшись в какой-то тайной и тщательно скрываемой слабости, изъяне,—по первому образованию. Теорией игр занимался.

— Университет окончили?

— Нет. В университете я на юридическом учился. Заочно. А мехмат в пединституте кончал. Вы, кажется, устали...

— Устал.

— Я вижу. В таком случае прервемся на полчаса. Вы отдохнете, а я с вашими товарищами поговорю. Желательно до утра всех вас опросить, чтобы успеть завтра решить с прокурором вопрос санкции.

— Какой санкции?

— На арест. Я же вам объяснил: если удастся установить, от чьего удара наступила смерть, то задержим кого-то одного; если не удастся, то, увы,—он развел руками и пошел к двери,—придется арестовать всех.

— Мне завтра утром надо быть в Москве,—сказал я как можно категоричнее.

— Да, я видел ваши билеты,—ответил он уже с порога,—я минут через сорок вернусь. Если что-нибудь понадобится—тут сержант сидит в коридоре.

Конечно, он оставил меня одного совсем не для того, чтобы дать мне отдохнуть; предупреждение о возможном аресте тоже было сделано не случайно. Чего-то он от меня добивался, этот интеллигентный следователь, что-то в моих показаниях ему не нравилось, и связано это было с Аликом.

Когда я вернулся домой, жена конспектировала за письменным столом, рядом, в детской кроватке, уже спала наша шестилетняя дочка.

— Звонили?—я пристроил портфель в углу между шкафом и вешалкой.

— Ну, что он сказал?—спросила жена, ответив на мой вопрос утвердительным кивком.

— То же самое, что и все. Где они?

— У Счастливого... Ну хоть что-то ему понравилось?

— Его не поймешь. Обещал помочь.

— Да? — Жена отложила ручку. — Что же ты молчишь!

— Разве? Предлагает кое-что переделать.

— Ты согласился? — Ей очень хотелось, чтобы меня напечатали; уже много лет она неутомимо ждала этого события.

— Надо подумать...

Ответ мой ей не понравился, и она опять взялась за ручку.

Я подошел к кровати; дочь, раскинувшись, спала. Поправив одеяло, я положил руку на плечо жены, перед ней лежало несколько книг и толстый блокнот с надписью: «Обзор литературы» — через полгода ей предстояла защита диссертации.

— Неужели нельзя сделать какие-то поправки, если он согласен помочь?! — не поднимая на меня глаз, сказала она.

— Попытаюсь, — я погладил ее по слегка вьющимся волосам.

— Есть будешь?

— Нет.

— Ты решил ехать?

— Пока не знаю. Давно они звонили?

— Часа полтора назад.

— Ждут?

— Да. Не задерживайся допоздна...

— Ладно. — Я еще раз погладил ее по голове и направился к двери.

Музейный интерьер квартиры Счастливого украсился новыми экспонатами: громадным африканским бумерангом и несколькими копиями с черными железными наконечниками. Из каждой зарубежной поездки Счастливчик обязательно привозил что-то для украшения стен своей квартиры, и теперь каждому входящему в дом несложно было узнать, в каких странах мира побывал хозяин.

— Заставляете себя ждать? — Вадим тщетно пытался прикрыть раздражение иронией; они сидели в кабинете Счастливого и, судя по окуркам в пепельнице, довольно давно.

— По вызову ездил. Только закончил.

— У Алика был?

— Нет. Не успел. — Я понимал, что это сообщение его разозлит, но возмущение его оказалось непредсказуемо сильным, он просто взвился от негодования:

— Мы тут сидим три часа, ждем, а он, видите ли, не успел! У тебя совесть есть? Рядом же был. Две остановки трудно проехать?

— Не ори, — я подсел к письменному столу. — Между шестью и семью нет ни одной электрички в его направлении, а я закончил в шесть. Что же, я должен был час торчать

на станции? И неизвестно еще, поехал бы он сюда или нет.

Мои доводы несколько умилили его пыл, но, тем не менее, он продолжил свои обвинения, обращенные уже к нам обоим:

— Мне что, больше всех нужно? — Не впервые за последние годы он обращался к нам с этим вопросом, полным давней горечи и обиды, и каждый раз нам нечего было ему ответить. Уже давно Вадим добровольно взвалил на себя организационную работу по поддержанию нашей дружбы, начавшейся в досафловском парашютном кружке еще в школьную пору, и мы к этому привыкли. — Почему я постоянно должен вас уговаривать, организовывать, убеждать? Неужели один раз в год нельзя выделит три дня на дело, которому отдано двадцать лет жизни! Ну, бог с ними, с соревнованиями, хотя то, что нас не забывают, приглашают на них, — многого стоит, но ради нас самих, чтобы пожить хоть три дня вместе, посмотреть друг другу в глаза, поговорить по душам — разве нельзя из-за этого хоть ненадолго оторваться от каждодневных хлопот и суеты?!

— Да, конечно, можно, — прервал его Счастливчик, — и можно, и нужно.

— В чем же дело?

— В командировку я должен лететь. — Счастливчик, опередив меня, первым сообщил о невозможности поехать на соревнования.

— За границу? — не без ехидства в голосе спросил Вадим.

— Да. В Стокгольм.

— Когда?

— Шестнадцатого.

— Ты вполне успеваешь. Соревнования — три дня. Пятнадцатого возвращаешься в Москву, а на следующий день уезжаешь в свой Стокгольм. — Вадим воззрился на меня.

— Я тоже не могу, — мучительно трудно дались эти слова под уничтожающим взглядом его прищуренных глаз.

— А у тебя что?

— Долго рассказывать.

— Ты уж потрудись!

— До конца недели надо переделать повесть.

— Почему именно до конца этой недели? — недоверие его было понятным: столько лет я писал и не было никакой спешки, и вдруг такие жесткие сроки.

— Потому что в начале следующей недели уезжает человек, который обещал рекомендовать ее в журнал.

— Поработаешь там, — тон Вадима был столь же категоричен, как и со Счастливым, — в понедельник утром мы уже будем в Москве. С Маратом я тоже все уладил. У него были сложности с начальством, но второе письмо из республиканского комитета подействовало... В общем, вы все люди

занятые, серьезные, один я — бездельник. — Он мрачно скривился на собственную шутку. — Но к Алику кому-то из вас все же придется съездить. И сегодня же...

Мы переглянулись со Счастливым, и неотвратимость поездки к Алику стала для нас очевидной...

— И вообще вы с Аликом мало общаетесь, — продолжал Вадим, — я — чаще, и с сыном его 'занимаюсь... математикой. Так вот, я вам совершенно ответственно заявляю: с ним происходит что-то непонятное. И один я с этим справиться не могу...

Счастличик вел свою «Волгу» с лихостью автогонщика, обгоняя одну за другой впереди идущие машины, сбавляя скорость в местах возможных встреч с автоинспекторами и набирая ее, лишь только опасная зона оставалась позади. Все эти требующие постоянного внимания маневры сопровождалась беседой. Разговор шел о документальном сценарии, который я написал по его предложению.

— Не знаю, что скажут на студии, но мне как специалисту многое показалось интересным. Во-первых, форма удачная: то, что все построено как последняя или одна из последних встреч с ним, придает тайную грусть. И диалоги хорошие. Это он сам говорит?

— Конечно. Я записал все слово в слово.

— Ты не представляешь, какой это был гигант! Последний из могикан: тридцать монографий, сотни статей, сотни учеников, двадцать языков — диапазон интересов фантастический: от Северной Африки до Китая. И вот — все! Странная все же штука человеческая жизнь... Мне эта женщина в черном, которая возникает у калитки и в начале, а потом в конце разговора, понравилась. Она что, символ близящейся смерти?

— Да, что-то вроде этого...

— Надо сделать ее молодой и красивой. Он любил женщин. А что, он очень плох сейчас?

— Да. Из кресла не встает, кутается в плед, озноб непрекращающийся, живот раздуло от жидкости.

— Да, — вздохнул Счастличик, — потух вулкан! Ничего не поделаешь, скоро семьям. И что, действительно мечтает о поездке в Среднюю Азию как о чем-то трудно осуществимом?

— Да.

— Боже, неужели то же самое ждет нас?!

Мы миновали окружную дорогу и продолжали мчаться по Можайке.

— А что говорят на студии? Я написал заключение и отправил им сценарий в тот же день.

— Режиссер доволен. У редколлегии есть претензии.

— Все будет в порядке. К таким фильмам они относятся спокойно: лишь бы заказчику нравилось. А заказчик в восторге, — он подмигнул мне. — Ну, а вообще что нового?

— Все по-прежнему.

— Как твои писания?

— Аркадий Теменцов прочитал несколько повестей. Обещал одну пробыть, если до шестнадцатого успею переделать.

— Мне тоже надо многое успеть до шестнадцатого, — грустно усмехнулся Счастличик. — Боюсь, эти соревнования боком мне выйдут. А не поехать тоже нельзя, — вздохнув, добавил он. — Вадим прав — мы теряем друг друга...

Жену Алика Нату, быстро состарившееся пугливое существо, относящееся к мужу с чрезвычайным почтением, наше появление почему-то очень встревожило.

Нервно помаргивая, такой же нервной скороговоркой она в ответ на наши приветствия поспешно сообщила, что Алика дома нет.

— А где он? — спросил Счастличик.

Мы уже миновали калитку и по песчаной дорожке, обложенной побеленным кирпичом, прошли палисадником к двухэтажному кирпичному дому. Она, видимо, мучимая сомнениями, пригласить нас в дом или нет, сошла навстречу с крыльца. Чуть позади нее стоял двенадцатилетний сын Георгий, подопечный Вадима.

— Не знаю, — как-то странно оглянувшись по сторонам, сказала Ната. — Он сказал, чтобы не говорила.

— Кому? — Счастличик дружелюбно улыбался и ей, и Георгию, пытаясь вложить в эту улыбку все наше, быть может, нерегулярно проявляемое, но искренне дружеское расположение к членам семьи Алика.

— Всем. — Ната опять опасно зыркнула взглядом по двору.

— Он что, знал, что мы приедем? — спросил я.

— В сарае он сидит, — сказал Георгий, — от дяди Вадима прячется.

— Замолкни, зараза! — вскрикнула Ната и, ловко извернувшись, попыталась стукнуть сына по затылку. Но тот весьма изящным, еле заметным движением корпуса вбок и назад избежал соприкосновения с рукой матери. Причем выражение его лица не изменилось ни капельки; выпад матери был воспринят им как нечто привычное и не стоящее особого внимания.

— Что ты брешешь! — состроила угрожающую гримасу мать, но и это не испугало Георгия.

— Третий вечер уже сидит, — сообщил он, опять проявляя удивительное хладнокровие и замечательное чувство дистанции — удары

матери миновали его круглую стриженую голову буквально в миллиметре.

— Ни от кого он не прячется,— сказала Ната,— тоска у него.

Мы переглянулись и пошли к сараю. Георгий стремительно обогнал нас и распахнул дверь сарая— стало ясно, что он решительно не одобряет тоскливое настроение отца...

Алик лежал на старой железной кровати в углу сарая, освещенный электрической лампочкой без абажура, которая висела прямо над его головой. Выхваченное из сарайной полутьмы достаточно ярким пучком света лицо нашего друга поражало неподвижностью— даже на шум распахнувшейся двери он не повернулся, продолжал лежать на спине, уставившись открытыми глазами в потолок. И только когда мы подошли вплотную к кровати, он вздрогнул и сел, опустив босые ноги на пол.

— Лежи, лежи,— сказал Счастливчик,— что с нами церемониться.

Смущение возникло на лице Алика одновременно с откровенным удивлением.

— Я думал, это— Вадим.

— А ты привик его лежа встречать?— спросил Счастливчик и, оглянувшись, искал глазами, на что сесть.

— Тащи скамейку,— бросил сыну Алик, подвигаясь, чтобы освободить для нас место на кровати, покрытой байковым одеялом.— Садитесь...

— Ты почему прячешься?

— Да я не знал, что это вы,— Алик конфузливо улыбнулся, почесал затылок,— слышу голоса какие-то...

— А что ты против Вадима имеешь?

— Да-а,— Алик махнул рукой.— Вы что, не знаете? Из-за соревнований этих...

— Ты что, не хочешь ехать?— удивился Счастливчик.

— А что мне там с ним делать? В прошлом году вдвоем съездили. Хватит.

— А мы вот намерены поехать,— сказал Счастливчик.

Алик посмотрел на него недоверчиво.

— И Марат тоже едет.

Алик перевел свой сомневающийся взгляд на меня.

— Прошлый раз вы тоже собирались... А поехали мы вдвоем.

— На этот раз осечки не будет,— сказал я.

— Точно?

— Какой ты стал подозрительный!— рассмеялся Счастливчик.

— С вами станешь.

— Ну, ты едешь или нет?

— С вами, конечно, еду. Все вместе— другое дело... Тряхнем стариной. Да что мы здесь сидим!— Алик, спохватившись, вскочил на ноги.— Пошли в дом.

— Мы ненадолго.

— Пошли, пошли, огурчики у меня как раз подоспели, малосольные, твои любимые.

— О-о-о,— шутливо застонал Счастливчик,— соблазнитель!

В дверях появился Георгий с двумя табуретками.

— Тащи назад,— приказал ему отец.

Мы вышли во двор, посреди которого, заломив руки в волнении, ждала дальнейшего развития событий Ната.

— Ты что стоишь?— грозно спросил Алик.— Накрывай на стол.

Безмолвно всплеснув руками, Ната метнулась к дому.

— Извини, старик, но посидеть не получится.— Счастливчик обнял Алика за плечи.— Спасибо, но в другой раз.

— Никаких других разов,— замотал головой Алик.— Жди вас потом еще несколько лет.

— У меня сегодня гости,— Счастливчик посмотрел на часы,— народ уже собрался. Имею встречное предложение: поехали ко мне, посидим и заодно судьбу попытаем— ко мне сегодня одну даму приведут; она все про вас расскажет— и про то, что было, и про то, что будет... И мысли прочтет, если загадаете...

— И на хрена это нужно?— спросил Алик, озадаченный несговорчивостью Счастливчика.

— Говорят, интересно.

— Да ну ее...

— Ну что, едем?— спросил у меня Счастливчик.

Я посмотрел на Алика.

— А как я потом добираться буду?— спросил он.

— Что-нибудь придумаем...

— Давай, одевайся!— решительно сказал Счастливчик, умело расправляющийся с чужими сомнениями.— Только по-быстрому.

Женщина-гадалка оказалась вполне привлекательной брюнеткой, лет тридцати пяти, с удлинненными серо-голубыми глазами.

Гостей было человек десять, среди них несколько знаменитостей и даже известная на всю страну певичка.

Первым гадалка повела за собой Счастливчика. Вдруг взяла его за руку так, будто ее подтолкнула какая-то внутренняя сила. Было во всем этом что-то таинственно-ритуальное; впечатление усилилось, когда они прикрыли за собой дверь.

Жена Счастливчика налила всем чаю, разрешила и разложила по тарелкам торг.

— Ешьте,— с ласковой улыбкой сказала она мне и Алику, выделяя нас из общего числа гостей.

— Мне форму надо привести в порядок,—

сказал Алик, отхлебывая чай,—валяется где-то в шкафу.

— Вадим получил новую.

— На всех?

— Да.

— Я к своей привык...—Он помолчал немного.—Знаешь, а я глазам не поверил, когда увидел вас в сарае.

— Почему?

— Будто сам не понимаешь.—Алик сколил глаза на певицу, беседующую с известным актером.—Где я, а где вы?

— Я тоже?

— Ну, ты еще ничего: доктора всегда с народом.—Он, подмигнув мне, мотнул головой на закрытую дверь.—А что они там делают? И как Светка это терпит на глазах у всех—не понимаю?!

Актер и певица встали из-за стола и пошли к пианино, заставленному африканскими статуэтками из черного и красного дерева.

— А ей мы не помешаем?—приличия ради спросила певица, кивнув на дверь в другую комнату.

— Нет, нет,—дружно запротестовали все.

Актер взял несколько негромких аккордов, и она запела вполголоса одну из самых популярных песен.

— Натку бы сюда,—сказал Алик,—умерла бы от счастья.

Я с грустью подумал о жене, по всей вероятности, продолжавшей корпеть за письменным столом над длянцами уже многие месяцы обзором литературы...

— Как твои дела?—спросил я у Алика.—На работе все нормально?

— У нас, шоферов, всегда все нормально,—бодро ответил он.

Счастличик и сероглазая гадалка появились в дверях сразу после аплодисментов, которыми была вознаграждена певица за свою песню.

Все умолкли.

Вид у Счастличика был потрясенный, как после затычного прыжка с неисправным и чудом раскрывшимся парашютом.

— Это что-то невероятное,—сказал он, обводя нас всех ничего не видящим взглядом. Спутница его едва заметно, но удовлетворенно посмеивалась, поправляя сбившийся над ухом локон.

Рассеянный взгляд Счастличика обрел наконец способность воспринимать мир в его конкретностях и сфокусировался на мне.

— Пойди с ним!—воскликнул он со странной, не свойственной ему возбужденностью и показал на меня пальцем.—Он у нас и писатель, и врач, и ни во что не верит.

Гадалка взглянула на меня без особого интереса, как бы оценивая, стоит ли тратить на меня время.

— Вы действительно ни во что не верите?

— Наоборот,—я улыбнулся,—верю во все, что мне нравится.

— Ну что же. В таком случае пошли,—сказала она с неожиданной повелительностью.

И я встал, ощущая вдруг странное волнение,—даром внушения собственной необычности эта женщина несомненно обладала.

Мы прошли в кабинет Счастличика. Она взяла со стола лист бумаги, оторвала клочок и протянула мне вместе с ручкой:

— Напишите несколько слов.

Она отошла в дальний угол, к книжным полкам, я подсел к столу и написал первые же пришедшие на ум слова: «Дружба—это труд».

— Написали?

— Да.

— Теперь сложите несколько раз.

Я тщательно сложил бумажку.

— Подойдите сюда.

Я приблизился к ней.

— Сожмите ее в кулаке. И повторите написанные слова несколько раз про себя... Садитесь.

Она села на край дивана, я опустился рядом. Она положила ладонь на мой крепко сжатый кулак.

Я подумал о том, как, наверное, смешно выгляжу сейчас со стороны.

— Не отвлекайтесь,—потребовала она,—думайте только о том, что написали.—Она пристально смотрела мне в глаза, словно вчитываясь в мысли. Потом недовольно тряхнула головой, что-то ей мешало.—Положите вашу бумажку мне на ладонь.

Я выполнил ее просьбу. Подержав у себя ее несколько секунд, она вернула мне бумажку и попросила сосредоточиться.

— Не смотрите на меня, вы отвлекаетесь.

Я слегка отвернул голову и, глядя на одну из висящих на стене африканских масок; мысленно, стараясь не шевелить губами, произнес: «Дружба—это труд».

— Дружба—это труд,—повторила она громко.—Правильно?

— Да.

— Дайте вашу бумажку.

Словно не поверив мне, она развернула бумажку и прочла написанные на ней слова.

— Все правильно.

Только теперь я заметил капельки пота у нее на висках и верхней губе—чтение чужих мыслей, как и следовало предположить, стоило больших внутренних усилий.

— Вы человек невезучий,—сказала она,—и жизнь ваша складывается непросто. Хотя то, что вы пишете, вызывает интерес. У вас жена, ребенок. Дочка,—уточнила она.—Слова, которые вы написали, не случайны—вы верите в дружбу и готовы ради нее на многое. Но не все ваши друзья

способны ответить вам тем же. В ближайшее время вы получите очередное подтверждение дружеской неверности. Должна предупредить: вам предстоит серьезное испытание и сильное разочарование. Но в дальнейшем вас ждет большой жизненный успех и известность. Вы человек волевой и рано или поздно добьетесь своего. Проверьте печень, она чуть увеличена,— сказала она, проведя рукой сверху вниз, почти касаясь моего плеча, груди, колена.— Ногу ломали?

— Да.

— Ограничьте в своем рационе острое и жирное. Дочка изучает английский?

— Да.

— Жена кандидат наук?

— Нет, но заканчивает диссертацию.

Это была ее единственная ошибка, если иметь в виду фактическую информацию, которую она мне сообщила. Впрочем, и прогноз насчет будущих неприятностей подтвердился...

— Аферистка чертова,— обругал ее Алик, когда нам довольно долго не удавалось поймать такси у дома Счастливого.

— Ну зачем ты так,— укоризненно сказал я, испытывая к прорицательнице совершенно противоположные чувства.

— Да поймал я ее,— не очень охотно сообщил Алик,— на мухлевке. Она же бумажек меняет. Я написал на бумажке: «Нам— подруга жизни». А когда она сказала: сосредоточьтесь,— это чтобы я от нее отвернулся,— я вместо того, чтобы сосредоточиться, взял и раскрыл бумажку. Смотрю— белая. Тогда я заставил ее раскрыть ладонь— так и есть: моя бумажка у нее, успела подменить чтобы прочитать, пока я сосредоточиваюсь.

— Ерунду ты говоришь,— рассердился я; стало обидно и за прорицательницу, и за себя, ей поверившего.

— Да она умоляла меня не говорить никому,— в свою очередь разозлился Алик.— «Я, говорит, устала, перетрудилась. Другим я отгадывала честно, без фокусов».

— Ладно,— сказал я,— предположим, ты прав, а откуда она знает, что у меня был перелом ноги?

Алик пожал плечами и задумался.

Дома меня ждал сюрприз: вопреки моим предположениям жена не спала, а принимала гостей— двоих мужчин, в одном из которых я не сразу узнал режиссера-документалиста Коковкина.

— Наконец-то,— недовольно сказала жена, открывая дверь.— Здравствуй, Алик.

— Извини, старик,— мрачно сказал усаженный Коковкин, когда мы с Аликом вошли в комнату,— но мне надо режиссерский писать.

— Ночью?— поинтересовался я с холодной сдержанностью.

Он вытащил из нагрудного кармана куртки сложенные вчетверо листы бумаги, в которых я узнал свой сценарий.

— Ты что тут написал?

— А нельзя ли об этом поговорить в более удобное время?— спросил я.

— Да я бы с удовольствием. Но жена твоя говорит, что ты уезжаешь завтра.

— А что за срочность?

— Мы ездили туда сегодня с оператором,— Коковкин кивнул на сидящего рядом с ним безмолвного бородача,— а нас даже на порог не пустили. Старик купил машину, носится по городу, собирается жениться.

— Какой старик?

— Герой твоего сценария. Невеста его категорически против того, что ты написал. «Это что за женщина в черном? На что вы намекаете? На меня?»— зло передразнил он кого-то, весь перекосившись.— В общем, езжай туда и разбирайся с ними сам. Придется весь сценарий переписывать. И пока эта девица его не утвердит— ни о каких съемках и речи быть не может. Так она и сказала.

— Да кто она такая?!— возмутился я.

— Я же тебе сказал: невеста.

— Какая невеста у умирающего человека?! Что ты говоришь?

— У умирающего?— ехидно сощурившись, спросил Коковкин.— А ты знаешь, что он собирается в Африку ехать сразу после свадьбы? В фольклорную экспедицию. Так что завтра же начни переписывать сценарий.

— Завтра я не могу.

— Ну, послезавтра.

— И послезавтра. Я уезжаю. До понедельника.

— Ты меня убил! Я же в запуске! У меня план, группа. Написал черт знает что и теперь сбегаете?

— Да не сбегает я, в понедельник вернусь.

— Это точно? Куда ты едешь?

— В Краснодар. На соревнования.

— Какие еще соревнования?!

— Последние. Я не могу не поехать...

Ничего не сказав больше и не попрощавшись, режиссер мой пошел к двери. Огорчение его было столь впечатляющим, что даже Алик не выдержал.

— Может, ты не поедешь?— негромко сказал он, провожая взглядом бородастого оператора, который покинул комнату вслед за Коковкиным.

Не ответив Алику, я вышел в прихожую; жена заперла наружную дверь.

— Ты сумасшедший,— сказала она с такой убежденностью в голосе, что я поверил.— Столько лет трудов, мучений, попыток, и когда наконец появилось что-то реальное, ты все бросаешь. Из-за чего? Что

за парашютная страсть в сорок лет?

— Сорок лет мне будет через четыре года.

— Неважно. Кому нужны твои прыжки? Что они тебе дали? Допрыгался до того, что обе ноги переломаны.

— Прошу тебя...

— Делай что хочешь!

— Постели Алику.

— Где были?—спросила она уже более спокойно; выговорившись, она быстро отошла.

— У Счастливичика.

— С женами?

— Кто как. Я хотел заехать за тобой, но не получилось.

— Как всегда. А я и не пошла бы.

— Работала?

— И не только.

— Только не начинай сначала, прошу тебя.

— Конечно, я там не ко двору. У них такие люди бывают. Ты меня стесняешься, я знаю.

Я обнял ее за плечи, притянул к себе.

— Ну что ты говоришь? Тебе не стыдно? Я так тебя люблю...

Поцеловав ее куда-то между ухом и шеей, я пошел в комнату. Алик продолжал стоять на том же месте.

— Ну что ты стоишь?—спросил я.— Садись. Сейчас она тебе постелит.

— Так ты все-таки едешь?

— Конечно.

Мы встретились взглядами, и я понял, что он очень доволен моим решением.

Ровный гул моторов усилился, когда открылся люк. Первым прыгал, как самый легкий, Вадим, потом я, за мной Алик и Счастливичик. Последним всегда был Марат—уже лет пятнадцать он неизменно весил восемьдесят килограммов.

Воздух туго ударил в лицо и швырнул в сторону—казалось, что лечу не вниз к земле, а вбок, по касательной к ней. Но вот воздух стал бить снизу—направление падения изменилось. Я увидел под собой, чуть в стороне, Вадима. Расстояние между нами сокращалось. Движениями рук и ног я старался сместиться в сторону Вадима и через несколько мгновений поровнялся с ним. Сверху приближались остальные. Еще через мгновение мы уже крепко держали друг друга за руки, не раскрывая парашютов.

Снизу, с земли, мы смотрелись как пятиконечная звезда...

Я рванул кольцо, остальные сделали то же самое, и мы уже не падали, а летели, приятно ощущая натянутые стропы парашютов.

Вернувшись в кабинет, следователь надел мундир, висевший на вешалке, и убрал со стола бумаги.

— Ну, что будем делать?—спросил он деланно-бодрым голосом, будто не глубокая ночь стояла за окном.—Мне надо отлучиться ненадолго. Не хотите с друзьями пообщаться?

После того как нас в течение нескольких часов тщательно изолировали друг от друга, это предложение прозвучало странно, но, видимо, наступила та стадия расследования, когда наше общение уже не могло помешать его дальнейшему ходу. Не исключено было и то, что нам решили дать возможность сообща оценить ситуацию, в которой мы оказались. Но как бы то ни было, стремление следователя по возможности облегчить наше положение не вызывало сомнений.

— А кто они такие, эти люди?—спросил я, когда темным коридором он вывел меня к лестнице, ведущей на задний двор отделения милиции.—На местных жителей они не похожи.

— То-то и оно,—огорченно мотнул он головой,—влипли вы крепко. Условно-досрочники. Работают тут на химкомбинате.

— Уголовники, что ли? А почему они по городу разгуливают?

— Им разрешено до двадцати двух часов.

— И мальчишка тоже на принудработках?

— Он не мальчишка. Ему почти двадцать. Хилый просто.

В уютном дворике под деревьями, образующими коротенькую аллею, белели две скамейки; одну из них занимали мои друзья.

— Ну как дышится?—спросил у них следователь.—Вот привел вашего друга. Дышите вместе.

Уходя, он, щелкнув замком, закрыл за собой дверь, через которую мы прошли во дворик.

Я подошел к скамейке и сел между Аликом и Маратом.

— Веселая история,—мрачно сказал Марат.

— Да, влипли,—согласился я.—Вас в гостинице взяли?

— Тс-с-с,—Алик шепотом и знаками дал понять, что нас могут подслушать.

— А что нам скрывать?—громко спросил Вадим.

— Ты что, отказался давать показания?—повернулся я к Алику.

— Да.

— Зачем?

Его удивила наивность моего вопроса.

— Я рассказал все как было,—все так же громко сказал Вадим,—в создавшейся ситуации чем скорее закончится расследование—тем лучше.

— А ты знаешь, что тот тип, который избивал мальчишку, умер?—спросил я.

— Знаю.

— У тебя спрашивали, кто его ударил?

— Да.

— И что ты сказал?

— Что в общей свалке его каждый мог ударить.

— Его Счастливчик двинул,— сообщил Марат,— сразу же, как они напали на нас.

— Я этого не видел,— сказал я.— Мы же с Аликом позже подбежали, когда драка уже началась.

— Разве?— удивился Вадим.— Вы же первыми выскочили из машины.

— Да. Но я задержал Алика.— Объяснять этот мой поступок не было никакой нужды, и Вадим и Марат прекрасно знали драчливый нрав Алика; еще в пору наших юношеских выходов в город, когда возникали какие-то конфликты со сверстниками, мы первым делом старались унять Алика, действовавшего всегда очень активно.— А как началась драка?

— Я сказал ему, чтобы он не трогал мальчишку,— видно было, как Вадим, рассказывая, мысленно пыгается восстановить начало злополучной истории во всех подробностях; в глазах и на лице его явственно отражались напряженные усилия памяти,— а он выругался и опять его ударил. Тогда Счастливчик встал между ним и мальчишкой. И тот вместо мальчика ударил Счастливчика. Счастливчик, конечно, ответил, и они набросились на нас.

— А когда Счастливчик его ударил, он упал?

— Нет, по-моему.

— Он потом падал,— сказал Марат.— И не один раз. Он же пьяный был.

Действительно, я вспомнил, как, отбиваясь от ударов одного из нападавших на нас угольников, я споткнулся о лежащего на мостовой человека.

Он бил меня с холодной методичностью, нанося удар за ударом, справа-слева, справа-слева, выдыхая с хриплым шумом воздух, будто дрова рубил. В надвигающихся на меня бесцветных, круглых, как пуговицы, глазах я видел не злость, а какой-то тупой бездумный азарт. К счастью, удары приходились не по лицу, которое я прикрывал руками, а по голове, вискам, затылку. Меня мотало из стороны в сторону: валясь с ног от одного удара, я налетал на другой, обратного направления, и только поэтому не падал. Пока не наткнулся на лежавшее посреди мостовой тело.

Уже лежа на спине и все продолжая прикрывать руками лицо, я увидел занесенную надо мной ногу и тот же холодный азарт в глазах, уставившихся на меня сверху. Раздавить! Раздавить! Раздавить! Он с силой опускал на мое лицо ногу, больно рая пальцы рук, обдирая до крови ухо,

лоб. Каким-то чудом мне удавалось увильнуть от прямого удара, пока возникший откуда-то сбоку Алик не сбил его с ног ударом головы, снес его, как таран. И тут же упал сам от чьего-то пинка ногой.

К счастью, дело попало к толковому человеку,— сказал Вадим.— Он прекрасно понимает ситуацию и считает виновниками драки этих ублюдков. Хотя они, конечно, утверждают обратное: будто это мы ни с того ни с сего на них набросились.

— Ты зачем сказал следователю, что мы шампанское выпили?— спросил вдруг Алик.

— Затем, чтобы он знал, что мы ничего от него не скрываем.— Вадим дал понять, что его показания— результат осознанного и единственно правильного, с его точки зрения, решения.— Что такое бутылка шампанского на пятерых! По неполному бокалу. Почему мы должны это скрывать? Нам не в чем себя винить. Мы вступились за человека, нас начали бить, мы защищались.

— И в результате погиб человек,— сказал Марат.

— Вот именно.— Вадим всегда считал необходимым убедить всех в правильности своего поведения.— Но какой человек?! Уголовник, рецидивист, напавший на нас при попытке защитить ребенка. Повторяю: мы оборонялись.

— Это называется обоюдная драка,— сказал Алик,— и по головке за такие вещи не гладят.

— Ерунда!— перебил Вадим.— Есть закон о мерах необходимой обороны. Мы защищались. У нас есть свидетель—водитель машины. Он видел, как они били мальчишку.

— Но он не видел, кто первым начал драку,— сказал Марат.— Мы уверяем, что они на нас напали, это утверждают обратное.

— Поэтому мы должны говорить правду до самых мелких деталей,— сказал Вадим,— чтобы не возникло и тени сомнения в правдивости наших показаний. Ну и потом, в таких делах огромное значение имеет, как говорится, гражданский и моральный облик—кто они и кто мы.

— Все это было бы так,— сказал Марат,— если бы он не умер.

— А какие показания дал ты?— спросил я у Марата.— У тебя он про Алика спрашивал?

— Меня лейтенант допрашивал. Про Алика я ничего не сказал. Да я и не видел. Тот же на меня набросился, когда на Счастливчика трое повисли. Ну и пришлось его двинуть пару раз.

— И ты сказал об этом?— спросил Алик.

— Да.

— Чудаки вы, ребята, сами себя закапываете.

— Перестань глупости говорить! — оборвал его Вадим. — Еще раз повторяю: мы должны говорить правду и только правду. И бояться нам нечего. Ты со мной согласишься? — вопрос был обращен ко мне.

— Не знаю, — я действительно очень смутно представлял себе дальнейшее развитие событий, но одно было ясно, что ситуация, в которую мы попали, была гораздо сложнее, чем это казалось Вадиму.

— Да, вот еще что, — сказал Марат, — он спросил, видел ли я этого парня лежащим на земле? Я сказал, что видел, и тогда он спросил, не стоял ли поблизости Алик?..

— И что ты ответил?

— Что поблизости были все, и Алик в том числе. Прежде чем подписать протокол, я проверил: он так точно и написал.

— Что-то он к тебе неравнодушен, — сказал я Алику.

— Понятное дело, — усмехнулся он.

Конечно, наивно было рассчитывать, что толстая, как кирпич, папка лежит нетронутой посреди улицы, но когда я не нашел ее ни в машине, ни в гостиничном номере, осталось предположить только одно: выскочившая из машины вслед за Аликом, я механически прихватил папку с собой, а затем забыл о ней, и теперь единственной, хотя и маловероятной возможностью спасти мои рукописи — была поездка на место драки...

В свете уличного фонаря довольно быстро выяснилось, что ни на плохо асфальтированной мостовой, ни в кустарнике, растущем вдоль тротуара, папки нет.

— Забрали, сволочи, — огорченно сказал Алик, еще раз влезая в редкий кустарник.

Именно в этот момент подъехала машина, и из нее вышли двое мужчин в однотонных сорочках и галстуках. Как потом оказалось, в машине остались их форменные пиджаки, а брюки были украшены милицейским кантом, но в тот момент они имели вполне гражданский вид.

— Что ищем? — спросил лысоватый круглолицый мужчина, шедший впереди (это был наш следователь), второй направился к Алику.

— А ну-ка, вылазь оттуда, — скомандовал он довольно грубо.

Алик, не ответив ему, продолжал шарить под кустами.

— Потеряли что-нибудь? — спросил у меня круглолицый.

— Да.

— Я с тобой говорю, по-моему, — сказал второй мужчина Алику.

— Слышу, не глужой. — Поиск папки в кустах продолжался.

— Есть у вас с собой документ, удостоверяющий личность? — спросил у меня круглолицый.

Тут только я догадался, что он милиционер.

— А в чем дело? — спросил я, залезая во внутренний карман пиджака за паспортом.

— Документ, — раздраженно сказал второй милиционер Алику, вышедшему наконец из кустов.

— Чево? — скривился Алик.

— Я тебе сейчас покажу «чево», — милиционер протянул руку и попытался схватиться за рукав Аликова пиджака.

— Это милиция, — предупредил я Алика, но опоздал — резким движением он отбросил коснувшуюся его руку и угрожающе шагнул вперед. Этого оказалось достаточно, чтобы в руках второго милиционера появился пистолет.

— Руки вверх!

— Ты машинку свою убери, козел, — сказал Алик. — Я тебе не фашист, чтобы руки поднимать.

— Крокин, убери оружие, — негромко сказал милиционер, занимающийся мною, и второй немедленно подчинился. — А ты предъяви документ, удостоверяющий личность. — Эти слова адресовались Алику.

— А кто вы такие?

— Милиция. Вам придется подъехать с нами в отделение, — сказал круглолицый, пряча в карман мой паспорт.

— Ты паспорт верни, — сказал Алик.

— Садитесь в машину, — сказал круглолицый. — Ты тоже, — он подошел к Алику, — и не дури.

— Никуда я с вами не поеду, — сказал Алик. — У вас ордер на арест есть?

— Прекрати, Алик, — сказал я как можно строже.

— Да ты их не знаешь, — ответил он, продолжая «держаться» дистанцию между собой и милиционерами. — Им только поверь. Там они уже по-другому заговорят.

— Мы с тобой и здесь можем по-другому поговорить, — сказал Крокин, — за неподчинение...

— Это мы еще посмотрим, деревня, — ответил Алик, — ты сперва разговаривать научись, а потом командуй.

— Алик, прекрати! — крикнул я, и что-то в моем голосе заставило его подчиниться. Я уже стоял у машины.

— На переднее сиденье, пожалуйста, — пригласил меня круглолицый.

— Садись, садись, москвичок, — открывал заднюю дверь для Алика Крокин.

— Сейчас самое главное — убедить его в правдивости наших показаний, — продолжал уговаривать Вадим. — Свидетелей практически нет — значит, мы должны добиться полного доверия к каждому нашему слову...

— Тише, — сказал Алик, — идут.

Послышался шум отпираемой двери, во

дворе появился сержант и негромко назвал две фамилии: мою и Алика...

— Куда это нас?—спросил его Алик, когда мы поднимались по лестнице на второй этаж.

— На опознание,—не очень охотно ответил сержант.

— Какое еще опознание?

— Сейчас увидишь.

В большой комнате, похожей убранством на Красный уголок или кабинет политпросвещения, нас ждали следователь, лейтенант Крокин и трое каких-то мужчин в гражданской одежде. Мужчины почему-то выстроились в шеренгу у окна.

— Проходите сюда, пожалуйста,—следователь попросил нас тоже встать у окна.—Приведи первого,—сказал он сержанту.

Тот ненадолго вышел и вернулся в сопровождении того самого уголовного, который несколько часов назад бил меня так увлеченно, что, не будь Алика, милиция сейчас занималась бы расследованием не одного, а двух убийств.

Угрюмым взглядом он оглядел нас и повернулся к следователю.

— Узнаешь кого-нибудь из этих людей?—спросил тот его.—Кто-нибудь из них участвовал в драке?

— Конечно,—уголовник показал на меня и Алика,—вот эти двое.

— Так,—непроницаемое выражение лица следователя не выражало ничего, кроме заинтересованности в самой процедуре опознания,—и что они делали?

— Как что?—удивился уголовник.—Били нас.

— Конкретней.

— Ну, мы стояли на углу Щорса и Октябрьской, разговаривали, шутили. Вдруг эти выскакивают из-за угла...

— Сколько их было?

— Пять человек. И давай нас калечить.

— Конкретней.

— Вот этот,—уголовник показал на Алика,—ударил покойного Костяна... Чаусова то есть... Сразу врзал... Тот упал и головой, значит, о край тротуара. А этот на меня набросился, бил, бил, а потом этот ему на подмогу прискакал и головой мне в живот врзал. Я даже сознание потерял. Прихожу в себя: этих уже след простыл, на машине укатили, ребята наши все побитые, а Костян, Чаусов то есть, еще живой пока, но за голову держится и тошнит его...

— Этот гражданин,—следователь показал на меня,—тоже бил Чаусова?

— Этот нет,—сказал уголовник,—этот меня бил. А вот тот,—он показал на Алика,—и Костяна убил, и меня, значит, пытался...—Он покосился на Крокина, который, сидя за столом, покрытым красной тканью, записывал его слова.

— У тебя совесть есть?—не выдержал я.—Когда драка началась, ни его, ни меня там не было. Чаусова вашего другой человек ударил, и то в ответ на то, что Чаусов первый начал драку.

— Тихо!—строго прервал меня следователь.—Вы мешаете работать!

— Он все врет...

— Прошу вас прекратить разговоры!

— А я прошу заставить этого человека говорить правду! Все его показания лживы! И вы прекрасно это знаете.

— Сам ты лживая гнида,—завопил уголовник неожиданно тонким жалобным голосом.—Я правду говорю!

Следователь подошел ко мне вплотную.

— Это бессмысленное препирательство,—сказал он с прежней усталой-мягкой интонацией,—наберитесь терпения.

— Его ударил другой человек.

— Вы это видели?

— Нет. Но я точно знаю. Мои товарищи могут подтвердить.

— Это мы выясним. А пока соблюдайте тишину. Сержант, уведите его.

Следователь подождал, когда сержант и уголовник вышли в дверь, подошел к столу, заглянул через плечо лейтенанта в протокол опознания.

— Ты не то говоришь,—тихо сказал мне Алик.—Счастливчика не впутывай.

Следователь оглянулся на нас.

— Понятые, подпишите протокол,—сказал он, и трое мужчин, принявших участие в опознании, подошли к столу.

После того как протокол был подписан, он попросил понятых выйти в коридор.

— А вы, пожалуйста, идите со мной,—сказал он мне, направляясь к двери.—Еще полчаса вас задержим, не больше,—извиняющимся тоном обратился он в коридоре к мужчинам, курящим у раскрытого окна.

Мы прошли в его кабинет.

— Садитесь.—Он сел за стол и выгасил из ящика протокол с моими показаниями.—Ну, вы убедились, что ваши показания противоречат тому, что говорят все остальные очевидцы?—спросил он меня.

— Если вы имеете в виду лживые утверждения...

— Все десять человек с пострадавшей стороны утверждают, что первый удар Чаусову нанес Субботин, после чего он упал и началась драка. Ваш товарищ...—он потянулся к стопке допросных листов.

— Храпачев?

— Да. Видел Субботина рядом с лежащим на мостовой телом.

— Там все были рядом, не только Субботин.

— Но десять человек показывают, что

Субботин не просто стоял рядом, а нанес удар. Поэтому, вы меня извините, я позволю себе поставить под сомнение ваше утверждение о том, что Субботин не участвовал в драке с самого ее начала. Вы пытаетесь ложными показаниями помочь своему товарищу. Причем это не первая ваша попытка...

— Я говорю правду.

— Которая никак не подтверждается. Может быть, и Субботин, когда заговорит, заявит то же, что и вы. Но это и понятно — он будет пытаться спасти себя.

— Я не знаю, из каких соображений эта шайка валит все на Алика... Субботина, — продолжал упорствовать я, — но, повторяю, первый удар нанес не он.

— А кто?

— Другой человек.

— Вы же этого не видели, причем, согласно вашим показаниям, и не могли видеть.

— Мне сказали.

— В любом случае, раз вы сами этого не видели, юридической силы ваше утверждение не имеет. — Следователь устало потер лоб. — Так вы продолжаете настаивать на своих показаниях?

— Да.

— Упрямый вы человек. Ну ничего, у вас еще есть возможность подумать — до утра. — Он посмотрел на часы. — Ого... Заработались. — Он встал. — Идемте, ваши товарищи ждут вас...

Он привел меня в Красный уголок, где уже находились Вадим, Марат и Алик, который подбадривающе подмигнул мне, когда мы встретились взглядами.

— Садитесь, — предложил мне следователь, усаживаясь за один из столов.

Я присоединился к моим товарищам, и оказалось, что каждый из нас занимает место за отдельным столом, покрытым красной тканью; со стороны мы походили, наверное, на участников какого-то экстренного производственного совещания.

— Время позднее, — сказал следователь, — у нас здесь нет возможности разместить вас на ночь. Поэтому отправим поспать в гостиницу. Только просьба — никуда из нее не выходить. Буду с вами откровенен: история, в которую вы попали, сложная. Я уж не говорю об убийстве, это особый разговор, но еще существует обвинение в групповом хулиганстве, отягощенное тем, что вы, по собственному признанию, были нетрезвыми.

— Мы выпили бутылку шампанского на пятерых, — сказал Вадим.

— По нынешним временам этого вполне достаточно, — возразил следователь. — Противная сторона тоже была нетрезвой, хоть и отрицает это, и в целом складывается очень некрасивая история с пьянкой, дракой, нарушением общественного порядка

из хулиганских побуждений. И в результате — смерть человека. Вы люди уважаемые, гости нашего города, и, не скрою, у вас много защитников, уже отовсюду звонили, но, — он развел руками, — при всем желании, закон для всех закон, и возможности помочь у нас очень ограничены. Не будь этой смерти, еще можно было бы кое на что закрыть, как говорится, глаза, тем более, что конфликт у вас произошел с правонарушителями. Обвинение в хулиганстве, я надеюсь, отпадет. Но факт смерти требует особо тщательного расследования, имея в виду, конечно, и то, что это дело будет рассматриваться в самых разных инстанциях. А пока, если даже основываться на ваших показаниях, все равно существует, как говорится, много «но»: шампанское, запутанные обстоятельства с убитым — неизвестно, от чьей руки конкретно он упал и ударился, — и многое другое. Поэтому буду с вами откровенен: чтобы иметь возможность хоть как-то вам помочь, я должен завтра утром, докладывая дело прокурору, иметь определенную ясность в той его части, которая связана с убийством.

— А именно? — спросил я. — Что вы имеете в виду?

— Вы правильно догадались, что речь идет прежде всего о вас, — ответил мне следователь, — ваши попытки отрицать участие Субботина в начальном эпизоде драки запутывают картину. Но и показания остальных не дают возможности снять вопрос о вашей общей ответственности за смерть Чаусова, а значит, я не могу поставить перед прокурором вопрос о санкции на арест только одного человека, оставив остальных до суда на свободе. Вас я уже предупреждал, но товарищи, видимо, еще не понимают ситуации и стараются выгородить друг друга. А в результате могут, как говорится, пострадать все вместе...

— И что вы предлагаете? — спросил я.

— Я предлагаю всем подумать, в особенности вам, и дать правдивые показания. Тогда трое из вас до суда останутся на свободе.

— А Субботин?

— Вопрос этот решает прокурор, но не буду с вами лукавить, объективные обстоятельства дела вряд ли позволят принять тут положительное решение. — Следователь глянул на часы и устало поднялся со своего места. — Надо ехать.

Мы молча вышли в коридор и направились к лестнице. Я шел рядом со следователем.

— В теории игр оптимальным решением подобных ситуаций считается минимальное, — вдруг сказал он мне негромко, — то есть, если проигрыш неминуем, надо действовать так, чтобы максимально его минимизировать, то есть уменьшить...

— В теории игр речь идет не о людях, наверное,— сказал я.

— И о людях тоже,— возразил он.— А вообще в жизни часто возникают ситуации, когда кто-то один должен принять удар за всех. Поймите, погиб человек, безнаказанно это никак остаться не может.

Мы вышли на улицу.

— Сержант проводит вас,— сказал следователь на прощание.— Прошу из гостиницы не выходить и к девяти утра всем быть в отделении. Только без опоздания. И надеюсь, к этому времени вы примете правильное решение...

— До свидания,— от нашего общего имени сказал Вадим, и в сопровождении сержанта мы побрели в гостиницу.

— Совсем забыл,— крикнул нам вслед следователь,— вечером вас по телевизору показывали.

Снимать нас начали сразу же после приземления, прямо на поле в окружении радостных встречающих.

— Дорогие телезрители, только что вы были свидетелями группового прыжка нашей знаменитой в прошлом пятерки...— диктор назвала в микрофон наши фамилии.— Неоднократные победители всесоюзных соревнований, ветераны, теперь уже можно так сказать, нашего парашютного спорта прощаются сегодня с увлечением, которому отдано свыше двадцати лет. Я попрошу капитана знаменитой пятерки, заслуженного мастера спорта, кандидата технических наук, начальника крупного конструкторского бюро Вадима Плавского сказать несколько слов. Прошу вас, Вадим Яковлевич, что бы вы хотели сказать нашим телезрителям в такой знаменательный для вас и ваших товарищей день?

Она передала микрофон Вадиму, который довольно бодро заявил:

— Я могу сказать, что мы сегодня очень счастливы. Более двадцати лет вместе, тысячи совместных прыжков, уверенность в дружеской руке в любой, самой сложной ситуации — все это делает наш сегодняшний прощальный прыжок событием, которое останется в нашей памяти навсегда.— Он оглянулся на нас, как бы прося подтверждения, и мы дружно закивали головами...

— Что будем делать?— спросил Вадим, как только мы расположились на двух стульях и кровати в его номере.

— Если честно, я вообще ничего понять не могу,— сказал Марат.— Почему вдруг все повернулось против Алика? С таким же основанием можно было любого из нас обвинить. Не говоря уже о Счастливчике.

— Счастливчика не впутывайте,— сказал

Алик.— От того, что вы и его назовете, мне легче не станет.

— Может быть,— сказал Вадим,— но я в своих показаниях все же написал, что первый ответный удар нанес именно он.

— И напрасно. Ты своей правдой только всех гробишь,— сказал Алик.— Про шампанское зачем-то наплел...

— И все равно я считаю, что поступил правильно.

— Не знаю,— задумчиво сказал Марат.— Я вот сказал правду о том, что Алик, как и все мы, стоял рядом с телом этого убитого; казалось бы, ничего в этом плохого нет, а теперь мои слова используют как косвенное подтверждение того, что он умер именно от удара Алика.

— Почему?

— Потому, что эти подонки все валят на него.

— Я понять не могу, что они так на тебя взъелись?— Вадим сочувственно посмотрел на Алика.— Все как один.

— Какое имеет значение,— сказал я,— из-за чего они именно на него навалились? То же могло произойти с каждым из нас.

— Я понимаю,— сказал Вадим,— но просто странно...

— Элементарная случайность,— сказал Марат,— кто-то первым назвал его, а остальные подхватили.

— Я понимаю, что случайность,— согласился Вадим,— но какая-то логика должна быть? Они никого из нас не знают... Первый удар нанес Счастливчик... Марат надавал им больше всех...

— На то она и случайность,— сказал Марат,— что в ней нет никакой логики. Сложность в том, что мы не можем сказать, кто на самом деле нанес первый удар.

— Почему не можем?— возразил Вадим.— Я, например, сказал. И не вижу в этом ничего опасного для Счастливчика. Все видели, что этот тип сразу же встал и снова полез в драку.

— Это мы видели,— сказал Марат,— те утверждают обратное, что он после первого удара так и не поднялся.

— Но это же явная ложь!

— А разве то, что Алик его ударил,— не ложь?— спросил я.

— Нет, не ложь,— сказал Вадим,— в общей свалке он вполне мог его ударить. Как и каждый из нас.

Все мы почему-то одновременно посмотрели на Алика.

— Да, кажется, я ему врезал пару раз,— сказал он.

— И я его ударил,— сказал Марат.

— И Счастливчик,— сказал Вадим.— Но кто конкретно виновник смерти — никто сказать не может.

— Поэтому нечего тут мудрить,— сказал

Алик,—раз они показывают на меня, зачем впутывать Счастливого?

— Но они утверждают, что он упал и получил травму после первого удара,— сказал я.

— Ну?

— А этого не могло быть, потому что, когда началась драка, тебя там не было.

— Кого это волнует?— усмехнулся Алик.

— Меня.

— В том-то и сложность,— сказал Вадим,— что существует ложная версия смерти от первого удара.

— Да какая разница—от первого или последнего?— сказал Алик.— Раз говорят от первого, значит, от первого.

— И все же первый удар ты нанести не мог,— сказал я.

— Ну и что?! Они-то считают, что нанес! Чего тут мудрить.

— В таком случае, и я могу сказать то же самое.— Марат прошелся по комнате, мощные бицепсы проглядывали сквозь ткань плотно облегающей его грудь трикотажной рубашки.— Если уж мы сами выбираем, кто возьмет вину на себя,—то почему не я? У меня удар самый сильный.

— В таком случае, почему не Счастливчик?— спросил Вадим.— Он первым ударил...

— Да кончайте вы,—махнул рукой Алик и встал,—ясно, что мне надо взять на себя, раз все уж так получилось...

— Это еще большой вопрос,—сказал Вадим,—а почему, например, не я?

— Ты?

— Да, я. Кто первый увидел, что они избивают мальчишку и потребовал остановить машину?

— Ну, знаешь!—возразил Марат.— При таком подходе во всем виноват шофер: машину остановил не ты, а он.

— Установить, кто из нас виноват больше, кто меньше—невозможно,—сказал я.

— Значит, ты считаешь, что он должен получить санкцию на всех нас?

— Не вижу другого выхода.

— А какой смысл?—спросил Алик.

— Есть ситуации, когда надо поступать не по смыслу, а по совести,—сказал Марат.

— При чем тут совесть?!—воскликнул Вадим.—Совершенно ясно, что каждый из нас готов, как говорится, принять удар на себя. Я лично ни секунды в этом не сомневался и не сомневаюсь. Но, тем не менее, существует ситуация, из которой мы должны выпутаться с наименьшими потерями. Мы можем, конечно, послать к черту этого следователя с его предложением, и пусть получает санкцию на всех. Но что мы на этом выигрываем? Я, как говорится, просто рассуждаю. Решение мы, естественно, примем коллективное, как решит большинство, так и будет.

— Да ясное дело,—сказал Алик,—конечно, правильной, если сядет кто-то один, а не все.

— А кто его выберет, этого одного?—спросил я.

— Следователь уже выбрал,—ответил мне Алик.

— Мы как раз над тем и думаем сейчас, соглашаться с ним или нет,—сказал Вадим.

— Надо позвонить Счастливчику!—вдруг осенило Марата.—Он же еще в Москве... Нужно ему все рассказать... предупредить...

— А правда!—Алик вопросительно глянул на меня, на Вадима.

— Пожалуй, есть смысл,—сказал Вадим, вставая.—Он человек мудрый.

Возможность поговорить со Счастливчиком подняла всем настроение.

— Который час?—спросил я. Все трое одновременно посмотрели на часы.

— Без двадцати два...

— Он должен быть дома.

— От дежурной звонить не стоит,—сказал Вадим.—Лучше с переговорной.

— А кто нас пустит?

— Ты думаешь, нас охраняют?

— Все может быть.

— Я проверю,—сказал Алик.

— Только не ты,—Вадим пошел к двери.— Подождите меня здесь.

— Можно через окно,—предложил Марат,—из моего номера.

— А действительно...

— Да и отсюда можно.—Алик выглянул в окно Вадимовского номера.—Тут невысоко.

— Нет,—сказал Вадим,—могут увидеть. Идем на первый этаж.

Мы вышли в коридор, молча спустились по лестнице и направились к номеру Марата...

— Счастливчик обязательно что-нибудь придумает,—сказал Марат.

Я посмотрел на лица своих товарищей, когда мы вошли в номер,—даже Вадим от перспективы разговора со Счастливчиком повеселел.

Окно выходило в задний двор гостиницы, посреди которого росло несколько деревьев, обсаженных кустарником.

— Может, кто-то останется в гостинице,—спросил Вадим,—на всякий случай?

— Ну, нет!—в один голос возразили мы—всем хотелось поговорить со Счастливчиком.

Один за другим мы выпрыгнули из окна и быстрым шагом направились к междугородному переговорному пункту.

— А что он может сделать ночью?—как бы сам себя спросил Вадим.

— Все что угодно,—сказал Марат,—на то он и Счастливчик.

— Нам лишь бы отсюда выбраться,—

сказал Вадим.— В Москве разберемся, что к чему...

— Это в его силах,— сказал Алик,— он их всех знает.

— Кого?

— Начальство всякое.

Дальше мы шли молча, почти бегом.

Но дозвониться до Счастливики не удалось— не отвечал телефон. Все по очереди послушали равнодушные длинные гудки.

— Отключили, наверное, на ночь,— сказал Вадим, когда мы вышли на улицу.

— Во сколько он улетает?— спросил Алик.

— Рано утром.

— Может, утром попробуем?— предложил Марат.

— Какой смысл?— возразил я.— Он не успеет ничего сделать...

Больше никто ничего не сказал. Четверка парашютистов молча шла по ночным улицам чужого города, мрачная, как при неудачном приземлении.

— Что же теперь делать?— нарушил молчание Вадим, когда впереди показалось здание гостиницы.

— Мы же решили,— удивленно сказал Алик,— что тут голову ломать? Вполне он мог скопытиться от моего удара. Так что не будем создавать проблем,— голос его звучал с беззаботной уверенностью человека, принявшего окончательное решение.

Мы обогнули гостиницу и подошли к окну Маратовского номера.

Первым полез Алик.

— Даже если ты возьмешь первый удар на себя,— сказал Вадим, подсаживая его,— это еще ничего не решит. Раз уж мы принимаем какое-то общее решение, надо продумать его до конца.— Он посмотрел на меня:— В сложившейся ситуации, как ты понимаешь, многое зависит от твоих показаний.

— Да, я это хорошо понимаю,— сказал я.

— И что ты собираешься делать?

— А что я должен сделать, по-твоему?

— Ну, не знаю,— он замаялся,— просто твои показания противоречат тому, что скажет Алик.

— Ну, вы лезете?— спросил Марат.

Мы полезли в окно, сперва я, за мной— Вадим.

— Что ты предлагаешь?— сказал я, когда он спрыгнул с подоконника.

— Я ничего не предлагаю,— сказал Вадим,— по-моему, мы принимаем какое-то общее решение. И если уж оно будет принято, мне кажется, оно обязательно для всех.

— Ты хочешь сказать,— спросил я,— что если вы втроем решите, что мне следует изменить свои показания, я должен буду этому подчиниться?

— Конечно,— сказал он, подтверждая

свою уверенность соответствующим выражением лица.

— Как все ненадежно в этой жизни,— сказал Марат,— одно случайное движение, неосторожный поступок— и все летит к черту, вся жизнь. Может быть, он и не от удара умер, а просто с перепоя. Или от чего-нибудь другого, но теперь в любом случае виноваты будем мы.

— Об этом я и говорю,— сказал Вадим.

Я встал и направился к двери.

— Ты куда?— спросил Марат.

— Спать. Три часа уже...

— Но ты так и не сказал ничего,— сказал Вадим.

— Я остаюсь при своем мнении.

— То есть?— спросил Вадим.

— Когда началась драка, Алика там не было, и по-другому я написать не могу.

Алик рассмеялся.

— Ты тоже хороший чудак. Заладил одно и то же. Пора поменять пластинку.

— И ты так считаешь?

— Да.

— А ты?— спросил я Марата.

— Я пока ничего понять не могу. Голова кругом идет. Давайте встанем завтра пораньше и подумаем...

— Тебе придется подчиниться,— сказал Вадим,— нас большинство.

— Вижу,— сказал я.— И, может быть, вы даже правы. Но я все равно напишу так, как все было. Я не могу объяснить, но тут дело не только в Алике. Может быть, это и глупо, но подписаться под тем, чего не было, я не могу.

— Ты обязан подчиниться большинству,— повторил Вадим.

— Ничего я не обязан. У меня есть совесть, и я обязан подчиниться только ей.

— Это красивые слова,— сказал Вадим,— за которыми стоит, как ни странно, только эгоизм, желание выгладеть чистеньким в собственных глазах.

— А я этого и не скрываю. И никакие общие интересы не заставят меня сделать то, за что потом будет стыдно всю жизнь. Спокойной ночи.— Я пошел к двери, ощущая на спине их взгляды.

— Подожди,— Вадим встал и подошел ко мне.— Ты так ничего и не понял. Двадцать лет наши общие интересы волновали меня больше вас всех. И сегодня тоже я делаю все от меня зависящее, чтобы трое из нас, а вместе со Счастливишкой четверо, как-то вылезли из этой истории. Так уж я привычен— прежде всего бороться за общие интересы.

— И в том числе и за свои.

— Да, но только в том числе. Если надо было бы, я поступил бы так же, как Алик. Когда выходят из окружения, один должен погибнуть, чтобы дать возможность уйти остальным. Причем делает он это добро-

вольно. И ничего несправедливого в этом нет. Так было всегда, и так будет. Ты имеешь право как угодно поступать во всем, что касается лично тебя. Но если речь идет и о других людях, то вступает в силу принцип коллективных интересов, который выше всех твоих кодексов личной морали.

— Все? — спросил я, когда он закончил. — Ты сказал все, что хотел?

— Да.

— За коллективные интересы каждый несет личную ответственность. И никакие общие благие намерения не заставят меня совершить поступок, противоречащий моей совести. — Я переступил порог и прикрыл дверь перед самым его носом.

Услышав шаги за спиной, я не повернулся, считая, что это Вадим, и понял, что ошибся, лишь в тот момент, когда тяжелая рука, опустившись мне на плечо, резко развернула меня в обратном направлении — я оказался лицом к лицу с Маратом.

— Ты почему всех оскорбляешь?! — перекошенная от обиды его физиономия была полна решимости получить короткий и ясный ответ, объясняющий мое поведение.

— Никого я не оскорблял. — Только спокойные и точные слова могли его успокоить сейчас; любая попытка отмахнуться, уйти от ответа могла кончиться печально для меня, так он был зол. — Я говорил только о себе...

— Почему нам должно быть стыдно?! Что мы такого сделали?!

Я пытался высвободить плечо, но безуспешно.

— А ты сам не понимаешь?

— Нет.

— Ты написал о том, что Алик стоял рядом с телом убитого?

— Да. Он стоял вместе со всеми.

— Ты знал в тот момент, когда писал свои показания, что Алика считают виновником смерти этого человека? — Он задумался, вопрос требовал глубокого самоанализа. — Разве по вогзосам следователя не было понятно, чего он добивается?

Он отпустил мое плечо.

— Ну и что? Я же сказал правду.

— Все мы говорим правду, — усмехнулся я, — а из точно выбранных кусочков этой правды складывается удобная для всех ложь: я сказал, что он первым выскочил из машины, ты — что он стоял рядом с телом погибшего, Вадим — еще что-то. В результате каждый, оставаясь формально правдивым, внес свой вклад в то, чтобы помочь его угробить.

Он был потрясен услышанным: прошло несколько секунд, прежде чем он обрел способность говорить.

— Я этого не понимал... Я же и другое говорил, в его пользу... — Он осекся, умолк, поднял на меня глаза. — А ты? Почему же

ты сказал, что он первым выбежал из машины? Ты же понимал, как это может быть использовано?

— Понимал.

— Почему же ты сказал?

— А зачем вы просите меня сейчас написать, что он участвовал в драке с самого ее начала?

— Но он сам об этом просит.

— Ну и что?

— Ты хочешь сказать...

— Да. Именно это я и хочу сказать: мы делаем все, чтобы спасти свои шкуры. А доводы и оправдания для этого всегда найдутся.

— Что же получается? — Он продолжал осмысливать вдруг открывшуюся ему точку зрения на наше поведение. — Значит, мы — обыкновенные сволочи?

— Может, и не сволочи, но обыкновенные. Самые обыкновенные людишки, — сказал я. — Ничем не лучше других.

Когда я, взяв у дежурной по этажу ключ, пришел к своему номеру, он все еще стоял посреди коридора.

— Подожди, — сказал он, — ты что-то не то говоришь. Мы же друг за друга на все шли. Сколько рисковали! Тот же Вадим. Он же спас меня, помнишь? А сам чуть не погиб!

— Это разные вещи. — Интонация моего голоса напомнила мне вдруг всезнающую прорицательницу, знакомую Счастливица. — Спасая тебя, он совершал подвиг, а сейчас от нас требуется разделить поровну позор и беславие. Это гораздо трудней.

— Ты так считаешь, нам надо всем сесть в тюрьму?

Если бы я ответил утвердительно, он несомненно поддержал бы мое решение. Но я ушел от прямого ответа.

— Не знаю, — сказал я, — но никто меня не заставит сказать, что Алик участвовал в драке с самого начала.

— А мне что делать? — спросил он. — Как мне быть? Я на все пойду, если вы решите. Может, мне откажутся от своих показаний?

— Боюсь, что поздно.

— Что же делать?! — Он в отчаянии с силой стукнул кулаком по своей левой ладони; дежурная вздрогнула от громкого хлопка и подозрительно на нас уставилась. Я не ответил на этот его вопрос, потому что дежурная, подойдя к нам, шепотом попросила разойтись по номерам.

Бутылка шампанского и стаканы все еще стояли на столе, когда я открыл свою дверь.

Шампанское купил Алик, Вадим откупил его и разлил по стаканам.

— Ребята, — сказал он, — все кончилось, но мы не должны расставаться. Слишком

много прожито было вместе, чтобы так вот разойтись каждый своей дорогой. Мы должны дружить до конца нашей жизни. Я пью за это!

Мы подняли стаканы. Раздался громкий стук в дверь и, не дожидаясь приглашения, в комнату влетел администратор сборов.

— Извините за нахальство, но страшно спешу. Вот ваши билеты. Один на сегодня, четыре на завтра, на одиннадцать двадцать утра.

— Как на завтра?!— возмутился я.— Мы же просили на вечер.

— Извините, не получилось, с вас рубль восемьдесят.

Счастливчик дал ему деньги, и администратор исчез так же внезапно, как и появился.

— Ну, что будем делать?— спросил я.

— Кинем жребий,— безапелляционно заявил Вадим.

— Напрасный труд,— возразил Счастливчик,— все равно билет достанется мне.

И действительно, он сразу же вытянул нужную для выигрыша укороченную спичку, зажатую в кулаке Вадима среди пяти других, дающую право улететь в Москву сегодня вечерним рейсом.

Я потушил свет, разделся и лег в кровать. Но заснуть не удалось— пришел Алик.

— Прислали?— спросил я.

— Да нет, я сам,— он улыбнулся.— Спасибо тебе.

— Не говори ерунды.

— Я не к тому,— он мялся, не решаясь сказать что-то, видимо, для него очень важное.— В общем, ты свое доказал, я всегда знал, что ты настоящий мужик, но, понимаешь, если подумать как следует, по-своему Вадим прав...

— Может быть,— сказал я, понимая, что спорить сейчас с Аликом бессмысленно, поскольку он пришел поделиться сокровенными мыслями.

— Ну что хорошего, если на вас тоже санкцию дадут? Потом, знаешь, как трудно ее отменить? Даже если все будет в порядке. Всегда что-нибудь придумают. Придаться проще простого, хотя бы из-за этого шампанского, будь оно неладно. Хоть бы выпили как следует, не обидно было бы; из-за бутылки шампанского— нетрезвые! И ничего ведь не докажешь.— Я терпеливо ждал окончания его тирады. Он, видимо, почувствовал, что многословен.— Ну ладно, теперь уж поздно об этом говорить. Я другое хочу сказать: в общем, я тебя прошу, напиши ты все, как они тебя просят. Ради меня. Чтобы я знал, что хоть раз пользу вам какую-то принес. А то всю жизнь вы мне хорошее делали. Вадим вот даже сейчас с Георгием моим занимается, а

я только драться умел. Все равно они меня не выпустят из своих лап, что бы ты там ни написал. Так что спасибо за поддержку, но, как говорится, пошутили и хватит. Ты меня понял?

Такого поворота событий я никак не ожидал. Я готов был выдержать натиск всего внешнего мира и презирал бы себя, если б поддался ему, но разве мог я предположить, что моя решимость бороться до конца не нужна даже тому, за кого я решил бороться!

— Ты что говоришь, Алик!— я почти взмолился.— Тебя же точно посадят. Понимаешь, в тюрьму посадят, если я напишу то, что ты просишь. Я же последний твой свидетель— пока существуют мои показания, есть какая-то надежда. Не будет их— тебе потом ни один суд помочь не сможет. Неужели ты не понимаешь?

— Да понимаю я все,— сказал он вдруг со странным раздражением.— Я же тебе объяснил: я вам хочу помочь, раз уж так все повернулось. Чтоб хоть знать, что не без пользы сел. Ты меня понял?

— Понял,— сказал я упавшим голосом.

— Сыну так и скажите.

Я понимал, что должен сейчас же, немедленно сказать ему, что, даже понимая его и сочувствуя всему, что им движет, я все равно не должен, не имею права сделать то, на что они меня с легкой руки следователя сообщая толкают. Что соображения коллективных интересов, так удачно совпавшие в нашем случае с оптимальными решениями теории игр, не всегда согласуются с простейшей человеческой потребностью поступать по совести. Но я не сказал этого, даже когда он встал и, поблагодарив меня, направился к двери. Не хватило мужества.

Примерно через полчаса в дверь опять постучали.

— Кто?

— Ты спишь?— услышал я голос Вадима.

— Да.

— Я все же хочу сказать тебе кое-что,— после довольно долгой паузы решительно произнес он, войдя в комнату.— Ну и нервы у тебя,— сказал он, стоя надо мной.— Неужели сможешь заснуть?

— Смогу.

— Да...— с укоризненной многозначительностью произнес он.— Ты можешь думать обо мне все, что хочешь. Это твое право. Но я считаю необходимым добавить к тому, что я уже сказал, еще вот что: напрасно ты думаешь, что лучше всех нас относишься к Алику...

— Я так не думаю.

— ...И ведешь себя так,— продолжал он,— будто только ты человек достойный и мужественный, а мы какие-то предатели, лишённые чувства дружбы. Поверь, если понадобится, я жизнь за каждого из вас

отдам. Но сейчас совсем другая ситуация, с жесткой определенностью: или все, или кто-то один. Случайно или не случайно, самим ходом дела выбор пал на Алика. Каждый из нас мог оказаться в его положении, и каждый повел бы себя так же, как он,—другого и представить не могу!

— А я могу,— сказал я из-под одеяла.

— Ты хочешь сказать, что не сделал бы того же, что и Алик?!

— Я хочу спать, Вадим.

Возникла пауза, в которой хорошо было слышно его дыхание; так тяжело дышат, когда стиснуты зубы.

— Ладно, спи,— обрел он наконец способность говорить,— но только я хочу сказать, что если уж кто-то из нас неминуемо должен пострадать и выбор пал на Алика— это не самый несправедливый выбор.

— А как ты это определил?— не удержался я.

— всю жизнь он был самым драчливым из нас. Ты этого не можешь отрицать. Сколько раз мы его вытаскивали из разных историй.

— Когда это было!

— Давно. Но есть и другое— каждый из нас потеряет больше него, окажись на его месте.

— Что ты имеешь в виду?

— Работу. Сесть за руль после долгого перерыва гораздо проще, чем...

— А лечить людей?

— Что ты имеешь в виду?

— По твоей логике, следующий после Алика— это я?

— Прекрати.

— Это ты прекрати,— закричал я, поражаясь собственной злости,— слушать тебя противно!..

После его ухода я долго лежал с открытыми глазами, пока наконец не забылся в коротком сне, длившемся, как мне показалось, несколько минут...

Когда я проснулся, уже рассвело, в открытое окно доносились разноголосые шумы города, начавшего свою дневную жизнь. На часах было без десяти восемь.

Полежав несколько минут, я заставил себя встать, умыться и подошел к окну. На небольшой площади, по другую сторону которой высилось здание вокзала, в несколько рядов стояли автомашины, между ними прогуливался милиционер. Видимо, вчерашний сержант. В дверь постучали.

— Войдите,— сказал я, оставаясь у окна.

В комнату ввалилось сразу человек двадцать— тренеры, спортсмены, организаторы соревнований. И заговорили разом.

— Все в порядке? Отпустили? А у нас тут переполох: драка, убийство, чепе, черт знает что. Уже в Москву сообщили. Шум страшный. А где ребята?

— У себя, наверное.

— В оргкомитет заходили?— спросил вчерашний администратор.

— Нет.

— Зайдите обязательно. Они как раз с милицией связываются. Завтракать идете?

— Нам в милиции надо быть.

— Обязательно прежде в оргкомитет зайдите.— Комната опустела.

К половине девятого, не заходя ни к кому, я спустился в вестибюль. Все трое уже сидели в креслах. Поздоровавшись кивком, я тоже занял одно из кресел. Мы молчали, дожидаясь, когда за нами придет. Судя по довольно спокойному лицу Вадима, я понял, что Алик сообщил им о результатах последнего разговора со мной.

Вокруг кипела активная гостиничная жизнь: толпилась очередь у окошка администратора; за столами заполнялись людьми карточки; группа туристов, сидя на своих рюкзаках, играла в карты; отвернувшись к стене, кормила грудью ребенка женщина, вокруг которой бегали еще трое детей постарше.

Вадим посмотрел на часы.

— Надо идти,— сказал он,— видимо, никто за нами не придет.

Мы разом встали, вышли на площадь. Милиционер, тоже сержант, но другой, не обратил на нас никакого внимания.

Милиция находилась в двух кварталах ходьбы, и через несколько минут мы были у ее украшенной скромной табличкой двери. Вадим первым потянул ее на себя, преодолевая сопротивление пружины.

Днем коридоры выглядели не столь пугающе мрачными. У кабинета следователя сидели двое парней.

— Вы сюда?— спросил у них Вадим.

— Нет его,— лениво ответил один из парней, стриженный наголо.

Вадим заглянул в две соседние комнаты и вернулся к нам.

— Во сколько у нас самолет?— почему-то шепотом спросил Алик.

— В одиннадцать двадцать.

— Может, рванем в Москву?

— Перехватят,— сказал Марат; он был мрачен и явно не спал всю ночь.

— Паспорта наши у него,— вспомнил Вадим.

Алик вздохнул:

— Хотя с сыном бы попрощался.

— Надо билеты сдать,— сказал Вадим.

— Почему?— возразил Алик.— Вы еще можете успеть.

— Ну что мы сразу улетим?

— А что вам здесь делать?

— Это мы еще посмотрим,— сказал Вадим прежним своим капитанским тоном.— А за тебя мы еще поборемся.

— Ты про Жорку не забывай. Седьмой класс все-таки.

— За это ты не волнуйся.

— Ну чего ты молчишь?— улыбнулся мне Алик.— Все нормально, а как иначе жить? Сволочей мы били, бьем и будем бить.— Он сунул мне в карман какой-то конверт.— Я там написал Натке, как и что. И на будущее. Чтобы знала, как себя вести. Ты передай.

— Ладно...

— Ну и вообще... Присматривай за ними. Ты же чаще бываешь в наших краях.

— За семью будь спокоен,— сказал Вадим.— Мы попали в скверную историю, ребята,— сказал он, обращаясь ко всем,— не знаю, чем все это кончится, но ясно, что если Алик сядет, мы должны будем сделать так, чтобы семья его ни в чем не нуждалась.

— Вот за это спасибо, ребята,— сказал Алик.

— Я не понимаю,— сказал Марат,— что, его так сразу и посадят?

— Сперва подержат в капезе,— объяснил Алик,— пока не закончат дело, а потом отправят до суда в следственную тюрьму. Я сообщу адрес.

— Мы сами все узнаем,— сказал Вадим.

— Натке скажите, чтобы не приезжала сюда. Я ее знаю, начнет ездить с передачами, пороги обивать, унижаться...

— А может, пока ей ничего не говорить?— предложил Марат.

— А какой смысл?— спросил я.— Рано или поздно все равно она узнает...

— Конечно,— согласился со мной Алик,— сказать надо, но предупредить, чтобы не приезжала. Я ей все написал.

— Мы сами будем ездить,— сказал Вадим,— по очереди. И за передачи не беспокойся.

— А я не беспокоюсь,— сказал Алик,— с такими товарищами, как вы, что мне беспокоиться!..

Мы встретились взглядом с Маратом, и оба одновременно отвели глаза.

— Мне кепку надо купить,— продолжал Алик,— и плащ какой-нибудь попроще.

— Купим,— сказал Вадим,— не беспокойся.

— Может, сейчас сходим? Пока его нет. Заодно погуляю напоследок.

— Как бы неприятностей из-за этого не было,— высказал сомнение Вадим.

— Хуже, чем есть, не будет,— улыбнулся Алик.

— Действительно, мы пришли вовремя, а его нет,— сказал Марат,— имеем полное право.

— Пошли,— решительно сказал Вадим.

Мы двинулись за ним по коридору.

— А зачем тебе кепка,— спросил я Алика,— ты же не носил никогда?

— В следственную тюрьму принимают только в полном обмундировании.

Увидев вывеску универмага, мы начали переходить на другую сторону улицы.

— Ты, надеюсь, понял, что другого выхода у нас нет?— сказал Вадим. Ему мало было заставить всех принять общее решение, еще хотелось, чтобы все выразили свое полное единодушие с этим решением.

Выскочившая из-за угла машина разделила нас на две группы: Алик с Вадимом перебежали через проезжую часть, мы с Маратом не успели.

— Неплохо было бы попасть сейчас под машину,— вдруг негромко сказал Марат,— всем вместе. Чтобы разом все кончилось.

Проезжая часть улицы освободилась, Вадим и Алик ждали нас у противоположного тротуара.

— Что вы стоите?— крикнул Вадим.

— Если бы ты знал, как я его ненавижу,— вырвалось у меня.

— Разве дело в нем?— грустно сказал Марат, и мы пошли через улицу.— Нас всех загнали в угол.

В универмаге мы сперва прошли в отдел верхнего платья. Среди нескольких плащей Алик отобрал самый дешевый, темно-зеленого цвета.

— Теперь пойдем за кепкой,— сказал он бодро, словно экипировался для приятной поездки.

— А ближе к зиме телогрейку пришлите и сапоги,— сказал он.— К этому времени адрес будет известен.

Кепку он выбрал коричневую, из синтетической кожи.

Молоденькая продавщица как-то странно на нас всех поглядывала, перешептывалась с темленькой подружкой, которая выглядела постарше.

— Теперь порядок,— Алик удовлетворенно окинул себя взглядом в зеркале,— полная боевая готовность.

Вадим посмотрел на часы.

— Извините, это вас вчера по телевизору показывали?— спросила вторая продавщица, темленькая.— А можно у вас автограф взять?

— А это вы у него спросите,— Алик показал на Вадима,— он у нас капитан.

— В следующий раз, девочки,— сухо сказал Вадим.— Торопимся.

— А ничего,— возразил Алик,— не опоздаем. Только расписываться не на чем, девочки.

— Я сейчас,— сказала та, что помоложе, и, выскочив из-за прилавка, побежала по торговому залу к лестнице.

— Куда это она?— спросил Алик у темленькой.

— За открытками. В другой отдел.

Вадим опять посмотрел на часы.

— Обожаю автографы давать,— улыбнулся нам Алик,— особенно симпатичным девушкам.

Продавщица смущенно прыснула в кулачок.

— Вы с парашютом прыгаете?— спросила она у Вадима.

— Обязательно,— вместо него ответил Алик,— без парашюта разбиться можно.

— А я вас не узнала,— призналась продавщица.— Таня мне говорит— это те, которых вчера показывали. А я смотрю— и не узнаю.

— Постарели,— сказал Алик.

Продавщица опять смущенно хихикнула:

— За один день?

— Меньше,— сказал Алик,— за несколько часов.

Прибежала продавщица с открытками. И мы один за другим поставили на них свои подписи...

В милицию мы возвращались довольно скорым шагом.

— Конечно, мы поступаем не лучшим образом,— чуть сбавил шаг Вадим, чтобы поравняться со мной,— но обстоятельства сильнее нас.

— Отойди от меня,— стиснув зубы, тихо сказал я.

Он как будто ждал от меня этих слов— обе его руки, мгновенно вскинувшись, ухватились за ворот моей рубашки и рванули к себе.

— Я тебе морду сейчас расшибу,— он тоже говорил тихо и тоже сквозь зубы.— Ты по какому праву со мной так говоришь?! Такая же сволочь, как и все! И нечего выпендриваться!

Лицо его с выгаращенными от злости глазами было в нескольких сантиметрах, и лишь огромным усилием воли я удержался от желания нанести ему удар. Что-то похожее, видимо, испытывал и он.

Алик и Марат удалялись от нас, не оборачиваясь.

— Проявил свое нутро, гад,— сказал он, опуская воротник моей рубашки,— насквозь тебя вижу...

— Отойди от меня,— повторил я.

Когда Алик и Марат оглянулись, мы уже догоняли их, сохраняя между собой дистанцию в несколько шагов.

К двери кабинета следователя мы подошли все вместе. Почти одновременно из глубины коридора появился следователь.

— Извините за опоздание,— он тяжело перевел дыхание и вытер пот со лба, прежде чем отпер дверь.— Прошу. Вы подожди-

те,— бросил он ожидавшим его парням и вошел за нами в свой кабинет.

Не приглашая нас сесть, он прошел к столу и вытащил из ящика папку с моими рукописями и какой-то газетный сверток.

— Во сколько у вас самолет?— спросил он у меня.

— В одиннадцать двадцать.

Он посмотрел на часы:

— Вполне успеете. Вот ваша папка и паспорта,— он протянул мне папку с лежащим на ней свертком.— Экспертиза установила, что смерть этого Чаусова наступила от удара тупым металлическим предметом в затылочную часть. Оказывается, они потом, после вас, еще раз между собой подрались. И этот, которого вы защитили, на мальчика похожий, его стукнул трубой.

— И что теперь?— спросил Вадим.

— Извиняться не буду, поскольку драку вы все же устроили,— следователь говорил суховаго-вежливо,— но уголовное дело против вас решено не возбуждать.— Он посмотрел на меня, и легкая, едва заметная усмешка промелькнула на его серьезном лице.— Ну, а вы к какому решению пришли? Все настаиваете на своем?

— Да,— сказал за меня Алик.

— Ну и правильно. А тебе советую в будущем с милицией в конфликты не лезть.

— А вы мне не тыкайте,— сказал Алик,— я с вами на брудершафт, по-моему, не пил. Следователь усмехнулся:

— Быстро ты осмелел.

— А я и не пугался.

— Это правда,— согласился следователь,— вы, парашютисты, народ смелый.

— Извините,— сказал Вадим,— все-таки непонятно, почему вы, не имея данных экспертизы, так на нас надели?

— То есть как надел?— удивился следователь.— Обычное расследование. Вас что, заставляли говорить что-то против вашего желания?

— Нет. Но вы нам подсказывали выход из ситуации, когда кто-то один должен принять удар за всех. Я этого так не оставляю!

— Ваше право. Судмедэксперт пришел на работу к восьми, как и положено, осмотрел труп, дал заключение. Мы их повторно допросили и получили признание. Чем вы недовольны?

— К вам у нас претензий нет,— сказал я.

— Вы подпишите, пожалуйста, протокол,— он опять еле заметно улыбнулся мне,— все написано с ваших слов.

Я просмотрел протокол допроса и подписал.

— И здесь, пожалуйста. Вас всех просили зайти в штаб соревнований. А на суд придете, когда получите повестки.

— Какой еще суд?— спросил Алик.

— В качестве свидетелей. Ну что же,

товарищи, вы свободны. Спешить вам надо,—он опять посмотрел на часы,— времени у вас в обрез.

— До свидания,—сказал Вадим.

— Я провожу вас,—следователь, подойдя к двери, распахнул ее,—прошу... Игровая ситуация была некорректно сформулирована,—сказал он мне, когда мы шли по коридору,—поэтому оптимальное решение оказалось невозможным. Надеюсь, вы не в обиде на меня?—он заглянул мне в глаза.— Что поделаешь, такая работа!

Мы вышли на улицу.

— Работа как работа,—сказал я,—только теория игр вам теперь ни к чему. Пора бы уж забыть.

Он рассмеялся и протянул мне руку.

— Не поминайте лихом. Всякое бывает.— Он повернулся к Алику. Но тот сделал вид, что не видит протянутой ему руки.

— Привет Крокину.

— Передам обязательно,—пожимая руку Вадиму и Марату, следователь почему-то извинился...

Через пятьдесят минут мы вместе с большой группой участников соревнований шли к самолету.

— Недоразумение,—объяснил Вадим председателю оргкомитета, провожающему нас до трапа,—все быстро выяснилось. И встало, как говорится, на свои места.

— Ну, слава богу...

Начались прощальные рукопожатия.

Возглавляемые Вадимом, мы один за другим предъявили билеты стюардессе, поднялись по трапу и вошли в самолет...

Самолет разогнался по дорожке, взлетел и быстро набрал высоту.

Пять точек отделились от него и через несколько секунд свободного падения поровнялись друг с другом, чтобы продолжить свой путь к земле вместе, рядом... Взвываясь за руки и образовав на фоне эмалево-голубого неба фигуру, напоминающую пятиконечную звезду, группа парашютистов неслась меж серебристо-белых облаков вниз, к земле...



ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ЛАСКАРЕВА окончила сценарный факультет ВГИКа в 1979 г. Учебная работа «Эстафета», снятая по ее сценарию, по решению комиссии ЮНЕСКО вошла в десятку лучших студенческих картин мира. Короткометражный фильм «Один на один», созданный также по ее сценарию, был поставлен в объединении «Дебют». Сценарий «Скорый поезд» — дебют Елены Ласкаревой в «большом кино» — получил третью премию на конкурсе молодых кинодраматургов, проведенном Союзом кинематографистов СССР. Сейчас он готовится к постановке на киностудии «Мосфильм», режиссер Борис Яшин.

ЕЛЕНА ЛАСКАРЕВА СКОРЫЙ ПОЕЗД

Скорый поезд с названием южного города на табличках вагонов мчался по необозримым просторам нашей страны. Мелькали за окнами станционные будки, телеграфные столбы, тронутые осенним холодом перелески. Серенькое утро и размеренный стук колес клонили в сон. На верхних плацкартных полках еще досматривали дорожные сны пассажиры, а по узкому проходу ресторанная разнощица уже толкала тяжело груженную тележку.

— Сосиски, булочки, кефир! — хриплым со сна голосом громко возвестила она.

— Куда в такую рань, — недовольно пробурчала полная женщина.

— План, тетенька, — отозвалась Ольга. — Вставайте, граждане, завтрак проспите.

Несколько человек подошли к тележке, и Ольга принялась отпускать товар, приговаривая тоном зазывалы:

— Эй, студент, по глазам вижу, что голодный. Иди, иди, покормлю... Торопитесь, товарищи, сосиски остынут... А чего ж вы плавильный сырок не берете? Да в Париже только их и едят!.. Нет, лягушками не торгую, вот хотите курочку, говорят — один вкус...

Потом она тяжело протиснулась через заваленный вещами тамбур, протянула те-

лежку через узкий подрагивающий переход, выругалась про себя, больно стукнувшись об угол, и опять возвестила в купейном:

— Горячий завтрак! Холодные закуски!

Через раскрытую дверь купе четверо грузин с ленивым любопытством наблюдали за ней. Их внимание привлек отнюдь не кефир, а Ольгина необычная внешность — не то девка, не то парень. Голос низкий, короткая стрижка, бесформенная рабочая куртка. Грузины быстро и горячо заговорили между собой, потом старший жестом оборвал спор и выглянул в коридор.

— Э... простите... как вас зовут? — нейтрально обратился он к Ольге.

Та в ответ хитро улыбнулась:

— Поспорили, что ли?

— Прости, дорогой, — вмешался второй грузин. — Парень ты или нет? Мы тут с другом слегка поспорили... Скажи, а?

Ольга грубовато рассмеялась, довольная произведенным эффектом:

— Возьмешь набор — скажу.

В наборе яблочный сок, рыбные тефтели и большая яркая коробка с витиеватой вязью.

— Сколько?

— Двадцать пять, — весело сжульничала Ольга.

— Э!—обиделся грузин, вертя в руках коробку.— Читать умеешь? Чай грузинский! Восемь сорок. Я нашу продукцию знаю.

— Не хочешь—не надо.— Ольга сдвинула тележку с места.— На сколько спорили?

— На пятьдесят.

— А четвертак жалко?

— А, ладно!—грузин махнул рукой и полез в кошелек.— Давай твой набор.

— Давно бы так.

Ольга живо всучила ему никчемный набор и с нарочитой грубостью объявила:

— Баба я.

Приобретатель набора радостно цокнул и повернулся к приятелю.

— Докажи, так не считается,—заупрямился тот.

Ольга вынула паспорт: «Коренева Ольга Андреевна».

— Читать умеешь, кацо?

Весело засмеялась, сунула деньги в карман куртки и покатила тележку дальше.

Грузин поднял вверх палец и восхищенно покрутил головой.

Восьмилетний Ольгин сын Антоша Корнев, попросту—Корешок, бежал за оставившимся составом.

Ольга свесилась с подножки и втянула сына на высокую ступеньку. Торопливо поцеловала.

— Ты что, один пришел? А бабушка где? В поездке?

— Дома.— Корешок прижался к ней, шмыгнув носом.— Мам, ты скорее, у нас там баба Валя умерла. Ее сегодня хоронили, а сейчас поминки будут. Бабушка пирожки с вареньем пекла.

Ольга обомлела. Спросила тихо, недоверчиво:

— Как умерла? Когда?

Она машинально протянула сыну яблоко. Корешок с хрустом отгрыз кусок.

— Я из школы пришел, а Сидориха там и врачиха. Мне говорят: «Нельзя сюда, иди играй». А потом меня Сидориха к себе ночевать взяла, пока бабушка не приехала.

— Я сейчас... мне еще белье сдавать,—растерянно проговорила Ольга.— Лидка!

— Да слышала я,—выглянула из вагона «заловая» официантка Лидка.— Сдам твое, не бойся.

И пока Ольга торопливо натягивала куртку, она легонько щелкнула Корешка по носу:

— Что, гвардеец? Как же ты теперь без няньки, а?

Корешок обиженно передернул плечами.

В крохотной квартирке бабы Вали с трудом уместились ее бывшие соседи по двору, обитатели нескольких одноэтажных, барач-

ного типа домишек, все удобства которых состояли только из переносных газовых плиток. Ксения, Ольгина мать, высохшая нервная женщина «без возраста», склонившись над тазом, спешно домывала гору тарелок. Дочери она только кивнула, будто вчера виделись. Распорядилась через плечо:

— Блины в комнату отнеси. И собери со стола, что еще грязное.

— На работе натаскалась,—огрызнулась Ольга.— Я тебе не служанка.

— Дура,—спокойно протянула мать, тыльной стороной руки отводя прядь волос.— Хоть к памяти уважение имей. Смотри, сколько людей помянуть пришлось. Так помоги, чтоб все как положено, чтоб гости не обижались.

— Я тоже гость,—запальчиво сказала Ольга и потянула за собой сына.— Идем, Корешок.

— Сейчас,—Корешок на секунду вывернулся из рук.— Ба, дай пирожок.

— На столе,—отмахнулась та.

Вертявая старушка Тамара Ивановна расставила на столе разнокалиберные чашки.

— Успела, Олечка,—заулыбалась она вошедшей Ольге, усадила на свободный стул.— Кутьи вот попробуй, по русскому обычаю, чтоб земля была пухом.

Корешок, не церемонясь, захватил ложкой сладкий рис с леденцами, взял с блюда пирожок.

Ксения внесла с кухни тарелку борща, поставила перед Ольгой. Ольга молча склонилась над тарелкой.

— Ох, Валя, Валечка,—опускаясь на стул, вздохнула Тамара Ивановна и отерла покрасневшие глаза.— Тебе-то, Олечка, всю жизнь ее благодарить. Уж старая, слабая, а за Антошей, как за родным смотрела. Век помнить такую заботу.

— Слабая...—хохотнул здоровенный мальчик Толки с багровою шеей.— Эта слабая мальчика так щелкнет, бывало, что он через все сени летит. Сам видел с неделю назад. Он на кухню в ботинках напиток забегал.

— А что ж тут такого?—вступилась третья соседка.— Она его за тридцатку неделями пестует. И накормит, и спать уложит, как своего. А пальцем не тронь, так, что ли? А как же еще воспитывать? Правильно все, ему ботинки лень снять, а старуха за ним полы мой.

— Я б узнала, кто моих обидел,—глаза бы выцарапала,—заявила беременная Вера.

— Ты, Олечка, зла не держи,—журчала над ухом Тамара Ивановна.— Родная мать так иногда ударит со зла, что не встанешь. Тебя-то Ксения веревкой мокрой лупила, аж рубцы на попке были. А у старухи много ли силы?

— Не нравится—пусть сами смотрят,—заявила третья соседка Татьяна.— А то мать

да бабка по всему Советскому Союзу мотаются, а до пацана им дела нет. На чужих людей бросили, так нечего и требовать.

Она покосилась на Ольгу, но та осталась безучастной. Подперев кулаком щеку, смотрела не мигая на Корешка. Корешок пил компот и болтал ногами, вроде и не о нем речь.

— Чаек там, мамаша, скоро будет?— спросил Толик.— В горле пересохло.

— Да ты уж промочил, поди?— подозрительно прищурилась Тамара Ивановна.

Ксения внесла чайник, стала разливать. Соседи принялись за блины.

— Пустая теперь будет,— окинув комнату оценивающим взглядом, сказала Ксения.

Ольга скривилась, как от зубной боли. глянула зло на мать.

— Не будет, кого-нибудь подселят,— отозвалась Клава.

— Кого еще? А мы что, в хоромах живем? Верка вон третьего родит.

— Так им же дадут.

— Когда еще... Только фундамент заложили,— оживленно принялись за животрепещущую тему соседи.

— Не дадут им ордер, очередники они.

— Зачем ордер? Занять надо, с детьми не выселят.

Проблема остающейся пустовать квартиры начисто выветрила из голов тот факт, что бывшую хозяйку только сегодня под их причитания вынесли отсюда. Впрочем, жизнь продолжалась, мертвым уже ничего не надо, и не было ничего кощунственного в том, что Вера уже хозяйски поглядывала на трещину в потолке— надо бы замазать, а ее муж Семен прикидывал вслух:

— В маленькой детскую сделаем. Сколочу пацанам широкий топчан с бортиком.

Молчаливая сухопарая соседка рылась в комод.

— Ты, Олечка, свое белье отбери, что для Антона давала, а остальное мы с Клавой на всех разделим,— наклонилась к Ольге Тамара Ивановна.

Ольга молча кивнула, и по щекам ее неожиданно скатилось несколько крупных слез. Корешок перестал жевать, удивленно уставился на нее. Чего по чужой бабке плакать? Он-то бабу Валю не любил— терпел. Один праздник— когда мать приедет.

— Я блины увижу— аж трясусь вся,— облизывая масляные пальцы, сказала Вера.— С вареньем особенно.

— На сладкое тянет— значит, девка будет,— улынулась Татьяна.

— Ой...— сильно и глубоко вздохнула Ольга, и глаза ее опять набрякли слезами.

— Ой на, ой на горе,— подхватил глухим басом Толик, решив, что Ольга запекает.— Тай жнецы жнут...

Ольга вдруг резко сжала пальцы в кулак, захватила и скомкала скатерть.

— Мам!— испуганно крикнул Корешок.

Ольга подняла на него глаза и тихонько разжала ладонь.

— Ничего, маленький...

— А по-пид горою яром, долино-ою...— громогласно выводил Толик.

Женщины взяли его под руки, потихоньку, бережно подтолкнули к двери. Если бы Толик вздумал воспротивиться, он одним разворотом плеч раскидал бы облепивших его старух. Но Толик старших уважал и потому послушно продвигался в заданном направлении, всю свою скованную силу вкладывая в голос:

— Козаки йдут!

С утра Ксения прибирала в доме. Две маленькие комнаты разительно отличались друг от друга. В дальней Ксенина кровать, заправленная по старинке— с накидкой на подушке, тумбочка с настольной лампой, массивный шкаф. В проходной по всему полу валялись пластиковые солдатки, жалась друг к другу углом два раскладных диванчика, а в центре мешал проходу обеденный стол, заваленный кроссвордами из газет и журналов, с пепельницей, полной окурков.

Ксения с раздражением сунула в шкаф брошенные на стуле джинсы, подняла с пола один носок, поискала глазами второй.

— Развели бардак, что сынок, что мамаша... Откуда только руки растут!

— Ты выбирай выражения...— отозвалась с кухни Ольга. Она готовила завтрак.

— Шас,— повысила голос Ксения.— Дня в порядке не проживешь. Антон! А ну, убирай свою армию в ящик!— Она ссыпала с совка сор в помойное ведро и, держа носок двумя пальцами, ткнула его Ольге:— Еще раз увижу— туда же полетит. Все, что не на месте, там искать будете.

— Ну чего ты завелась?— повернулась к ней Ольга.— Не с той ноги встала?

— А это что?— заглянула в кастрюлю Ксения.— Почистить лень? Знаешь ведь, что я в мундирах не ем!

— Ты не одна в доме,— буркнула Ольга.— Не хочешь— не ешь.

— Вот!— подхватила Ксения.— Назло делаешь, чтоб мать голодная осталась!

— Ба!— позвал из комнаты Корешок.— Я индейцев убирать не буду. У меня здесь укрепленный форт.

— Не будешь?!— взвилась Ксения и решительным шагом направилась в комнату, впечатывая в пол попадающихся под ноги солдатиков.— Вот так! Вот! Любуйся!

— Мама!— завыл Корешок, выхватывая из-под ног игрушки.— Ма!

Ольга выскочила с кухни.

— Ты что на ребенке зло срываешь? Психичка! Тебя в дурдом сдать надо!

— Во-во, сдай! Ты давно примериваешься, куда бы мать спихнуть. Старая стану — корки не подашь. Голодом заморишь.

— И заморю. Я тебя не обязана кормить.

— Нет, обязана.

— Ты меня тоже обязана была, а много кормила? — Ольга присела перед плачущим Корешком. — Я тебе новых из Москвы привезу, еще лучше.

Корешок, всхлипывая, складывал остатки солдатикув в ящик.

Ксения принялась подметать обломки.

— Видишь, до чего бабку довел, — продолжала она уже с оттенком виноватости в голосе. — Ну, чего уселась? Без тебя уберем. Иди готовь, жрать охота, сил нет. Два часа завтрак стряпает!

Ольга промолчала, ушла на кухню. Прислушивалась оттуда, как Ксения утешает Корешка, воркует неожиданно ласково:

— Не плачь, деточка, я тебе десять таких куплю. Из-за мамы твоей, неряхи чертовой, баба тебя обидела... Мой маленький... Форт? А что это такое? Ну хочешь, я тебе дам коробочку красную, в которой документы лежат? А мы крышку оторвем, и будет тебе форт...

Ольга горько усмехнулась и начала резать хлеб. Ксения встала в дверях с совком в руке.

— Господи, умру, ведь грязью зарастете. До чего квартиру довели! На палас смотреть страшно, стол сигаретой прожгла, дрянь. Девяносто рублей стол, мать тянется из последних сил, а они все гадят да портят... Кто тебя только, дубину такую, вырастил?

— Государство, — огрызнулась Ольга.

— Вот и жила бы в общежитии. Чего к матери приехала нервы мотать?

— Могу уйти, — сумрачно бросила Ольга.

— Давай, хоть сейчас, — Ксения словно ждала повода, чтобы взорваться. — И пацана своего с собой бери. Пусть его тоже государство растит. А на меня не надейся, нет! Мне еще пенсию надо заработать, свою одинокую старость обеспечить.

Ольга крепко сжала в пальцах нож и зажмурилась, как от плещины.

— Никто тебе не нужен, — горько сказала она и как-то обмякла. — Ни дочь, ни внук. Сдохнешь одна, как собака.

Она бросила нож на стол, ушла в комнату, легла ничком на кровать и накрыла голову подушкой. Ксения продолжала что-то говорить, но Ольга крепче прижала подушку к ушам.

За окнами плавилось от зноя лето, а в пустом гулком коридоре детского дома-интерната было прохладно. Десятилетняя

Оля зябко поеживалась. Пожилая полная нянечка шла рядом, говорила на ходу:

— Приедет мамка, обязательно приедет. Что ж делать, детка, раз работа такая. Я тебе в изоляторе пока постелю, спальню-то тяжело мне убирать из-за одной-то.

Под окнами стоял старенький автобус и два десятка детей разных возрастов восторженно гадали рядом.

— Ехала б на дачу, Оля, — отпирая ключом дверь изолятора, продолжала нянька. — Отказные-то вон как рады, и лес там, и речка рядом...

— Я не отказная, — осипшим голосом ответила Оля и упрямо мотнула головой.

— Так-то оно так... — Нянька потопталась, вздохнула: — Ну, как хочешь, обедать на кухню приходи...

Оля тоскливо оглядела крохотную комнату с двумя койками вдоль стен. Села на ближнюю и безразлично уперлась взглядом в пустую стену...

Скорый поезд с названием южного города на табличках вагонов мчался мимо омытых дождем полустанков, украшенных предпраздничными флагами, вдоль опустевших полей с короткой стерней. И, как прежде, толкала Ольга тележку, пробираясь через тесный тамбур, только теперь Корешок заботливо придерживал перед ней дверь. Потряхивал крахмальным мешком с булочками и улыбался, довольный ответственностью момента, — помощник!

Официантка Галина, высокая, статная, усиленно сохраняющая молодость женщина, вышла навстречу из служебного купе и на ходу потрепала Корешка по голове:

— Бунтует бабка? Ну ничего, хоть с матерью немного побудешь. Укатила?

— Чтоб ей! — в сердцах ответила Ольга. — Да еще плацкартный взяла, без напарницы. Совсем с колес слететь хочет, все лишь бы денег побольше. Я, что ли, мало приношу? Сидела бы с внуком.

— Ничего, Антоше гостинец купит.

— Она купит! Даст двадцать копеек на кино, а я приеду — ей возвращаю. Да ладно, обойдемся. — Ольга подмигнула сыну.

— Я после каникул в интернат поеду, — похвастался Корешок.

— В Тишинку? — спросила Галина. — В детдом, что ли?

— Не детдом, а интернат, — запальчиво ответила Ольга. — На севере вон и у чабанов все дети в таких интернатах. И ничего — растут.

— Растут... — протянула Галина. — Резерв для колонии...

— Я же выросла, — отрезала Ольга. — И он не облезет. Была бы бабка как бабка... — Она горько махнула рукой. — На каникулы и то не осталась. А! Идем работать, Кореш!

— Мы теперь сами с усами!— заявил Корешок, шмыгнув в вагон и громко, с удовольствием крикнул:— Свежие булочки! Свежие булочки! Кефир!

...В плацкартном двое мальшей бегали по проходу, прятались друг от друга за перегородками.

— Павлик! Петя!— крикнула молодая женщина, заметив тележку.— Идите сюда, не мешайте тете. Будете булочки?

— Не хочу! И я не хочу! Я не буду! Это я не буду!— загалдели мальчишки, подбегая к тележке.— Тетя, а на ней можно покататься?

— Не трогай, ломаешь,— строго сказал Корешок.— Видишь, работаем.

Ольга дала малышу булку.

— Если всю съешь— станешь самым сильным, сильнее всех.

— Мне тоже дай,— тут же сказал брат...

...Корешок шел впереди Ольги по проходу.

— Кефир, сосиски?— спросил он у сидящей на боковой полке бабушки.

— Иди сюда, детка,— закивала та, откинула с плетеной кошелки тряпицу и достала пышную ватрушку.— Моих вот попробуй. Вечером пекла. Внуку везу, в армии служит,— с гордостью сказала она подошедшей Ольге.— Девятнадцать лет ему завтра. Такой внук у меня— золото. Придет, воды мне наносит, дров наколет. Картошку прошлой осенью всю сам выкопал, перебрал...

...Работа кипела на славу. Ольга накладывала сосиски на бумажные салфеточки, добавляла ложкой блямбочку горчицы— сплошной сервис. Корешок, шевеля губами, рассчитывался с пассажирами.

— Девяносто семь и четыре— сто один. От двадцати отнять один— девятнадцать. Десять, пять и две двушки... Правильно?

— Правильно,— умилилась полная женщина.— Как хорошо считаешь, быстро. Оставь себе на мороженое, маленький.

— Нет, что вы!— недоуменно отшатнулся Корешок.— Так нельзя.

Ольга молчала, любовно поглядывая на сына.

— Кому еще покушать?— подражая матери, весело объявил Корешок.

Он заглянул в соседнее купе и вернулся с деньгами.

— Сосиски— девяносто семь, хлеб— четыре, кефир— тридцать пять. Рубль тридцать шесть... Мам, дай еще мелочи.

Зажав в кулачке сдачу, исчез, а из купе вернулся растерянный.

— Мам, там тебя спрашивают... Я все правильно отдал...

— Побудь здесь,— быстро сказала Ольга.

Двое в купе предъявили удостоверения. Но Ольга с первого взгляда и так поняла— нарвалась. Один из контролеров раскрыл справочник.

— Посчитаем, товарищ официант?

— Считайте,— храбро сказала Ольга. Она поплотней задвинула дверь купе, но ведь в вагонах перегородки тонкие, и Корешок в коридоре настойчиво навострил уши.

— Порция сосисок по номенклатуре— восемьдесят семь копеек, кефир...

— Он буфетный, с наценкой,— перебила Ольга.— Сосиски нестандартные— больше нормы, не пополам же резать. Сами резаную есть не станете.

— Пойдемте взвесим?

— Пойдем!— храбрилась Ольга.

— Сколько успели продать?— спросил второй.

— Пятнадцать порций и двадцать одну кефира. С вашей.

— Проверим вырубку.

Ольга выгребла из кармана мелочь и рубли. Контролеры занялись подсчетом.

— Здесь на две копейки больше.

— Это мои,— слегка заискивающе улыбнулась Ольга.— Сына за газетами посылала. Сдачу принес, а я по рассеянности сунула.

— Ваши деньги при вас?

— Да,— Ольга вынула портмоне.

— А вы знаете, что по инструкции не положено?

Ольга знала инструкцию, но с видом крайнего удивления замотала головой.

— На первый раз предупреждаем. Фамилия?

Ольга облегченно вздохнула— пронесло...

...В тамбуре она сунула злополучную двушку к себе в кошелек.

— Вот блин, обсчиталась!

— Мам, какую сдачу я тебе принес?

— Молчи, Корешок, выкрутились.

Корешок серьезно смотрел на нее. Потом повернулся и зашагал обратно.

Задыхаясь, толкая перед собой тележку, Ольга влетела в ресторан. Облегченно вздохнула— Корешок сидел в углу за столиком, обедал. Заловая официантка Галина, улыбаясь, обслуживала «клиента». Откупила лимонад, налила в фужер. Кивнула Ольге: «не волнуйся, присмотрю». Ольга повернулась и покатила тележку обратно...

— В чем эти дядьки были?— подседа к Корешку Галина.

— Один в пиджаке коричневом, кожаном...— наморщил лоб Корешок.— А у второго свитер такой...

— Какого цвета?— быстро спросила Галина и повернулась к второй официантке:— Лидка! Иди послушай!

— Ну, не красный и не коричневый...— подбирал определение цвета Корешок.

— Бордо?—спросила Лидка.—Да что ты мучаешься, Галина? Они и переодеться могут, раз плюнуть.

— Один лысый!—вспомнил Корешок.

— Так что мне всех лысых правильно рассчитывать?—хототнула Лидка.—Я так в трубу вылечу!

— Товарищ официант!—позвали от крайнего столика.

Галина раскрыла блокнот и подошла к юной парочке, уверенно перечисляя:

— Шашлык по-карски, цыплята-табака, шоколад...

— Нам чай и два пирожных, пожалуйста,—смущаясь, заказал парен:

— Чай и в купе попить можно,—буркнула Галина и неторопливо направилась на кухню.

Поздно вечером Корешок лежал рядом с Ольгой на полке, заботливо придвинутый к стене, и, подрагивая ресницами, старательно дышал медленно и глубоко, совсем как спящий, очень похоже.

Лидка стелила постель и, давась от смеха, рассказывала:

— Он в Батайске сел и сразу в ресторан. Прямо с портфелем. Вошел, вроде ничего, а потом, видно, от качки развезло. Думаю: заснет еще. Рассчитала по-быстрому. Говорю: отдыхать идите. Пока других обслужила, глянула: сидит. Ну, е-мое, хотела уже Пашу звать. Идите, говорю, по-хорошему. А он кивает: «Ага, посчитай мне, и пойду».—Лидка хихикнула.—Ну я ему все опять сначала насчитала. Заплатил, к двери пошел. Я разнос с кухни несу—мама родная: идет навстречу, в карманах роется. Ну, думаю, вспомнил! А пусть докажет! А он мне: «Девушка, получи, сколько с меня?»...—Лидка захохотала в голос.

— Тише, разбудишь,—досадливо сказала Ольга.

— Вот она, выпивка, до чего доводит,—подвела резюме разносчица Вера Васильевна, старая, грузная, последний год до пенсии.—Убрали у нас эту заразу, хорошо-то как стало. Клиент порядочный, работать приятно...

— Тебе, бабуль, спинку потерять?—предложила Лидка.

— Ой, потри, умница,—обрадовалась Вера Васильевна и тяжело перевернулась на живот.—Вот ты хоть и болтушка, хихикало, а добрая девка.

— Ее Игорек за доброту и полюбил,—подначила Ольга.

— Свадьба-то когда?—поинтересовалась Вера Васильевна.

— Позову, не зажило!—хототнула Лидка.—Чего морщишься? Больно, что ли?

— Еще бы. Паша тележку как нагрузит, так и корячишься, а не молоденькая. Пока в

один конец пройду—Ольга туда-сюда три раза сбегает.

— Вот он тебе и грузит за раз—на три,—усмехнулась Ольга.

— Чего над старухой смеешься?—обиделась Вера Васильевна.—Ты молодая, бойкая, Я в твои годы тоже шустрая была, никого не боялась, а сейчас... Пашке пятак с порции, да себе койкеку накину, и то дрожу, как волчий хвост.

— Хе, мы с Галиной по пятнадцать сдаем, и то ничего, не обижаемся,—весело сказала Лидка и приналегла посильнее, крепко проминая пальцами поясницу.—Сейчас тебя до-массирую, завтра быстрее Ольги бегать будешь.

Корешок не выдержал, открыл глаза и приподнялся на локте.

— Бабушка Вера, я с вами завтра пойду, хотите? Мама, можно?

— Ты почему не спишь?—грозно спросила Ольга.

— А что, Оль, отпусти его,—вдохновилась Вера Васильевна.—Он мне где подтолкнет, где дверь придержит. Считает хорошо, я слышала.

— Ой, не могу! Старый да мальчик! Картина Репина «Приплыли!»—развеселилась Лидка.

— Гаси свет, Галину ждать не будем,—сказала Ольга.—Не видите—пацану спать пора.

Вера Васильевна тяжело несла две упаковки с обеденными судками. Корешок тащил рядом ложки и хлеб. Беседовали на ходу.

— Бабушка Вера, а зачем тебе деньги?—спросил Корешок.

— Как это—зачем? Старик мой на пенсии, и то подрабатывает. Младшенькая еще учится—посылать надо. Сараюшку еще хотели ставить—кроликов разводить.

— А моя бабушка говорит: «Это я на похороны откладываю...» Ой!—прикусил язычок Корешок.

— И на похороны надо,—спокойно согласилась Вера Васильевна.—Мы люди пожилые, мало ли... Чтоб родным не накладно было.

Корешок секунду соображал, потом спросил:

— А почему наши обеды?

— Рупь двенадцать Паша велел, да нам накинь до три копейки.

— Знаешь... Ты вот что, бабушка,—заговорщически зашептал вдруг Корешок, настороженно оглядываясь по сторонам.—Ты только подавай, ладно? А я рассчитывать буду, я маленький, мне поверят. Мы с мамой вчера по рублю сорок носили, а я скажу, что сорок девять, так считать удобнее. Мы тебе быстро заработаем на все.

В одном из купе ехала семья—отец с матерью и девочка, Корешку ровесница. Она выглянула в коридор и заканючила:

— Мама, там мальчик обеды носит.

— Но у нас же есть еда.

— А я супу хочу,—капризно сказала девочка.—Ребенку нужно горячее.

— Нам один, пожалуйста,—подозвал Корешка отец.

— Маме помогаешь?—отсчитывая деньги, поинтересовалась женщина.—Смотри, Катя, такой маленький, а работает. Ты в каком классе?

— Во втором,—отозвался Корешок, исподлобья поглядывая на Катю.

— А мы на каникулы в Ленинград едем,—с чувством превосходства заявила она.— Это что, котлета? Терпеть не могу.

— Подумаешь, я там пять раз уже был,—сворал Корешок.—Возьмите копеечку, нам чужого не надо.

— И в Москве был?—спросила девчонка.

— Ага. Мы летом с мамой туда каждую неделю ездили, и в Мурманск ездили, и в эту... в Тюмень.

— Хорошо тебе,—позавидовала девчонка и с интересом посмотрела на Корешка.—Каждую неделю! В Москву! Сел с мамой и катайся!

— Посуду у двери поставите,—деловито сказал Корешок.—Нам дальше носить надо.

— А ты еще придёшь?—спросила девчонка.—А то скучно!

— Ужинать принесем,—важно ответил Корешок.

На большой станции Ольга подошла по перрону к вагону, в котором торговал Корешок. Громко окликнула:

— Корешок! Идем прощвырнемся!

— Я сейчас!—обрадовался Корешок, догнал в тамбуре Веру Васильевну и быстро зашептал ей, выгребая из карманов деньги:—Бабушка, здесь все, как надо. А здесь вам...—И он сунул часть денег ей в другой карман.

Вера Васильевна растроганно погладила Корешка по стриженной макушке:

— Вот радость матери, помощник-то какой растет. Умница!

Она достала несколько бумажек и вложила мальчику в ладошку.

— Вот возьми, на газировку...

— Не...—слабо застеснялся Корешок, заведя кулачки за спину.

Но Вера Васильевна все же втолкнула рублишки в его кулак, повернула и подтолкнула к выходу:

— Беги, беги. Мать ждет.

Соскочив на платформу, Корешок бодро потащил Ольгу к ближайшему лотку с мороженым. Ольга смеялась, послушно предоставив сыну рукав своей куртки.

— Тебе «лакомку»?—

— А тебе?—галантно спросил Корешок.

— Два пломбира.—Ольга полезла в кошелек.

— Два пломбира, «лакомку» и шоколадку,—как взрослый, заказал Корешок, и не успела Ольга оглянуться, как он уже выложил перед лоточницей три мятых рубля и распорядился щедро, явно копируя Ольгу:

— Сдачи не надо.

— Откуда у тебя деньги?—изумилась Ольга.

— Заработал!—гордо ответил сын.

— Ах ты, комбинатор чертов! Торгаш мокровостый!

Закрыв дверь тесного служебного купе, Ольга нещадно лупцевала сына, в сердцах шлепала ладонью куда попало—чаще бесполезно, по куртке, но иногда и больно, по щеке или затылку. Корешок вьюном вился вокруг неё, прикрываясь локтем и обиженно скулил:

— За что?! Ма!!!

— Ты же октябренок! Как тебе не стыдно!—беспомощно пыталась внушить Ольга.

— Я помогал...—отчаянно ревел Корешок.

— Тебя в школе учили, что воровать нельзя? Учили?

— А разве это воровство?—выдавил сквозь слезы Корешок и сверкнул изумленно глазницами.

— А ты не смей!—закричала на него Ольга, поняв его немой вопрос.—И чтоб я больше никогда!.. Никогда!

Она резко выпрямилась, забывшись, и тут же стукнулась головой о верхнюю полку, и словно что-то надломилось в ней—опустилась на краешек скамьи и заплакала растерянно, по-детски. От бессилия и неумения растолковать, объяснить, от своей беспомощности, невнятной жизни, от жалости к приткнувшемуся рядом, всхлипывающему, ничего не понимающему сынишке. Она высвободила руку—Корешок испуганно шаркнулся—и притянула сына к себе. Сидели и ревели рядышком—каждый о своем.

А за мутным вагонным стеклом опять убежали назад, чтобы больше никогда не встретиться на пути, женщины с коровами на некошеных чахлых лужайках, старики у переездов, равнодушно дымящие папиросами, мальчишки с велосипедами, провожающие жадными глазами все поезда подряд.

В сквере шурашали под ногами опавшие листья. Солнце щедро, по-летнему, освещало узкую аллею, пугалось в густой еще листве. Корешок шурился и пинал носком ботинка консервную банку. Ольга прискакивала рядом и тоже норовила ударить по

жестянке. Со стороны казалось, что двое мальчишек затеяли импровизированный футбол. Наконец банка, глухо блякнув, зарылась в кучу пожухлых листьев. Ольга вынула руки из карманов, пригладила Корешку чуб и искательно заглянула в лицо.

— Может, еще в киношку сходим? Там про ралли, гонки такие, а?

Корешок мотнул головой:

— Не, я больше не хочу.

— Тогда что еще?—суетливо спросила Ольга.—Что ты хочешь? Давай в кафе зайдем?

Корешок скривился.

— Завтра в школу, а сумки у меня нет. В Ленинграде обещала, обещала—так и не купила. Помнишь, ту, с ремешком.

— Голова!—Ольга хлопнула себя по лбу и просияла.—Я же Люську просила оставить. Самая фирма!

И довольная, что может выполнить желанье сына, потащила его в «Спорттовары».

Корешок повесил на плечо роскошную сумку, всю в замочках и иностранных надписях, и поднял на Ольгу счастливые глаза. Продащица Люська, с улыбкой поглядывая на Корешка, оторвала от сумки бирочку.

— Не говори, что здесь купили, понял? Ну, носи на здоровье. Любит тебя мамка. Я побегу, у меня там уже очередь.

Вслед за ней вышли из подсобки и Ольга с Корешком.

— В школу, наверное, с такой не пойдут...—вздыхнул Корешок, поглаживая сумку.

— Пусть попробуют!—угрожающе сказала Ольга.—Носи, никого не слушай.

За веревочным ограждением в углу магазина сияли новенькие «Скифы». У Корешка дыхание перехватило. Ольга проследила за его взглядом, огорченно хлопнула по карманам.

— Всё, Кореш, у меня ветер. Знаешь что,—она прикинула,—пару ездов сделаю—куплю тебе этот велик.

— А ты когда едешь?—погрустнел Корешок.

— Завтра. Тебя в интернат отвезу, и...

Взгляд у Корешка стал тоскливым.

— Приезжай поскорее,—попросил он, прижимая к себе покупки.

Ольга вместе с сыном стояла в кабинете заведующей. Ждала, пока та посмотрит привезённые бумаги. Заметила, как недовольно нахмурились брови при чтении табеля—наверное, дошла до русского...

— Анна... Викторова?...—вдруг напряженно и робко спросила Ольга.

— Игоревна,—подняла глаза заведующая.

— Ну да,—смущенно поправилась Ольга.—Вы меня не узнаете? Я Оля Коренева, помните? Вы в нашей группе воспитательницей были. В старом еще корпусе...

Заведующая всмотрелась, улыбнулась радостно и печально одновременно.

— Здравствуй, детка. Без кос... и не узнала бы... Зачем же остригла? Такие косы были, по полчаса расчесывали, помнишь?

— А! Времени нет чесать,—мотнула головой Ольга.

— Ну, как ты, расскажи. Живешь как, работаешь?

— Нормально,—Ольга сглотнула.—Кручусь-верчусь...—И добавила вдруг ошипшим голосом:—Вот видите, пришлось...—она положила руки на плечи Корешку,—сына...

Заведующая вздохнула, глянула сочувственно:

— Ну что ж. Да не волнуйся ты! В их классе воспитательница хорошая, опытная. Все в порядке будет. У нас теперь получше, просторнее... Видела, два новых корпуса построили? Спальни на четверых. Кабинеты оборудованы. Обновляемся, расширяемся... Справку из бухгалтерии привезла для оплаты?

Ольга суетливо полезла в портмоне за справкой.

Корешок тихонько сидел на стуле, глазел по сторонам—на стене висел стенд с фотографиями: аккуратные спальни, повар на кухне в белом колпаке, накрахмаленном специально для съемки, школьники, вскапывающие сад на суботнике... Он неслышно вздохнул.

Заведующая закрыла папку с документами, поднялась из-за стола.

— Ну, Антон, идем, я тебя с ребятами познакомлю.

— Уже?—почему-то испугалась Ольга. И затараторила, объясняя сбивчиво и волнуясь:—А можно, он будет к поезду выходить? Анна Игоревна, родненькая! Мы пять минут стоим. Я буду телеграммой предупредить. Если одному нельзя—пусть с вами, а? Пожалуйста.

— В пределах поселка можно. Только говори, куда идешь, Антон, хорошо?

Ольга обняла сына.

— Не случай, Корешок, будь умницей. На каникулы куплю велик. В лепешку расшибусь, а куплю. Ладно?

Привольно взбегали на взгорки улочки Мурманска. И резко обрывались возле самой бухты. Воздух здесь пропитан запахом рыбы, соли, йода.

Ольга тащила две увесистые сетки, набитые коробками с копченым палтусом. Тяжело тащила, напрягаясь,—на всю бригаду

отоварилась. Остановилась на углу перевести дух, и тут...

— Молодой человек, извините. Вы не продадите коробочку?

Ольга глянула исподлобья на невзрачного мужчину. Отрезала:

— Пошел ты... Какой умный нашелся!

— Извините...

Мужчина шагнул в сторону и неловко улыбнулся стоявшей на автобусной остановке женщине. Ольга метнула на нее неодобрительный взгляд и смутилась — женщина была беременна.

— Эй, друг! — хрипло окликнула она мужчину. — Иди сюда. Тебе сколько?

— Одну. Спасибо. Сколько с меня? — засуетился мужчина.

— Бери, бери, чего там, — сглаживая неловкость грубоватой щедростью, Ольга сунула ему коробку. — Спрячь деньги, а то вообще не дам.

И подхватила, потащила дальше свою ношу.

— Неудобно как получилось, — засовывая коробку в сумочку, сказала женщина. — Бывает, знаете, как захочется чего-нибудь, так хоть умри, особенно соленого. Девушка вот понимает.

— Девушка? — недоуменно переспросил мужчина.

— Ну да, — удивилась женщина. — И как она, бедная, такие тяжести таскает. Вредно ведь...

— Осел! — беззвучно ругнулся мужчина и вдруг крикнул вслед Ольге мощным, хорошо поставленным голосом, который никак не вязался с его тщедушной фигурой: — Девушка!..

...Они шли по улице. Мужчина нес сетки. Ольга сунула руки в карманы, озорно косилась на него глазом.

— А жену чего ж одну оставил?

— Какую жену? А... Да это совсем незнакомая женщина, помочь попросила...

— Так целыми днями всем и помогаешь? — усмехнулась Ольга.

Мужчина неловко пожал плечами:

— Не всем, по выбору.

— И чего ж ты меня выбрал? — прищурилась Ольга.

— Палтус решил отработать, — пошутил он. — Вам куда?

— На вокзал, но сначала столовку какую-нибудь надо найти. Где тут у вас?

— Уезжаете?

— Не, работа... В вагоне-ресторане работаю, — пояснила Ольга.

Мужчина глянул на нее с любопытством.

— Если в ресторане — зачем столовая?

— С утра есть хочу, — сказала Ольга. — Отцепленные стоим, продукты не загрузили.

Мужчина остановился, сказал:

— Послушайте, не поймите превратно...

Я здесь недалеко живу. Как раз домой иду обедать. Вы меня сегодня угостили...

— Не вас же, — ответила Ольга.

— Неважно. Вы угостили, теперь, позвольте, я вас угощу. Очень прошу, зайдём ко мне.

— Не, — нерешительно отказалась Ольга.

— Если откажетесь, я знаю что сделаю?

— Что? — понизив голос, подыграла Ольга.

— Убегу с вашими сетками! Вот!

Ольга окинула его взглядом и усмехнулась:

— Флибустьер!

— Рыбаков Виталий Николаевич, — картинно представился он.

— А меня Ольгой зовут...

Ключ почему-то не поворачивался в замке, и Рыбаков неловко прижимал дверь коленом, сумки мешали. Ольга потянула их из его рук. Но тут дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появилась полная энергичная женщина.

— Ой, Виталий Николаевич! — громко сказала она. — Мы раньше времени...

— Алла, — Рыбаков, казалось, не удивился, — я вас вечером ждал.

— А мы созвонились, оказалось, все могут, — говорила Алла, направляясь в комнату. — Мы вас ждали, ждали, решили начать.

— Хорошо, молодцы... — Рыбаков виновато улыбнулся Ольге, жестом позвал за собой.

В однокомнатной квартирке было тесно и шумно. Вокруг журнального столика примостились на стульях три девушки и парень. На диванчике еще две женщины и мужчина постарше. Алла подседа к ним. Ольга поискала глазами свободное место, тихонько опустила на стул в углу. Удивленно посмотрела на сидящих.

— Такое дело без бутылки не решишь, — заговорил вдруг сидящий за столиком парень. — Девочки, сбрасываемся! По рупчику! А то палатка закроеется! Мы с Татьяной уже внесли четыре.

Ольга полезла за кошельком, достала пятерку, но никто из присутствующих даже не шелохнулся.

— У меня нету, — сказала девушка. — Вы меня в свой туалет не пускаете.

— Ира! Ты гордая! Пойми об этом! — сказал парень.

Рыбаков тихонько подошел к Ольге, сел рядом и потянул за руку:

— Спрячь, спрячь... — А сам внимательно уставился на группку за столом.

— Этот туалет Валера своими руками сбил восемь лет назад, — склочным голосом сказала вторая девушка. — Ты ведь у хозяйки? Она обязана дать, куда ходить.

— Девочки, разговор задерживаете! Палатка закрывается!— снова сказал парень.

Ольга недоуменно вертела в руках кошелек, не зная, как реагировать на его призыв.

— Сначала ваши мальчики избивают моего Павлика, да?— Первая девушка загнула палец на руке.— Это они держали его в воде, снимали с него трусы. Он после этого и заболел.

— Стоп, стоп!— сказал Рыбаков.— А где петух? Четыре реплики пропустили. Когда наконец все будут знать текст? Через две недели премьера!

— Он вчера хоккей смотрел по телевизору,— сказала Алла.

— Я имею право после работы отдохнуть,— обиделся парень.— Между прочим, вкальваю— с ног валюсь.

— А нам, наверное, даром деньги платят? Однако все почему-то выучили.

— Ладно, до тебя дойдем— посмотрим...— протянул парень.

В прихожей раздался звонок. Рыбаков пошел открывать. Высокий парень с добродушным лицом заглянул в комнату, вскинул брови:

— О! У нас пополнение!— И сунул Ольге руку.— Николай.

— Оля.

— Тезки, значит,— обрадовался парень.— Тогда будешь Коля-второй, чтоб не путали.

— Уши чаще мой,— одернула его Алла.— Вы, Оленька, придвигайтесь поближе, не стесняйтесь.

Коля-Николай сел рядом с Ольгой, перегнулся к Рыбакову:

— «Три девушки в голубом»?

— Да,— отозвался Рыбаков.— Сейчас все силы на премьеру.

— Ну вот... А я на час раньше отпросился...

— Ничего, посмотри, тоже полезно.

Алла взяла телефон, прислонилась к косяку.

— Лучше облокотись о стол,— посоветовал Рыбаков.— Тебе тяжело стоять. Игорек не болеет?

Сидящие за столом сдвинулись в угол. Первая девушка вышла на кухню.

— Да нет, тьфу-тьфу,— Алла поставила телефон на стол.— Я на всякий случай с племянником договорилась. Ему семь лет, но он маленький...

— Наташину Аньку можно под мальчика одеть, если что,— сказала вторая девушка.

— Конечно,— выглянула из кухни Наташа.— Косичек под косыночкой не видно... Я ее так и так с собой возьму.

— Девочки, это потом обсудим. Давайте работать,— попросил Рыбаков.— Алла, ты готова?

— Я действительно собралась уходить в больницу,— сказала в телефон Алла.— Ты в курсе, моих никого нет. Ирочка сняла дачу

за двести сорок рублей. Сто взяла у меня, первый взнос. Теперь отдать ей будет некому. Ей даже выгодно, ей останется двухкомнатная квартира, она водить сюда будет...

Наташа прошла за ее спиной к дивану. Алла покосилась на нее и продолжила:

— В общем, приглашаю тебя на похороны. Может, ты одна будешь идти за гробом. Меня похоронишь в темном английском костюме, висит в шкафу, под марлечкой... Нет, Ирочка ничего этого не знает и слушать не хочет. Ну, я еще перед смертью позвоню. Деньги у меня отложены на похороны и поминки на сберкнижке, я завещание заверю в больнице перед операцией. На твое имя! Имей в виду.

— Мама!— позвала Наташа.

— Ну, расскажи о себе,— демонстративно продолжала в трубку Алла.— Ты-то как?

— Мама!

— Не кричи, я не глухая. Это Ира внезапно приехала... Да что ты, она же сейчас убежит, как всегда!

— Мама, я Павлика больного привезла. Побудь с ним, я схожу в аптеку, в булочную.

— Я уйду в больницу,— отрезала Алла.

Ольга сцепила ладони, подалась вперед, наблюдая за ними. Рыбаков покосился на нее— Ольга ловила каждое слово, сказанное Аллой, будто ей адресованное.

— Тревога отменяется,— опять говорила в телефон Алла.— Я прямо смеюсь от счастья. Ну, будьте здоровы и благополучны... Бегу в аптеку для них, малыш прихворнул. Они, оказывается, болели и не подавали весточек! Они—это единственное, что у меня в жизни есть... Вы добрый человек... Я бы вас познакомила с моей дочерью, она без пяти минут кандидат наук...

— Мама!— опять сказала Наташа.

— Она меня зовет. Иду, иду!— Алла положила трубку.— Что ты орешь? Пожалуй-ста, иди, разгуляйся. Иди в свою... аптечку!

Ольга усмехнулась углами губ.

— Я привезла сосисок, положила в холодильник. В пакете гречневая каша.

— А ты почему не поешь с нами? Поешь, ты бледная! Меня взяла бы с собой на дачу...

— Да, чтобы мы и летом слушали твои речи.

— А ты сама не кричи, псих!

— Что такое псих, бабушка?— подала с дивана реплика девушка.

— Псих—и все. Она псих!— закричала Алла.

— Ладно, мы не будем обедать. Мы уезжаем, все.

Ольга встала, тихонько прошла на кухню, достала сигарету.

У раскрытого окна курил сумрачный парень. Он повернулся к Ольге и неожиданно

улыбнулся ей. Ольга подошла к окну, зябко поежилась, глянула вниз. С высоты едва виднелись вдали краны у портовых причалов да узкая полоска бухты.

— Девушка, встаньте, грязный пол! — истерично доносилось из комнаты. — Встаньте тут, девушка!

— Он там один! Он без хлеба! — плакала Наташа.

— Освободите кабинет! — кричал мужчина. — Заходить по одному. Девушка, не ползайте за мной на коленях! Вам сказано! При чем здесь фотография... Не знаю я никаких фотографий. У меня у самого есть сына фотокарточка, что же, предъявлять? Ну? Москва-то все равно не принимает.

Ольга быстро отвернулась от парня, чтобы не видел ее лица, и нервно выщелкнула окурок за окно.

За окном сгустились сумерки, в кухне зажгли свет. В квартире было тихо — все разошлись. Ольга прикрыла окно и повернулась к сидящему на табурете Рыбакову.

— А я думала, день рождения у тебя... Пока врубилась!

Засмеялась, подвязала кухонное полотенце вместо фартука и начала строгать большую луковицу.

— Давайте я, — приподнялся Рыбаков.

— Сиди и жди. Я, может, из чужих рук брезгу, — отрезала Ольга и вытерла рукавом слезы.

— Ну, как хотите... — смутился Рыбаков.

— И не «выкай». Терпеть не могу. Умора, в гости позвал, а накормить нечем...

— Колбаса была, — оправдываясь, сказал Рыбаков. — Ребята съели.

Ольга ссыпала лук на сковороду, прикрыла крышкой и села напротив.

— А знаешь, — она вдруг улыбнулась неловко, — я ведь первый раз театр повидала. Вернее, второй. Первый раз маленькой сказку какую-то смотрела, не помню уже.

— Ну что вы, нам до театра еще расти надо... Мы пока студия, возможности у нас скромные...

— Театр, — убежденно сказала Ольга. — А вот по телеку я сколько смотрела — не цепляет.

Она ойкнула, быстро вскочила с табуретки и выключила газ. Нашла в ящичке вилки, принялась зачем-то перегибать, тщателью, каждый зубчик. Выдавила неловко:

— Эта твоя, здоровая... ну точно моя матуха. Не в смысле толстая, а вот манерой... Манера такая же... Все мимо уха — и свое несет... Прям рот бы подушкой заткнула! А!

Она разложила по тарелкам картошку, окинула взглядом скудный стол, метнулась в прихожую и принесла коробку палтуса.

— Зачем вы, Оля? — запротестовал Рыбаков. — Такую очередь отстояли.

— Ешь, я вижу, ты не шибко по магазинам бегаешь. У моря рыбы не увидишь, — грубовато сказала Ольга, щедро оделяя Рыбакова палтусом. — Эх, такая закуска. Жаль, твои-то так и не сбросились! — И засмеялась.

Рыбаков с грустным недоумением поднял на нее глаза.

— Да не, я так... пошутила.

Ольга неловко подцепила вилкой рыбу, глянула на Рыбакова. Он ел быстро, с ощутимым голодом, так, что стало ясно — порции на его тарелке явно недостаточно. Ольга подождала, пока он доест картошку, и подвинула свою тарелку.

— Не брезгуете? Я еще не брала...

От мгновенной неловкости она вдруг перешла на «вы», словно ощутила дистанцию. Рыбаков активно заотказывался.

— Да я когда готовлю — нанохаюсь, потом есть не могу. Честно, — стеснительно улыбнулась Ольга. — Ну ешьте, а то выброшу! — Она облокотилась о стол, заглянула в лицо: — Вы вот скажите лучше... не обиделись? Я в этом вашем искусстве не волоку ни фи́га. Но вот как народ... искусство для народа, так?

— Ну так, — озадаченно сказал Рыбаков.

— Я знаю, все это правда. Я, правда, знаю, что правда... У самой так же почти... Зачем?

— Что — зачем? — не понял Рыбаков.

— Зачем это показывать? В жизни, что ли, мало? Лучше бы комедию какую-нибудь, чтоб посмеяться. Или музыку, песни Пугачевой попели бы... Отключиться надо — отдох же.

Рыбаков отложил вилку.

— Если хоть один посмотрит мой спектакль и задумается — я буду счастлив. Искусство должно будить мысль, душу, а не развлекать. Жаль, что вы не понимаете. Моя работа для меня — все в жизни. Видите, у меня ничего нет, — он развел руками, — кроме этого. Я хочу, чтобы люди научились понимать друг друга, чтобы слышали... Ведь так просто взять и сделать другому человеку что-нибудь хорошее, «за так», даром.

— Задаром по миру пойдешь, — буркнула Ольга. — Хотите всех добренькими сделать за раз?

— Добрыми, — поправил Рыбаков. — Хочу.

— А если они не могут? — запальчиво спросила Ольга.

— Не пытаются.

— Ладно. Подождите. Вот у меня, к примеру, — завелась Ольга. — При живой матухе в детдоме росла, потом по общагам — ни кола, ни двора. Родила — так расти, я так понимаю. Правильно? Что ж мне, ее любить теперь? Рожать пора пришла, поехала к ней,

дура, ткнуться было некуда. Объясните, раз вы такой умный. Из-за нее все, никогда не прошу, а все равно—к ней. Живем, как на вулкане: всю душу измотала... Так мне к ней, что ли, доброй быть? А ее человечность видали? Мне доброй быть—сразу можно лапки кверху. Я зубами кусок урываю... Лучше б уж сиротой была—хоть не так обидно... Вот блин!—Она разгоряченно махнула рукой—тарелка перевернулась, и по джинсам растеклось масляное пятно. Ольга огорчённо усталилась на джинсы.—У вас газета есть стереть?

— Снимите, лучше застирать,—предложил Рыбаков.—У меня в ванной халат висит, не стесняйтесь.

— Да я не из стеснительных.—Ольга исчезла в ванной.

— Холодной водой!—крикнул ей Рыбаков, достал из-под раковины веник и принялся заматывать рассыпанную картошку.

Ольга появилась в халате, разместила джинсы на батарее и протянула руку за веником.

— Зачем вы? Я сама...

Рыбаков поднял на нее глаза и замер, удивленный. Халат едва доходил ей до коленок, делал Ольгу какой-то женственно-хрупкой, обнажив тонкую шею с детскими ключицами, длинные тонкие ноги. Ольга под его взглядом неловко переступила, смущалась, без привычной амуниции почувствовала себя черепахой, вытащенной из панциря. Не глядя на Рыбакова, быстро замела мусор, кинула в ведро и, закатав рукава, сполоснула под краном руки. Крупная синяя татуировка мелькнула на левой руке. Рядом до самой кисти алели безобразные шрамы.

— Тима,—потрясенно прочел Рыбаков.

Ольга вспыхнула и опустила рукав.

— С девчонками, дуры, баловались,—торопливо пояснила она.—Остальные свела, а это—память... У меня вот тут чертенок был, такой забавный. Кулак сожмешь—хвостом вертит.

— Ваша первая любовь?—напряженно спросил Рыбаков.

— Да... парень один,—киво усмехнулась Ольга.—Ходил к нам в общагу в волейбол играть. Корешка наиграли... Да ладно, я на него не в обиде, Корешок мой хороший мужик получился.

Она принялась было собирать грязную посуду, но Рыбаков удержал ее за руку.

— Пожалеть хотите?—ухмыльнулась Ольга и резко сменила тему:—Я у вас там колонки видела. Может, маг заведете?

— Магнитофона нет,—ответил Рыбаков,—но пластинок много. Только, знаете ли, я ретроград. Старое люблю.

Они прошли в комнату. Ольга опустилась в единственное старенькое кресло.

— Злая я, по-вашему?—прикрываясь ус-

мешкой, спросила она, продолжая начатый на кухне разговор.

— Я проповеди читать не умею,—грустно отозвался Рыбаков.—Злых нет, есть несчастные.—Он повернулся к Ольге: не обиделась ли?—Я не могу объяснить вам то, о чем вы спрашивали. Не умею. Так мучаюсь иногда, вот ощущение есть, а выразить... Нет слов...

— Как собака,—с облегчением засмеялась Ольга.

Рыбаков протер пластинку салфеткой, поставил на круг проигрывателя. В динамике зашипело, защелкало, и прославленный тенор проникновенно вывел первую строку романа:

— Я встретил вас, и все былое...

Рыбаков опустил на пол, прислонился к креслу спиной.

— А знаете, я вам завидую,—тихонько сказала Ольга.—Я вот свою работу терпеть не могу. Сейчас простым сутки, все психуют, а я радуюсь... А потом опять ишачить...—Она вздохнула, по-детски поджала под себя ноги, тщательно натянула на коленки халат и неумело похвалила:— Хорошая песня...

— Это романс,—поднял на нее глаза Рыбаков.—Впрочем, неважно...

— В душе моей озарено...—сладко замирал тенор.

Ольга прикрыла глаза, устроилась поуютнее, сказала тихо, с благодарностью:

— Хорошо у вас... спокойно... Как будто дома... Сто лет так не сидела...

— Оставайтесь,—предложил Рыбаков.—У меня раскладушка есть. Отдохнете от своего поезда...

Ольга резко поднялась:

— Ловко охмурил. Я уж поверила...

Растерянный Рыбаков не успел подняться с пола. Ольга смерила его взглядом—маленький, жалкий, в нелепой позе. Рывком сдёрнула с вешалки куртку.

— Ко мне в поездках всякие клеются. Учти, я и вмазать могу.

— Вы не так поняли...—мямлил Рыбаков.—Я просто по-человечески...

Ольга бросила на кухне халат, натянула джинсы и вновь обрела уверенность.

— Они же мокрые...

— Не твоя забота,—отрезала Ольга, выходя в прихожую.

Он помог ей справиться с замком и вдруг спросил:

— Я возьму на завтра билеты в театр? Настоящий...

Ольга молча подхватила сетки и выволокла их на площадку.

— В семь часов у входа!—крикнул ей вслед Рыбаков.

Ольга захлопнула дверь лифта и быстро, словно боясь, что передумает, нажала на кнопку.

В вагоне-ресторане царила предострава. Официантки считали бутылки с минералкой, директор Паша подписывал накладные.

— Где ты шатаешься?— закричала Галина, как только Ольга появилась в дверях.— Скорее белье принимай. Сейчас на посадку.

Ольга тупо смотрела на нее, продолжая держать сетки с палтусом. Вера Васильевна аккуратно вынула их из ее рук, унесла делить.

— Говорили же— завтра...— с надеждой проговорила Ольга.

— Все течет, все меняется,— философски отозвался Паша. Он откровенно радовался, что избавился от простоя.— Два ящика «фанты» отвалил,— похвастал он собственной щедростью.— Если дома с оборота выбью, то до конца месяца еще одну ездку сделаем.

Поезд дернулся из тупика к вокзальным перронам. Ольга вышла в тамбур, прижалась лбом к стеклу. Внизу, под мостом, россыпью огоньков мерцал порт, виднелись на взгорке новые кварталы жилых домов с освещенными окнами. В одном из них жил Рыбаков.

И опять мчался скорый поезд в ночь, в даль, прочь от холодного северного моря, все ближе и ближе к неостывшему еще южному, к доцветающей на его берегах пышной осени. На ходу бил в окна привычный в средней полосе дождь. И опять катила Ольга по узким проходам тележку с ужином, машинально улыбалась, отпускала привычные остроты. И опять сновали между клиентами в зале Лидка с Галиной, неся на растопыренных пальцах подносы и опасно покачиваясь на ходу. Мчался в ночь скорый поезд с притушенными огнями купе и ярко освещенным рестораном в центре состава...

Ольга торопливо нагружала тележку, подгоняя кухонных— побольше бы успеть сбыть. Краем глаза видела, как ловко крутилась меж своих столиков Галина, успевая принять заказ у одного, подать другому и рассчитать третьего практически одновременно. А болтушка Лидка, подав на столик чек, вдруг швырнула следом ручку и выбежала в тамбур.

Ольга вытолкнула тележку из тесного кухонного прохода, придерживая на ходу дверь ногой, и почти наткнулась на вжавшуюся в угол Лидку. Та плакала молча, тут же вытирая слезы, стараясь казаться как можно незаметнее. Она не оглянулась на стук двери, и Ольге пришлось протиснуться понад стеной, чтобы подобраться к ней поближе.

— Ты чего, Лидуха?

— Не могу больше, черт... Ты иди, иди...

Лидка плакала, а голос был ровный, почти спокойный, и от этого Ольге стало страшно. Она неловко обняла ее за плечи, попыталась повернуть.

— Что там, обехеэсник? Да говори же, Лидка!

Та помотала головой.

— Ну что реवेशь? Господи... Клиент нахамил? Так я ему сейчас покажу кузькину мать...

Лидка чуть улыбнулась.

— Это я и сама могу.

— Из-за Паши, да?— вдруг догадалась Ольга.— Опять с тебя трясёт?

Лидка безысходно кивнула и виновато заговорила:

— Понимаешь, весь день клиент такой— то студенты, то старичок яичницу ел. Сейчас командировочный сидит, считает копейки: кофе выпить или чай... Ну не могу я, Ольга, не могу! А он, гад, говорит: не можешь, плати свои...

— Жалостливая,— хмыкнула Ольга.— Ладно. Идем, я ему кровь попорчу.

— Ой, не надо,— испугалась Лидка и вцепилась Ольге в рукав.— Только хуже будет, молчи лучше. Я ничего не говорила, поняла?

Она быстро вытерла слезы, приклеила на губы улыбочку.

Ольга рывком освободилась, проскользнула в двери. Лидка своим пышным телом застряла между стеной и тележкой, отчаянно толкнула ее, пытаясь пролезть, но Ольга, посмеиваясь, налегла на ручку, не давая тележке сдвинуться с места.

— Ой, пусти же, Оля!— Лидка в запале еще раз дернулась и не выдержала, расхохоталась.

— Ну ты тут пока посмейся...— коварно сказала Ольга и тут же скрылась за дверью.

Лидка растерянно глянула на тележку с товаром и осталась караулить.

Вера Васильевна сдавала Паше деньги. Тот сосредоточенно щелкал счетами, делал пометки в пухлой книжке. Ольга подлетела к директорскому столику.

— Подожди, я с бабушкой закончу,— поднял брови Паша.

— Внучек выискался,— зло сказала Ольга.

— Ты чего это?— удивленно спросил он.— Ладно, сдавай ты, я у нее потом приму.

— Со старого да малого шуру дерешь.— Ольга подсела к столику с другой стороны.— Я тебе устрою, Паша...

— Я же не спрашиваю, сколько ты себе варишь,— огрызнулся тот.

— А тебе сколько, знаешь? Смотри, Паша, зарываешься...

— Ты не грози, ты потише,— обрел уве-

ренность Паша.—Ты, что ли, чистенькая?—Он полистал записную книжку.—Влипла, кто тебя отмазал? А вот прошлый рейс на станции Борисовка водку продавала, и еще двадцатого числа... И акт был на недовес. Забыла? Да я тебя в любую минуту...

— За мной хвостиком пойдешь,—пригрозила Ольга, поднимаясь.—Я сказала, ты понял.

— Я человек свободный,—с недоброй усмешкой сказал вслед Паша.—А у тебя пацан все-таки...

— Паскуда,—зло выругалась Ольга и сильно хлопнула дверью.

— Рассчитывайтесь скорее, закрываем,—испуганно оглядываясь на Пашу, торопила последних клиентов Галина.

Ольга рывком расстилала постель. Галина сидела на соседней полке и миролюбиво говорила:

— Да за кого ты, Оля, нервы себе трапишь? Старой на пенсии жить бы, а она все хапать хочет. От жадности мучается. А Лидка, свистушка, сегодня ревет, а завтра маму родную обдерет, как липку. Нам по-хорошему надо жить, работать спокойно. Ты вот молодая, ловкая, ну чего на рожон лезешь? Ведь Паша, он, знаешь...—понижила голос Галина.—Его только тронь, он же тебя потянет... А ты к нему доброму, он для тебя все сделает.

Ольга насмешливо глянула на Галину.

— Он ведь на самом деле мягкий такой,—проникновенно продолжала та.—Детей любит... Вовке всегда подарок... Ну и хозяин, конечно...

Ольге стало тошно от этого разговора.

— Да не трону я твоего Пашу,—разом оборвала она Галину.

Та замолчала, но продолжала сидеть.

— Ну сказала же: не трону. Иди, а? Чего высиживаешь?

— Ну и ладно,—прежним уверенным тоном сказала Галина.

Вера Васильевна вошла в купе и тоже принялась устраиваться.

— Когда встречный наш, девочки?

— По Белгороду,—через плечо ответила на ходу Галина.

— В три ночи...—вдохнула Вера Васильевна.—Разбуди меня, Олечка, а то опять со стариком не повидаюсь.

— Да оставьте вы меня в покое,—раздраженно буркнула Ольга, отвернувшись к стене и накрыва голову подушкой.

Ольга открыла дверь и изумленно замерла.—Корешок сидел за столом и ел суп, а напротив расположилась бабка. Пришивала

к его рубашке пуговицу. Под глазом у Корешка красовался синяк.

— Сегодня что, воскресенье?—не поняла Ольга.

— Среда,—вдохнула Ксения.—Вот, любуйся.

— Он первый начал, а мне влетело,—сказал Корешок.

— Ты что, драться не умеешь?—удивилась Ольга.—Учишь тебя, учишь...

— Ты его лучше писать без ошибок учи,—вмешалась мать.—За неделю три двойки.

Ольга скинула в коридорчике куртку, подошла к столу, взъерошила сыну волосенки. Тот ласково потянулся за ее рукой.

— Ты что, Кореш, дома? Заболел?—Ольга тронула губами лоб, обеспокоенно глянула на мать. Ксения сидела, поджав губы.—Да не тяни, что случилось? Глисты, что ли?

— Не знаю, как у тебя, а у меня сердце есть!—заявила мать.—К поезду вышел, как ко мне кинется: бабуля, бабуля... Вот такие слезищи.

— Так ты его увезла?—опешила Ольга.—И никого не предупредила? Единственный интернат на район, я еле место выбила, а ты...

— У меня три отгула. Пусть дома побудет, хоть синяк сойдет.

— Меня небось не брала на отгулы...—обиженно буркнула Ольга.—Все равно так не делают. Сообщить надо, что он дома.

— Не к спеху,—Ксения нагнулась к Корешку.—Котлету будешь? Где вкуснее: там или у бабки? Бери котлеты,—повернулась она к Ольге.—Горячие. Ты мясо привезла? Я последний кусок смолола.

— Картошку привезла.—Ольга села рядом с сыном.—В Брюховецкой баба к поезду вынесла. На тридцатку мешок получилась. Я в сарае поставила.

— А мясо?

— Чего ж сама не привезла? Все я должна!

— А я не в ресторане работаю,—огрызнулась Ксения.

— О! Про ресторан заговорила! Я же воровка...

— Дура ты,—сказала Ксения.—На ребенка глянь—будто три дня не ел. Чем там кормят, хоть знаешь?

— Я-то знаю! А ты, раз такая жалостливая, сиди дома и готовь ему.

— У него мать есть,—усмехнулась Ксения.—Это материнская обязанность.

— Уж ты бы молчала!—Ольга порывисто встала, сдернула с вешалки куртку.

Корешок отодвинул тарелку и сидел тихо, переводя глаза с матери на бабку.

— Ты куда?—вскинулась Ксения.

— В интернат. Вышибут из-за твоих бзиков—куда я его дену?

— Так в штанах и поедешь? Не поймешь—мама или папаша.

— Отцепись!—крикнула Ольга.

— А ты не ори,—сказала Ксения.—Чем меня шпынять—сама бы работу сменила. А то носишься, как приبلудная.

— А что я еще умею?—выкрикнула Ольга.—Чему ты меня выучила?

— Сына бы пожалела—сиротой растет,—подлила масла в огонь Ксения.

— Я не сирота!—крикнул Корешок.

— Не слушай, она дура,—еле сдерживаясь, сказала сыну Ольга.—Одевайся, идем отсюда.

У двери Ольга споткнулась об обшарпанный портфельчик.

— А сумка где?

— Я с Валькой Савиным поменялся. Не глядя,—объяснил Корешок.

— Ладно.—Ольга подхватила портфельчик, взяла сына за руку.—Разберемся.

Во дворе интерната бегали малыши. Была перемена.

— Ну, где твой Валька?—прильнула к прутьям ограды Ольга.

— Вон, в сером свитере.

— Позови.

— Валька! Валька!.. Эй!—несмело позвал Корешок.

— Чего?—К ним испуганно шел пацаненок чуть повыше Корешка в непомерно большом свитере и коротких школьных брючках.

— Нагнись,—сказала ему Ольга и, сунув руку между прутьями ограды, вцепилась в крепкий щелбан.

Валька схватился за лоб, но не крикнул, не завизжал—видно, привык выяснять отношения молча.

— Твой «дипломат»?—потрясла портфельчиком Ольга.

— Ну...

Ольга швырнула портфельчик через ограду.

— Тащи сумку, живо. А то еще влеплю.

— Мы поменялись,—шмыгнул носом Валька.

— Поговори еще, коммерсант.—Ольга снова вытянула руку, Валька не успел отскочить, и она ухватила его за шею, больно пригнула.—Ну!

— Сейчас,—глухо сказал Валька.

Корешок со страхом смотрел, как Ольга жестоко блещет глазами, пригибает Вальку все ниже и ниже.

— Будешь еще маленьких бить?

— Не...—выдавил Валька, кося глазом на Корешка.

И от этого перепуганного Валькиного взгляда Корешку стало не по себе.

— Ма,—он тронул Ольгу за рукав, но та

и сама решила, что на первый раз хватит.

— Давай. Я жду. Быстро.

Валька побежал к школьному зданию, то и дело оглядываясь.

Ольга бежала за Корешком по улице. Догнала, ухватила за руку. Сказала, запыхавшись:

— Кореш, что за фокусы? Мне же еще поговорить надо было.—Она повесила Корешку на плечо сумку.—Держи.—Взглянула на часы.—Ладно, сейчас рабочий поезд будет...

Был полдень, доцветал последними дарами осени маленький базарчик у станции. Ольга, повсвистывая, вела сына за руку, чтобы случайно не разделили их в толпе. На привокзальной площади, у самой платформы, бойко торговала семечками бабка.

— Взять ползгать?—предложила Ольга.

— Нет,—хмуро сказал Корешок. Он поглядывал исподлобья и еле плелся, так, что Ольга почти тащила его за собой.

— Хорош фраер твой Валька,—довольно хохотнула Ольга.—Жулик пузатый. Мы таких в детстве темной давили. И ты, Кореш, не дрейфь. Пусть тебя боятся, понял?

— Не хочу,—дрожащим голосом сказал Корешок. И вдруг напрягся мучительно, крикнул:—Ты за что его била? За что?! Мы же честно менялись. Ты же сама, помнишь?..—Он кричал и плакал одновременно. Слезы были мелкие и злые, как у волчка.—Я не буду темную! Никогда! Ты злая! Злая! Ему было больно!

— Антоша,—растерялась Ольга.—Ну, Кореш, ты же мужчина... Надо уметь за себя постоять. Всегда. А то тебе плохо жить будет, понимаешь?

— Я не хочу!—протестующе выкрикнул Корешок.

Прохожие стали на них оглядываться, и Ольга присела на корточки, неумело успокаивая сына:

— Ты послушай меня, малыш. Я, если махну «не глядя», так наперед знаю, что выгадаю. Иначе зачем махать, понял? Махать надо ненужное, а ты сумку, дурачок... Ты же так ее хотел.

Она легонько прижала к себе сына, пытаясь заглянуть в лицо.

Но Корешок вдруг вырвался, с ненавистью пнул сумку и побежал. Маленький, юркий, он ловко прошмыгивал между прохожими, а Ольга наткалась, задевала разбухшие сетки, волочила за ремешок злополучную сумку. Она сразу потеряла сына из виду в толпе, но стеснялась крикнуть во весь голос, позвать, науськать, чтоб задержал кто-нибудь. И потому бестолково кружила по площади, кидаясь на любое мелькнувшее вдали синее пятнышко.

Уже поздно вечером Ольга вернулась домой. Переступила порог, наткнулась на вопросительно настроенный взгляд матери и спросила безнадежно:

— Не вернулся?

Мать вдруг заплакала.

— Ой, только без этого,—скривилась Ольга.

— Ты в интернат звонила?

— Нет его там,—нервно ответила Ольга и тут же бросилась на стук входной двери.

В коридорчик ввалился сосед Толик. Переминаясь и отдуваясь, он теребил в руках шапку.

— В общем, Оля, я в депо был, все облазил. Он, может, на гору влез? Я малым туда бегал. Или в рыбколхоз—там для пацана самое раздолье.

Следом за Толиком стукнула в окошко Тамара Ивановна, закивала Ольге и поспешила к двери.

— Ну, Толенька, отдыхать, отдыхать,—привычно взяла она Толика за плечо.— Не до тебя людям, сам видишь.

Но Толик неожиданно воспротивился:

— Да трезвый я, мамаша. Дыхну, во. Устал просто.

Тамара Ивановна тут же переключилась с сына на Ксению. Подсела к ней.

— А в милицию заявили, Ксень?

Та кивнула. Глухо попросила Ольгу:

— Дай сигарету.

— Тю...—удивилась Ольга, кинула матери пачку.

— Довела мальчишку,—неумело затыгиваясь, сказала Ксения.—Ему же стыдно такой матери будет. Вот дождешься, это еще цветочки...

— Не каркай.—Ольга была на пределе.— Пойди лучше к Новиковым, у них, может... А я в рыбколхоз мотну. Ночь уже, господи...

— Так и в море недолго свалиться,—встряла некстати Тамара Ивановна.

Ольга затравленно оглянулась, нажала на ручку двери.

— Ну да ладно, я тоже с тобой, что ли...—нехотя предложил Толик. Ему ужасно не хотелось тащиться ночью, по слякоти, в такую даль, да еще после смены, но соседский долг вроде обязывал, и Толик не мог не предложить своих услуг, а сам все топтался и вздыхал у двери.

На его счастье на крыльчке затопали, и прямо в Ольгины объятия ввалился Корешок в сопровождении вокзального милиционера Славы.

— Гражданка Коренева,—официально сказал Слава.—Распишитесь.

— Как за посылку,—облегченно хохотнул Толик.—Ну все тогда. Привет, соседка.

Ольга бросилась к сыну, обнимала с какой-то иступленной ласковостью.

— Кореш, Антошенька... Где же ты был?

Слава, где он был?

— Мы уж тут не знали, что и думать,—поджав губы, сказала Тамара Ивановна.— Гляди, шпингалет, до чего мать и бабушку довел.

Корешок безучастно позволял себя обнимать, исподлобья глядел на Ольгу и молчал.

— Снять бы штаны да выпить тебе,—продолжала Тамара Ивановна.

— Мама,—нервно бросила через плечо Ольга.

— Спасибо, Тамара, ты иди,—сказала соседке Ксения.

Но той хотелось послушать подробности.

Милиционер Слава попил водички из крана, растегнул шинель и с удовольствием устроился на табурете.

— Гляжу, что это там знакомое,—рассказывал Слава.—На лавке бубликом свернулся, ноги поджал, на голову куртку натянул. Фраер, думал—не узнаю.—Слава был доволен собой.—На улице холодно, вот он и полез, где народу побольше, потеплее. А голодный... не приведи господь. Я ему в буфете котлету в тесте купил.

Ольга тут же полезла за деньгами. Корешок зыркнул на нее и опять отвернулся.

— Да ну, сочтемся...—отказался Слава.—А ты, бабка, не сиди, корми пацана, а то опять сбежит.

Ксения поднялась, бесцеремонно выпроваживая гостей:

— Ну все, идите, идите, поздно уже. У дитя глаза слипаются.

— Раньше надо было заботиться,—обиженно сказала Тамара Ивановна.

Ольга позвякивала кастрюльками, обеспокоенно поглядывая на сына. Корешок молча скинул испачканную куртку, стянул, не расшнуровывая, ботинки, и устроился в углу дивана, совсем как Ольга, надвинув на ухо маленькую подушечку. Ксения укрыла его пледом, махнула Ольге:

— Не греми, тише, спит уже.

— Раздеть бы надо,—виновато сказала Ольга.

Она подошла к Корешку, сняла со щеки подушку, осторожно подсунула сыну под голову и села рядышком, бессильно откинувшись на спинку дивана.

— Допрыгалась,—не удержалась Ксения.—На вокзалах ребенок ночует. Тебе мать плохая была, а сама-то кого растишь?

— Отцепись,—устало сказала Ольга.— Мой сын.

— Запомни: будешь еще локти кусать,—обычным своим раздраженным тоном продолжала Ксения.

— Хватит меня поучать,—разозлилась Ольга.—Накоплю денег, куплю квартиру, сама буду воспитывать, ни в чем отказа не будет.

— Ох и стерва же ты, Оля,—внезапно зазвеневшим голосом сказала мать.—Я тебе

разве в чем отказывала? Что на каникулах попросишь—то и покупала. А с Москвы какие вещи привозила! Шубу кроличью, костюмы шерстяные, по тем временам о таких мечтать только было. А ведь одна растила, из всех жил тянулась...

— Ну вот, опять,—скривилась Ольга.— Все вещами попрекаешь, игрушками. Не помню я, что в детстве носила, понятно? Зато помню, как к тебе в третьем классе сбежала. У тетки Тамары две ночи спала, а ты из рейса вернулась, меня веревкой мокрой отхлестала и обратно отвезла. Это помнишь?—мстительно прищурилась Ольга.

— А что мне делать было?—горько сказала Ксения.—Что ты вообще о моей жизни знаешь?—Она вздохнула томительно, по-стариковски. Приеду за тобой, гляжу: платье старое, застиранное—аж сердце рванет. Тебя в охапку и в магазин. А от каникул до каникул ночей не сплю, все думаю, как ты... Тогда еще через Тишинку ветки не было, крюк давали. Проезжаем—я только в окошко гляжу: вон там где-то моя доченька...

— Тебя послушать...—протянула Ольга,—аж плакать хочется, какая любовь. Я же тебе руки связывала, жить мешала. Ты ж еле дождалась, пока мне паспорт дадут. А дали—так катись, родная доченька, не нужна ты.

— Ну, не могла я тогда тебя взять. Всю жизнь теперь этим попрекать будешь?

— А ты как хотела?—запальчиво сказала Ольга.

— Ладно.—Мать поднялась, кивнула на спящего Корешка.—Вот он подрастет, посмотрим, что тебе скажет.

— Шла бы спать,—разозлилась Ольга.— Сидит тут, нервы мотает.

— Ты мне не указывай, пока еще я здесь хозяйка,—с привычной усталой злобой сказала Ксения и ушла в свою комнату.

Ольга с отчаянием и страхом смотрела на спящего Корешка, беспомощно, словно просила совета. «Как растить тебя дальше, сын?»

В вестибюле интерната Ольга крепко держала Корешка за руку и взволнованно выговаривала воспитательнице:

— Как вы за ними смотрите? Это же безобразие! Сумку новую у ребенка отобрали! Сняк вон не сошел еще, видите?

Она попыталась повернуть Корешка лицом, но он упрямо отвернул голову.

— Вы купите портфель попроще,—сдержанно сказала воспитательница.—У остальных детей таких сумок нет.

— При чем здесь остальные?—кипятилась Ольга.—У моего сына есть! Вы лучше выясните, за что его избили. Этот ваш Валька, Савин, что ли,—настоящий

бандит! Вызовите родителей, пропесочьте как следует, чтоб внушили сыну, чего можно, а чего нельзя, если сами не можете. Воспитывать же надо!

— У него нет родителей,—устало сказала воспитательница.—И совсем он не бандит, нормальный мальчик.

Ольга осеклась, быстро глянула на сына. Корешок уперно смотрел в сторону.

— Ну вы все-таки...—неуверенно продолжила Ольга.

— Я выясню.—Воспитательница повернулась к Корешку.—Иди к ребятам, Антон, нам с твоей мамой нужно поговорить.

Корешок кивнул, серьезный, нахохленный, и шагнул за стеклянные двери вестибюля, даже не чмокнув Ольгу напоследок. И это почему-то было обиднее всего, что не чмокнул.

Ольга вышла из интерната, задрала голову, перебегая глазами по одинаковым широким окнам новенького шестиэтажного корпуса. На втором этаже Корешок приплюснул нос к стеклу, долго смотрел на топчущуюся внизу Ольгу. Она слабо махнула ему, отвела глаза.

Сбоку, за кирпичной котельной, жался знакомый двухэтажный дом. И ей вдруг на секунду показалось, что опять, как много лет назад, смотрит она из его окна, как ссутулившись, уходит по тропинке мама. Как лепится к ногам цветастый крепдешин, неловко болтается на локте сумочка. Мама оглядывается, но одинаковые окна сливаются в неразборчивую полосу, как сквозь слезы. И мамина фигура тоже расплывается, теряет очертания, как будто очень давно пронесся однажды над землей туман, и не дал запомнить, и стер, чтоб не осталось памяти. И теперь надо из него выйти, выкарабкаться, чтобы увидеть четко, как наяву, как уходит по тропинке мама...

Комната казалась тихой и пустой. Надев очки, Ксения читала «Работницу». Ольга приметывала латку на джинсы.

— У тебя платье цветастое было, из крепдешина, помнишь?—вдруг спросила Ольга.

Ксения сняла очки, подняла на нее глаза.

— На толкучке продала,—вздохнула она. Они смотрели друг на друга и молчали...

— Встречайтесь в центре ГУМа у фонтана!—орал над толпой искаженный динамиками голос.

Поглядывая на часы, Ольга пронесилась по ГУМу. Кидалась только в те отделы, возле которых была приличная давка. Чудом протиснулась сквозь толпу и умудри-

лась купить детский джинсовый костюм — хватка ее никогда не подводила. И устремилась к выходу.

— «Я встретил вас, и все былое...» — донеслось из секции грампластинок. Голос был другой, более молодой и не такой бархатный, как на старом рыбаковском диске. Он не мог перекричать шум универмага, и его тут же забила ритмичная эстрада.

Ольга была уже в дверях, когда до нее снова донеслись звуки романса. Она повернула голову недоуменно: может, показала? Ее толкали, огибали справа и слева выходящие с покупками люди, а она все ловила чутко, не проскользнет ли знакомая мелодия сквозь зажигательные переливы «Малиновки»...

В маленьком кинотеатре демонстрировался фильм «Вокзал для двоих». Гурченко и Басилашвили мокли на полинявшей афише под мелким занудным дождем.

Улица перед кинотеатром была перекопана — прокладывали трубы к новенькому высотному дому. Сразу за траншеей высылся забор с проломанной в нем доской-дыркой, и резкий спуск выводил прямо на Каланчевку, к паутине рельсов, забитых формирующимися составами. Сверху это производило внушительное впечатление — вся страна, каждый крупный город был представлен здесь своим «фирменным» красным, синим или обычным запыленным зеленым — в зависимости от отдаленности и престижности рейса.

Ольга, Галина и Лидка, осторожно переступая через рельсы, чтобы не влезть в лужицы мазута, пробирались в свой парк.

— Что говорить, на вокзале работает. В зале работа приличная, — перешагивая через путейскую грязь, завидовала героине фильма Лидка. — Не пыльно, дома спишь, еще и на чай по два рубля оставляют. А тут из-за копейки ужом вертись.

— А откуда ты знаешь, сколько лично ей достается? Может, поменьше, чем тебе, — вставила Ольга. — Сидит там над ними какой-нибудь Паша и сосет, как паук.

— Что ты к Паше прицепилась? — взвилась Галина. — Все жить хотят, каждый выгадывает, как может.

— Чужим горбом! — возмутилась Ольга. — Знаю я про вас все, в один карман гробете. Ты же сама ничего не умеешь, только жулить. Думаешь, не замечала, что ты разнос двумя руками носишь!

— Девочки, я помню, наш здесь стоял. Может, в парк «Б» оттащили, — засуетилась Лидка. — Я вот с Валеркой ездила. Знаете Валерку? Высокий с усами... Во — ас! Разнос с десятью борщами на трех пальцах носил, да на полном ходу поезда.

— А ты вообще молчи, балаболка, — с внезапной злостью сказала Галина. — Выйдешь замуж, небось тут же расчёт возьмешь.

— Ты же знаешь, это Игорь против, — вступилась за Лидку Ольга.

— Ну да, ему официантка не нужна, ему клушу надо. Будешь дома борщи варить да троих нянчить. Растолстеешь, — мстительно закончила Галина.

— А что, завидно? — подбоченилась Лидка. — Да я, может, на всю жизнь уже наездилась, мне этот поезд ночами снится. Дома сплю, а кажется — качает. Выйду замуж — на самолете летать буду. Вот!

К вагону подходили уже в сумерках. Плелся молча, друг за другом. Галина первой вскарабкалась в тамбур, а Ольга отвернула в сторону, остановилась между составами, достала сигареты.

— Ты чего? — взявшись за поручень, повернулась к ней Лидка.

— Иди, — отмахнулась Ольга. — Я покурю здесь.

Какой-то стильный парень перепрыгивал через лужи, пряча голову под мокрой насквозь «адидасовской» шапочкой.

— Эй, парень, это какой поезд? — окликнул он Ольгу.

— Париж — Рио-де-Жанейро, — съязвила Ольга.

— Превосходно! — весело сказал парень и легко подтянулся на подножку.

В ресторане было непривычно оживленно, хотя поезд еще стоял в тупике. Худощавый мужчина в очках держал в руках закрытую пластиковую сумку с выпирающими углами. Паша знакомился с каталогом.

— Ну... Дрюон...

— Еще английский детектив, — предлагал мужчина.

— Давай детектив. А Дюма нет?

— Дюма больше не выпускают, сейчас идет Мозм... — покровительственно говорил мужчина. Паша коротко кивал. Он сразу стал каким-то робким, косноязычным и держался с продавцом почтительно.

Ольга тихонько подседа к примостившейся в углу Лидке.

— О, воронье, — беззлобно сказала Лидка. — Сейчас даже осетра приносили, целого. Паша взвесил для интереса, на семьдесят рублей потянул. Ничего рыбка, да?

— А сколько килограммов? — заинтересовалась Ольга.

— Не знаю, — пожала плечами Лидка. — Паша сразу в рубли пересчитал.

В окошко коротко стукнули. Галина пошла открывать тамбур.

— Обои, девочки!—ввалилась в вагон здоровенная баба с тюками. Вера Васильевна, переваливаясь на ходу, поспешила навстречу. Освободила от пустых бутылок стол и помогла разложить товар. Долго близоруко рассматривала, разматывала каждый рулон и, сомневаясь, оглядывалась на Ольгу с Лидкой.

— Как, а, девочки? Если на большую комнату, а?

Паша наконец разделался с книгами, и, отдуваясь, как после серьезной работы, отложил на свою конторку увесистую стопочку.

— Сказок нет?—окликнула Ольга уходящего мужчину.

Тот виновато развел руками.

— А вы чего кукуете?—Паша подошел, оживленный от удачного приобретения. Заметил на столе завернутую в бумагу пластинку.

— Что за пласт?—он хотел взять посмотреть, но Ольга быстро отодвинула пластинку в сторону.

— Не хапай,—и пояснила нехотя:—Так... романсы...

— А...—разочарованно протянул Паша.—А я думал, «битлов» отхватила, мечту моей молодости. Говорят, «Золотой диск» по лицензии вышел.

В дальнем углу веселый молодой парень в вязаной шапочке в чем-то горячо убеждал Галину.

— Мечта мужчины! Шик сезона!—приглушенно доносилось до Ольги.

— Ну почему мужчины?—жеманилась Галина.—Оно же... дамское.

— Ну, девушка,—подмигивал парень,—вы сами понимаете, почему...

Галина хихикала и косилась на Пашу.

— Можете померить,—великодушно предложил парень, сунул Галине сверток и повернулся к Ольге.—Эй, приятель, это ты «битлов» любишь? У меня тут есть кое-что поновее.

Он подскочил к столику и раскрыл набитый кассетами портфель.

— Пугачева, итальянцы, «Машина времени». За четвертак отдам.

Ольга сумрачно смотрела на него и вместо того, чтобы весело, вперемешку с шуточками, поторговаться, вдруг взорвалась:

— Толкучку устроили. А ну, кыш отсюда! Спекулянты чертовы!—Метнулась к здоровенной бабе, смотала обои и засунула ей под мышку:—Давай, давай! Ишь, разлозилась!

— Подожди, Оля,—заторопилась опешившая Вера Васильевна.—Я же купить хочу, я сейчас...

— В магазине купишь,—отрезала Ольга.

Подталкиваемая Ольгой баба, испуганно озираясь, быстренько вымелась из вагона.

— Ладно тебе,—миролюбиво отозвался

парень, складывая в портфель кассеты.—Ты меня за стойкой обсчитываешь, а я тебя здесь. Квиты.—Он поискал глазами Галину.—Ну что, берешь, девушка?

— У меня сын тебе ровесник,—разозлилась Галина.—Подружку нашел. Никакого уважения. На, забирай, сам мечтай.

Скомканный пакетик полетел в руки к парню. Он ловко подхватил его, и сохраняя достоинство, сказал на ходу:

— Как хотите, мадам, поездов много.

— И зачем ты, Оля?—тихонько сказала Вера Васильевна.—Такой цвет красивый, и недорого. Мы как раз ремонт делать хотели...

— Идиоты!—закричала Ольга.

Вера Васильевна испуганно вжалась в проход между столиками.

— Скоты!—озлобленно озиралась Ольга.—Купи! Продай! Купи! Продай! Ну хоть что-нибудь еще, кроме этого! А? Что-нибудь!

Лидке вдруг стало смешно, она прыснула:

— Ой, не могу, как она их!..

И осеклась, оборвала смехок—в своем дальнем углу, опустив голову на столик, сидела Галина. Деловая хамоватая Галина плакала.

В южном городе прозрачное осеннее небо оглашали гудки тепловозов. Редкие пристанционные деревья давно сбросили пропитанную гарью листву, и теперь аккуратные кучки ее дымили в чисто выметенном дворике. Удивительным симбиозом уживались рядом с пропитанными мазутом шпалами выкрашенные голубенькой краской оградки палисадников перед окнами диспетчерской службы. В палисадниках, невзирая на заморозки на почве и задымленную атмосферу, упрямо адели чернобривцы, смешивая свой чарующий аромат горьковатой свежести с запахом смазки.

Ольга с Пашей сидели в конторе, в отделе кадров. Объяснялись.

— Ирина Сергеевна, она же озверела совсем, на людей бросается, в бригаду разлад вносит,—«капал» Паша, не глядя на Ольгу.

Та делала вид, что речь вовсе не о ней, и безучастно разглядывала за окошком двигавшийся взад-вперед состав. Кадровичка сидела за столиком, обложенная бумагами, и злилась и на Пашу, и на Ольгу—так некстати.

— У меня нет свободной разносчицы. Завтра ехать, где я тебе возьму?

— Я с ним не поеду,—бубнила свое Ольга.—Давайте отгулы, мне положено.

— Да пойми ты, я даже поменять тебя ни с кем не могу,—повернулась к Ольге кадровичка.—На Воркуту дальний рейс, трудный.

Пожилые не едут, у молодежи дети. Все норовят покороче, побыстрее, туда и обратно.

— У меня тоже сын,—обиделась Ольга.—Я в интернат хочу съездить.

— Милая, у тебя в интернате...—облегченно замахала руками Ирина Сергеевна,—а у Маши Соловьевой в ясельках.—Она потрясла перед Ольгой листочком с заявлением.—Кому я в первую очередь отгулы дам?

— Все равно не поеду,—упрямо сказала Ольга и поднялась.—Не имеете права.

Паша злобно проводил ее взглядом и со вздохом сказал кадровичке:

— Вот видите.

Ольга вышла на крыльцо, нервно закурила. Паша в коридоре все еще шумел:

— Каждый день новости! Я уже оформил на Воркуту! Мы в Мурманске каждый рейс в отстойке стоим, дни теряем. Да у вас вечно срочно! Как я бригаду соберу? Все ведь на завтра рассчитывают.

Паша вышел на крыльцо.

— Чтоб он провалился, этот Мурманск. Опять навязали! Дай сигарету.

— Ну что, нашел замену?—Ольга протянула пачку.

— Нет.

— Ладно, скажи—поеду,—умело сдержав радость, словно нехотя, согласилась Ольга.

— Чокнутая!—в сердцах выдохнул Паша.—Чего голову морочила?

Поезд шел в Мурманск.

Неожиданно резко похолодало, и первый снег неуверенно прикрыл землю белыми заплатками.

— Б-рр, какая мерзопакость,—зябко пожевываясь, поглядывала за окно Лидка.—Опять всю зиму тепла ждать. Я прям еле выдерживаю.

— Неженка ты, Лидка,—накрывая к обеду столы, отозвалась Галина.—У природы нет плохой погоды.

— Вам хорошо, вы молодые,—сказала Вера Васильевна.—А у меня чуть что—все косточки ломит.

Ольга собирала в кулек апельсины и яблоки—для сына. Мурлыкала под нос что-то отдаленно напоминающее романс, но более современное и ритмичное.

— Веселая у нас сегодня Олечка,—улыбнулась Вера Васильевна.—Сынишку повидашь. Радость, конечно.

Из кухни вышел в белом халате повар Саша, сел отдохнуть, налил себе минералки с накрытого Галиной стола.

— Ну, девки, я такой шашлык заделал...—гордо сказал он.—Давайте, кто поест хочет. Пока горячий.

Он откатил в сторону яблоко от Ольгиной

кучки, с аппетитом хрустнул. Галина сделала в книжке пометочку—за воду.

— Балуешь пацана,—кивнул на фрукты Саша.—В таких количествах.

— Фрукты не баловство,—вступилась Лидка,—а витамины. И потом, он же там не один. Налетят—в пять минут ничего не будет. Мы в пионерлагере всегда друг с другом делились.

— Если с наваром все будет нормально,—сказала Ольга,—после этой ездки велик ему куплю. Складной. Чтобы седло и руль регулировать на вырост.

— Хватилась,—хмыкнула Галина.—Снег выпал. Санки покупай.

— Ну и что же?—удивилась Вера Васильевна.—Главное, чтобы вещь была. Когда знаешь, что уже купил, так на душе легче.

— Я так решила, в восемь лет—велик, классе в шестом мопед ему куплю, чтоб к скорости привыкал, а к девятому—мотоцикл. Гонять будет, куда захочет, на права сдаст.—Ольга улыбнулась.

Лидка встряхнула слезавшуюся на углах скатерть и тоже улыбнулась:

— Аж завидно...

Состав дернулся и встал. Галина взглянула через стекло вперед.

— Семафор, кажется. Сейчас встречный будет.

— Ах ты, господи!—подскочила Вера Васильевна.—Опять прозеваю!

Два поезда с одинаковыми табличками на вагонах с разных сторон приблизились к семафору и вежливо приостановились, ожидая решения диспетчера.

Накинув на голову пуховый платок, Вера Васильевна свесилась с закрытой площадки тамбура и кричала, приставив ладонь ко рту, словно слова на лету ловила:

— Вася! Васи-и-лий!

С подножки свесился старичок в фуражке, с желтым флажком. Подался вперед к стоящему напротив, чуть наискось вагону-ресторану, вслушивался напряженно.

— Я борщ сварила! Котлеты в духовке!

Старичок закивал.

— Кролей не кормила! Не кормила!—Вера Васильевна мотнула головой для доходчивости.—Катюшка письмо прислала! На тумбочке! Ты ей пошли тридцаточку! Понял, Вася?

— Нинку из сада брать? Или сватья возмет?—прокричал муж.

— Брать, брать! Так ты пошлешь?

Встречный дернулся и медленно двинулся вперед.

— Пошлю,—спокойнее сказал муж, когда вагоны поравнялись.—Ты когда обратно?

— На седьмой!—вновь крикнула Вера Васильевна, потому что вагоны опять начали расходиться.

В ресторане Лидка прижала нос к стеклу и откровенно потешалась:

— Ой, наговорились, как меду напились...

В Тишинской Корешок подбежал к вагону-ресторану. Ольга спрыгнула с подножки. Глянула на Корешку, и сердце сжалось: зима, а у сына на голове пилоточка. Сняла свою ушанку, нахлобучила ему на уши. Пилоточку пристроила себе. Корешок засмеялся.

— Телеграмму получил? Отпустили?

— Да, все в порядке, мам.

Корешок старался держаться уверенно, всем своим видом успокаивал, а Ольга все вглядывалась, все что-то хотела подметить, угадать...

— Двоек нет?

— Нет.— Он непроизвольно взглянул на светофор— красный?

Ольга тоже глянула на красный глазок и заторопилась.

— Тебе деньги нужны? Возьми на кино. Вас в кино-то пускают?

— Да пускают, мам, не волнуйся.

Корешок смотрел на нее жадно, во все глаза, и с неохотой тратил секунды на пустые, с его точки зрения, выяснения.

Ольга поняла наконец, что было не так в сыне: выстрижены виски и чуб.

— Кто тебя подстриг так?

— Да ну, нормально,—уклонился от ее рук Корешок.— Всех стригли.

— Тебе денег-то хватило, что я оставила?

— Еще есть.

Светофор мигнул. Ольга быстро сунула

сыну пакет с фруктами. Поезд дернулся, и пакет порвался. Мандарины заскакали по платформе, бодрой россыпью хлынули на землю яблоки, отбивая румяные бока, и, важно переваливаясь, откатывались в сторону большие апельсины с пестрыми наклейками.

Ольга вскочила на подножку, замахала рукой.

Корешок стоял и смотрел, казалось, безучастно, не махал и не подбирал мандарины.

Ольга высунулась, почти повисла, глядя назад.

Вот он стоит, Корешок. Ее корень на этой земле, ее повторение, ее надежды. Маленький, несчастный, вечно тоскующий по ней. И этих горьких минут не подсластить ей подарками—слишком смахивают они на откуп...

Ольга взмахнула руками, оттолкнулась посильнее и прыгнула. Проводница последнего вагона испуганно метнулась к стопкрану.

Ольга упала за краем платформы в грязный снег. Пошупала ногу, поморщилась и улыбку. По платформе, спотыкаясь, бежал к ней Корешок.

Неподалеку с шипением остановился поезд—все-таки сорвали стоп-кран. От вагонов, чертыхаясь, бежали к месту происшествия директор ресторана и бригадир.

Ольга все сидела в снегу, смотрела на Корешку и улыбалась как дура и ничего не могла с собой поделать. Потом с трудом поднялась и, прихрамывая, пошла навстречу сыну.

У конца платформы они встретились.

О СЦЕНАРИИ «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

Бывают темы—как глубокий омут, как дремучий лес, куда опытный, усталый автор и заходить не станет. Невольно пооттержется, ибо знает, что нет выхода, нет правильного ответа в конце задачника: как ни распутывай клубок, а все окажешься в лабиринте таких противоречий самой жизни, сегодняшней и вечной, что не будет ни одного шанса создать красивую, ясную, гармоничную вещь. Но вот приходит неискушенный начинающий драматург, какое-то сильное впечатление жизни его толкает, ведет, требует немедленного участия. Как требуют дети, как требует болезнь или близкая чья-то беда, совесть требует, и уже не отвернешься, а надо выплывать, грести против течения с тяжким грузом, забыв о совершенствах сценарной формы.

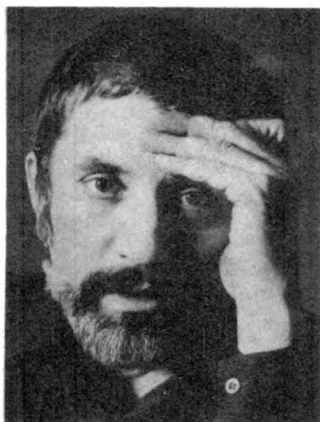
В такую тему и попала Елена Ласкарева со своим «Скорым поездом». Говорили после ВГИКа: «способная, пишет живо, правдиво и о том, что хорошо знает». Были уже некоторые успехи в короткометражном кино. А над «Скорым поездом» пришлось долго и мучительно работать. Вариант за вариантом. Сценарий делался стройнее, кинематографичней. Отчасти сглаживались его «острые углы», отчасти углублялись его нелегкие вопросы. Как и всякий сценарий, его можно еще и еще улучшить, а для меня он был всегда привлекателен храбростью, неосмотрительностью, непосредственностью.

В последнее время наше кино мало пересекается с реальной жизнью обыкновенных людей с их ежедневными заботами. Тому много причин, в частности,—скороспелые ярлыки: «ползучий реализм», «мелкотемье», «натурализм». Хорошие

картины есть, но, заметьте, победы эти одержаны где-то в области сказок — прекрасных, страшных или смешных, в замкнутых системах «особого видения мира», особых жанров, изобретаемых крупными художниками. Оно, может, и неплохо — история покажет, критика подытожит открытия, сделанные на пути «неправдоподобных историй». Но как зритель я, например, давно ощущаю дефицит той жизненности, на которой воспитана русской литературой и некоторыми фильмами шестидесятих годов, и тоскую по самой правдоподобной истории из нынешней жизни.

История, рассказанная Еленой Ласкаревой, не только «жизненна», «списана с натуры», но и касается важных и болезненных точек нашего общественного организма. Сценарий оказался в данный момент злободневным, но заслуга автора не в этом. Это — заслуга общества, именно сейчас заговорившего вслух о своих наболевших проблемах. А заслуга автора как раз в том, что сценарий, написанный несколько лет назад, чрезвычайно актуальный сегодня, не устареет, думаю, и завтра. И долго не устареет, ибо он не решает общие вопросы в отвлеченных разговорах, не поучает.

Наталья Рязанцева



ВИКТОР ИВАНОВИЧ МЕРЕЖКО (родился в 1937 году) окончил сценарный факультет ВГИКа. По сценариям В. Мережко созданы фильмы «Здравствуй и прощай», «Одинокды один», «Трын-трава», «Журавль в небе», «Трясина», «Уходя уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Прости» и др. Его пьесы «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я — женщина», «Инфанты» поставлены во многих театрах страны.

Запуск фильма по литературному сценарию «Автопортрет неизвестного» готовится на киностудии им. Довженко. Режиссер Вячеслав Криштофович. Автор рассматривает этот сценарий как своеобразное завершение дилогии, начатой сценарием «Полеты во сне и наяву».

ВИКТОР МЕРЕЖКО АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО

Игорь проснулся с острой тревогой, что проспал.

Резко поднялся на разложенном сидении своих «Жигулей», дотянулся до будильника, стоявшего на приборной доске, приложил к уху — будильник стоял.

Зло размахнулся, запустил часы в открытое окошко — они долетели чуть ли не до середины речушки, на берегу которой стояла его машина. Протер глаза и вывалился из «Жигулей».

Был уже полдень. Полянка, на которой расположился лагерь автомобилистов, закрывалась от шумного крупнопанельного города небольшим леском и весело скатывалась к речушке. На небольшой деревянной времянке, предназначенной, чтоб скрываться от непогоды или в случае «особых» дел, виднелся выцветший от времени лозунг: «Мужчина и свобода — понятия неразделимые».

В лагере сейчас было только двое — заболевший профессор Дорофеев и худосочный Лебедев. Лебедев сидел в профессорской «Волге» и отпаивал его бульоном: он был назначен сиделкой к больному Дорофееву.

Игорь подошел к ним, кивнул.

— Проспал? — догадался разговорчивый Лебедев.

— А сколько уже? — мрачно спросил Игорь.

— Четверть двенадцатого.

— Ну и ладно... — Игорь махнул рукой и примостился в ногах у профессора, отхлебнул из чужой чашки кофе. — Перебьемся.

— Свидание?

— Примерно. — Его раздражал Лебедев.

— К тебе, кстати, вечером опять дочка приходила.

— Зачем?

Лебедев взглянул на больного, тот тихо икнул, всхлипнул, и они стали смеяться.

— Ну ты, Игорек, как не родной, — вытирая влажные глаза, пробормотал Лебедев. — Мы все тут не подарки, но ты прямо-таки оригинал... «Зачем?» А зачем дочка может приходиться к отцу?.. Третий раз является и третий раз не может застать любимого папашку.

— Ладно, заглохни!.. Говорила что-нибудь?

— От нее добьешься. Минут пятнадцать поглазела на наш лагерь, спросила, где ты, и ушла.

— Не удивлюсь, если девочка прикидывается, как поджечь наше холостяцкое братство,— слабым голосом заметил больной.

— Ходят слухи, что уважаемый профессор собирается покинуть братство?— повернулся к нему Игорь.

— Знаете, дорогой, собираюсь,— печально подтвердил профессор, неподвижно глядя в потолок автомобиля.— Боюсь... Я ведь семьянин, дорогой мой. Холостяцкая жизнь не для меня... Три месяца пребывания в вашем лагере...

— В нашем лагере!— Игорь брезгливо смотрел на профессора.

— Простите, в нашем лагере. В нашем холостяцком лагере! Жизнь здесь... в этом автомобиле далась мне слишком дорого. Днем в автомобиле, ночью в автомобиле... В автомобиле есть, в автомобиле спать, в автомобиле сходить с ума... я больше не могу...— глаза Дорофеева стали медленно наполняться слезами.— Хочу домой... Хочу к жене, к детям... к внукам!.. Не хочу больше здесь!.. Сыт!..— он боролся с подступающими рыданиями, потом всхлипнул и стал плакать отчаянно и горько.— Простите меня.

— Ну, ну, ну...— Лебедев приподнял седую голову профессора, заставил сделать несколько глотков из термоса.— Ну, ну... Сегодня отправим вас домой.

— Пусть он... пусть Игорь... Будете, Игорь, в городе, позвоните, пожалуйста, моей жене... Скажете, что я... Одним словом, что-нибудь скажите.

Лебедев забрался в карман висевшего на плечиках пиджака, выудил визитку Дорофеева с телефоном, протянул Игорю. Тот спрятал визитку, усмехнулся:

— Бежим, братцы... Как тараканчики с гнилого диванчика. За месяц мы лишились уже четырех бойцов.

— Пяти,— уточнил Лебедев.— Пока вы, сэр, дрыхли, жена увела Кураева.

— Почему это— пока я «дрых»? Что я вам здесь, начальник?! Уж если чем и может гордиться наш сброд, так это полной свободой существования. Хочешь— живи, а хочешь— беги, прижмись к знакомому теплому телу. Никто никого не неволит!— поднялся.— Так сколько на твоих золотых?

— Позолоченных... Половина.

— Ладно, может, успею.

Он вернулся к своим «Жигулям», открыл багажник, вынул из чемодана мятую сорочку, подключил к аккумулятору небольшой утюжок и, пока тот грелся, стал бриться перед автомобильным зеркальцем.

Подождал Лебедев:

— Плачет, никак не может успокоиться.

— Уснет.

— А с кем свидание-то?

— А тебе что?— удивленно повернулся к нему Игорь.

— Может, у нее есть подруга?

Игорь расхохотался.

— Тебе сколько лет, Лебедев?

— Сколько и тебе. Пятьдесят!

Тот перестал смеяться, удивленно посмотрел на Лебедева:

— Неужели пятьдесят?

— А ты думал— меньше?

— Я, Лебедев, давно уже ничего не думаю.

Игорь поставил машину на шумной улице, перебежал к кассам кинотеатра, постучал в окошко.

— Один билет.

— Сеанс уже начался.

— Давно?

— Десять минут.

— Нормально.

Бросился к старушке на контроле, протянул ей билет, она как-то странно взглянула на него, чутко поклонилась:

— Здравствуйте...— И, с интересом поглядывая на Игоря, повела его в зал.

Игорь плюхнулся в крайнее кресло, некоторое время пытался сориентироваться в темноте.

Скоро глаза привыкли, и оказалось, что в зале сидело совсем мало зрителей— десятка два, не больше. Он поднял глаза на экран и от неожиданности вздрогнул— на экране присутствовал не просто похожий на него артист, а двойник.

Артист катил в точно таких же «Жигулях»— даже модель и цвет совпадали,— сидел свободно и легко, дотянулся до рукоятки магнитофона, сделал музыку погромче, взглянул в зал и, как показалось Игорю, свойски улыбнулся и даже как будто подмигнул.

Ладони Игоря вспотели, как перед интереснейшим хоккейным матчем, он быстро пересел к ближнему зрителю, потормошил его:

— Это что, фильм уже?.. Начался, что ли?

— Да, фильм!.. Фильм!— огрызнулся тот.— Не мешайте!

— Простите...— Игорь замер, всем корпусом подавшись вперед.

Артист в «Жигулях» заметил девчонку на проезжей части улицы, силуэт ее показался приятным и заслуживающим внимания, и он стал постепенно забирая вправо. Девчонка была молоденькая, хорошенькая, явно приезжая— у ее ног стоял чемодан. Она отчаянно голосовала.

Артист подкатил точно и плавно.

— Можно?— девчонка открыла дверцу.

— Попробуйте.

Она уложила сумку на заднее сидение, затолкала туда же чемодан, сама уселась рядом с водителем.

— Поехали.

— Есть.

Ехали некоторое время молча. Артист взглянул на попутчицу, улыбнулся:

— С приездом.

— Спасибо.

— Издалека?

— Отсюда не видно.

— Очень приятно... Не мешает?— кивнул он на магнитофон.

— Челентано есть?

— Навалом...— Артист сменил кассету, и в салоне затосковал итальянец.

— *Послушайте...— Игорь перебрался чуть ли не на середину ряда, подсел к мужчине.— Как его зовут?*

— Кого?

— Ну, его... того человека!

— Какая разница?

— *Как это, какая разница?! Имя должно быть у него?! Имя!*

Мужчина оглянулся, внимательно посмотрел на Игоря, странно улыбнулся.

— *Угадайте.*

Артист повернулся к девчонке, спросил:

— Куда едем?

— Сейчас,— она разжала ладонь, прочитала написанные на ней слова:— Улица Примерная, дом двадцать два «а».

— А где это?

— А я почему знаю?

Водитель рассмеялся.

— Вот те раз!.. А как же быть?

— Найдем,— спокойно кивнула она.

— Вы уверены?

— Абсолютно!

Выскочили на оживленную широкую улицу, остановились возле милиционера, и девчонка, сидя в машине, видела, как Артист что-то записывал, а милиционер серьезно и обстоятельно объяснял ему.

— Похоже, это у черта на куличиках.

— Вот видите,— улыбнулась попутчица,— и район уже знаем. «Чертовы куличики»!

Он иронически покосился на нее:

— Однако, острячка.

Промчались через центр города, свернули на автостраду, ведущую в один из новых районов.

— К родственникам или к знакомым?— поинтересовался Артист.

— В общежитие.

— Студенческое?

— Рабочее.

— О!.. Рабочая сила?

— А что?

— Да нет, ничего.

Артист опять остановил «Жигули», вынул из кошелька мелочь.

— Пару минут!—И побежал к телефонной будке.

Девчонка достала из сумки трешку, стала ждать возвращения водителя.

Он мелкой трусцой вернулся к машине.

— Сделаем так. Я вас высажу, и дальше вы сами.

— Нет,— попутчица отодвинулась в угол.— Везите до конца.

— Но я горю!— постучал водитель по циферблату.— Через полчаса у меня свидание!

— Все равно не выйду. Хватит, меня уже покатали одни дурачки для юмора по городу. Деньги могу дать вперед.

— *Идиот, да?— Игорь снова затормозил сидящего впереди.— Пинок под зад, и вопрос решен!.. Правда идиот?*

— *Вам виднее...— не оглядываясь, бросил мужчина.*

— *Конечно, виднее. Я в таких ситуациях не чикаюсь!.. Их много, а я один...— Он повертел головой, оглядывая зрителей.— А вы не обратили внимание... я опоздал. Тут такая блондинка... Высокая, красивая.*

Мужчина поднялся и пересел на другое место.

— *Бо-оже!— крутнул головой Игорь.— Нервные все какие. Даже неприятно,— и снова повернулся к экрану.— Поехали дальше!..*

— А кто ждет вас в общежитии?— спросил Артист, чтобы не молчать.

— Подруга.

— Молоденькая?

— Не очень. Двадцать четыре.

— Да, это уже старушка.

— На себя поглядите,— хмыкнула она.

Он взглянул в зеркальце, удивился:

— А что?

— Ничего. В таком возрасте и еще свидание. Небось, не с женой свидание?

Водитель поджал губы.

— Что свидание не с женой— верно. Теперь попробуйте угадать возраст. Сколько?

— Много. Уж никак не моложе моего отца.

— А отцу сколько?

— Сорок два.

— Один к одному. Мы с твоим папашей ровесники.

— Очень приятно. Но он на свидания к чужим женщинам не бегаёт.

— Умница!— с серьезным видом цокнул языком Артист.— Вот за это твой папа молодец!

Район был новый, крупноблочный, с большими цифрами на домах, указывающими номера и корпуса, и до дома 22-а надо было еще ехать.

— Мама, как и папа, тоже старенькая? — спросил водитель.

Девчонка с неудовольствием покосилась на него.

— Мама — молодая.

— Ну да, — засмеялся он. — Мама всегда молодая. Почти как вы.

— А что вы смеетесь? — обиделась она. — Когда мы рядом, непонятно, кто из нас старше.

Миновали корпус 22, свернули в глубь массива, попетляли по дворам и дорожкам и оказались, наконец, возле дома 22-а. Он был длинный, белый, двенадцатизэтажный, ничем не отличающийся от прочих.

— Тпру-у. Приехали! — Водитель отстранил потную ладошку с зажатыми рублями, укоризненно покачал головой. — Не надо обижать старичков... Гуд бай, маленькая!

«Маленькая» принялась вытаскивать сумку и чемодан, застряла.

— О, горькая судьба доброго человека! — Артист выбрался из «Жигулей». — То извозчик, то носильщик, а то еще черт знает кто.

Выволок вещи, отстранил девчонку и направился в подъезд.

Пожилая неприветливая женщина с повязкой на рукаве строго поинтересовалась:

— К кому, молодые люди?

— К Снегиревой... Тамаре! — выступила вперед девчонка.

— Снегиревой нет. Уехала.

— Как... уехала?

— То ли поездом, то ли самолетом — не интересовалась. Отдыхать! И будет не скоро.

— Но ведь... Я ведь приехала.

— Приедете еще раз, когда Снегирева вернется.

Артист коротко засмеялся, девчонка резко оглянулась.

Он обратился к вахтерше:

— Глубокоуважаемая... Дело в том, что...

— Ничего не знаю! — отмахнулась она. — Мое дело сидеть и смотреть! Остальные вопросы к коменданту, а его сегодня нет. И завтра не будет. Выходной!

— Но дело в том, что человеку, как я понимаю, просто некуда деваться!

— Нет Снегиревой! Телеграмма на ее имя пришла, а вручить, например, некому.

— Разрешите? — попросил телеграмму Артист и вслух прочитал: — «Встречай четырнадцатого поезд девяносто три вагон одиннадцать Вера».

— Это моя телеграмма, — сказала девчонка.

— Человек приехал работать!.. Правильно я говорю? — внушительно сказал Артист вахтерше.

— В понедельник! Суббота и воскресенье выходные, а в понедельник выйдет начальство, и пусть человек с ними разбирается! — отрезала та и отвернулась.

Снова загрузили чемодан и сумку на заднее сидение, уселись сами, и девчонка сказала:

— На вокзал.

— Так сразу?

— Так сразу.

— Так сразу, Верочка, не получится. По пути мы должны заскочить еще на свидание, на которое я, судя по всему, уже опоздал.

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Из телеграммы, сударыня.

— Хорошо, давайте на свидание.

Они выбрались на улицу, развернулись в обратную сторону и помчались быстро и весело.

— А вас как зовут? — спросила Вера.

— Так, как звали великого князя Киевской Руси.

— Олегом?

— Игорем.

Игорь оцепенел.

— Как?.. Как он сказал?!

— Да прекратите же, честное слово!..

Надоело, в конце-концов!

— Нет, как он сказал?.. Имя!.. Или я ослышался?

— Игорь!.. Князь Игорь!

— Благодарю.

— Псих какой-то.

Игорь вытер взмокший лоб, пальцы его впились в подлокотники.

— С ума можно сойти, вы правы.

На экране смеялись.

— «Князь Игорь и Ольга на холме сидят, — декламировала Вера, — дружина прирует у брега»!.. Из школы еще!

— Князь Игорь и Вера в машине сидят, тихонько балдеют от бега!.. Это из наших будней, — скаламбурил ИГОРЬ и сделал музыку потише. — Кстати, как Верочка относится к стихам?

— К каким?

— К хорошим, естественно.

— Сама когда-то сочиняла.

— Прекрасно!.. В таком случае, послушайте! — Он уменьшил громкость, набрал в грудь воздуха и, чуть нараспев, начал:

Серый монотонный дождь идет...

Влажный воздух бледнофиолетов.

Все в тебе и мокро и темно,

А душа пылает жарким светом!

Похудевший мокрый воробей

Думает о подлой мокрой доле.

А в груди теснится все сильней —

Хочется хорошего до боли.

Серый монотонный дождь идет...

— закончил, многозначительно посмотрел на попутчицу. — А?

— Что-то знакомое, — сказала она. — Помоему, тоже в школе проходили.

ИГОРЬ расхохотался.

— Нет, Верочка, нет! Хоть дьявольски приятно, но—нет! В школе пока еще этого не проходят. Со временем, конечно, будут проходить, а пока—нет. Это мои стихи. Личные!

— Вы—поэт?

— А почему с таким недоверием?

— Обманываете, наверно?.. А фамилия?

— Фамилия?—ИГОРЬ остановил «Жигули», стал копаться в багажнике.—Фамилию сейчас прочтаете. Напечатанную, типографскую, официальную.— Нашел, наконец, какие-то газетные клочки, перебрал их.— Читайте!.. Наша областная газета!

Она пробежала глазами напечатанные строки, внизу прочтала:

— ИГОРЬ Чернов... Чернов?

Игорь обрадованно засмеялся.

— *А я не Чернов. Я наоборот—Белов!.. Теневой вариант, так сказать. Так что спокойно, господа!—оглянулся, извинился.—Тихо!.. Самому интересно. Вперед, Чернов!.. Мы—целиком и полностью на твоей стороне!.. Шпарь!*

ИГОРЬ читал:

Над рекою зарева горенье,
Яблочная свежесть ветерка...
Я иду по мостовой бульжной
В розовой прохладной тишине,
Из-за палисадов тянут вишни
Ветви запыленные ко мне.

Место свидания находилось возле Главпочтамта.

ИГОРЬ припарковался на противоположной стороне, бросил Вере:

— Пять минут!—и, петляя между мчащимися легковушками, побежал к входу Почтамта.

Огляделся, прошелся туда-обратно, купил в киоске ненужную газету, полистал и тут же выбросил в мусорный ящик. Снова огляделся—знакомой фигуры видно не было.

Собрался бежать обратно, и тут его окликнули:

— ИГОРЬ!

К нему направлялась незнакомая девушка. Подошла, протянула руку:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте,—ответил он с некоторым удивлением.

— Приходила за корреспонденцией, увидела вас, обрадовалась. Вы меня не помните?

— Вас?.. Лицо знакомое, но что-то не припоминаю.

— ИГОРЕ-ЕЧЕК, не стыдно?

— Стыдно.

— Наташа... Вы позавчера назначили мне здесь свидание. В семь!

— Ах, да!.. Наташа!—всплеснул руками ИГОРЬ.—Конечно, вспомнил. Ну, как же!.. Я к вам подрулил, и мы договорились.

— Договорились, а вы не пришли.

— Опоздал. Вон видите,—показал он на свою машину,—племянница из Владивостока.

— О!.. Так издалека?!

— Страна огромная, родственников много. Приходится денно и ночью развлекать... Минут на сорок опоздал. Как у вас, допустим, завтра?

— Но ведь опять опоздаете.

— Племянница завтра днем тью-тью, и я свободен, как горный орел. Завтра в семь. Идет?

— Здесь же.

— Здесь мой дом.

— Постарайтесь не опоздать.

— Приложу все усилия.

— До свидания, ИГОРЕК.

— До встречи, милая.

Игорь азартно потирал ладони, смеялся.

— *Умничка!.. Молоток!.. С ними так только и надо!.. Они по-другому не понимают!..—Оглянулся, поднял руку, приветствуя кого-то невидимого.—Счет в нашу пользу!.. Так держать!*

Девушка удалилась, ИГОРЬ проводил ее взглядом, перебежал на противоположную сторону улицы, нырнул в машину.

— Племянницу встретил,—сообщил Вере.—Город безмерный, даже родственников и то теряешь.

— А свидание?

— На вашей совести.

— Ничего, отдохнете.

— Да уж придется.

Поехали на малой скорости, ИГОРЬ о чем-то сосредоточенно думал, крутя ручку приемника, потом решил:

— Теперь в редакцию. Надо накрутить там хвосты.

— А на вокзал?

— После редакции. Что-то они тянут с публикацией новой подборки.

Редакция располагалась в большом здании красного цвета. ИГОРЬ выбрался из «Жигулей», открыл дверцу с Веринной стороны.

— Прошу следовать за мной. Все-таки надо представлять, с кем свела вас судьба.

Поднялись по ступенькам, прошли через дверь-вертушку, и перед лифтом их остановила дежурная:

— К кому, товарищи?

— В отдел культуры,—бросил ИГОРЬ.

— По какому вопросу?

— А в чем дело?

— В том, что одни люди работают, а другие им мешают. Да еще с хахальшей.— Дежурная нашла в списке телефон отдела культуры, набрала номер.— Товарищ Мануйлов?.. Тут к вам гражданин с девушкой рвется— так пускать или нет?— Обратилась к ИГОРЮ:— Ваша фамилия?

— Чернов... Поэт Чернов!

— Поэт, говорит... Чернов... Ага, поняла.— Она положила трубку, захлопнула дверь лифта.— Пускать не велено.

— Дайте я сам поговорю.

— Не положено!

ИГОРЬ психанул:

— Да что вы в самом деле!.. Что я вам— мальчик!— И попытался войти в лифт.

— Не хулиганьте,— спокойно предупредила женщина.

— Отойдите! Я здесь не в первый раз!— ИГОРЬ попытался отодвинуть дежурную.— Верочка, заходи!

Женщина загородила собой лифт, достала из кармана свисток.

— Вы что, в своем уме?!

Свист стоял оглушительный, и в длинном коридоре уже слышались торопливые шаги.

— Ладно, пошли.— ИГОРЬ схватил Веру за руку, потащил к выходу.— Черт с ней... Идиотка!

— Козел!— крикнула ему вслед дежурная.— Старый козел!.. Она ему в дочери годится, а он спутался... Поэт шалапутный!

Они торопливо втиснулись в машину и сразу рванули с места.

— Ладно... я с этим... с «товарищем» Мануйловым разберусь.— Включил музыку, взглянул на попутчицу.— Итак, на вокзал?

— На вокзал.

Игорь вытер ладонью влажные глаза, возмущенно крутнул головой.

— Сволочь... Гнусная дрянь!..— слезы душили его.— Кто ты такая, чтоб возникать?! Вполне солидный человек— нет, надо возникать. Каждый должен быть начальником, каждый должен показать свою власть!

— Я не могу,— шумно вздохнула полная дама в шляпке и предложила своим друзьям:— Давайте пересядем...— Они дружно направились на свободные места.

— Ох-хо-хо! Какие мы обидчивые.— Он огляделся, заметил одинокую девушку— по силуэту весьма ничего— стал пробираться к ней.

— Здравствуйте,— сказал, подсаживаясь.— Не помешаю?

Девушка— действительно, весьма ничего— взглянула на него, дернула плечиком.

— Вам не скучно одной?

— А я не одна.

— С кем же?— не понял Игорь.

Из-за нее выглянул парень, ответил басом:

— Со мной.

— Простите,— смутился Игорь, пересел на одно место подальше и снова стал следить за своим тезкой.

ИГОРЬ остановил машину, нашел двушку и своей обычной трусцой побежал к телефонной будке.

Вера отыскала в сумке сухую булку, принялась с хрустом жевать, наблюдая, как неожиданный ее благодетель смеялся, весело болтал с кем-то по телефону.

Повесил трубку, вернулся на место, и Вера молча протянула ему кусок булки. Он тут же вгрызся в нее зубами.

— Знаете, нас уже ждут.

— Кто?

— Приятель. У него мы сможем пополнить энергетические ресурсы.

Вера отложила булку.

— Не поеду.

Он тоже перестал жевать.

— Объясните.

— Не поеду! Откуда я знаю, что за человек ваш приятель?

— Но ведь я с вами!

— А я и вас не знаю.

— Здраствуйте.

— До свидания. Подумаешь, повез туда, привез оттуда.

— Да я полдня угрохал на вас!

Вера полезла за кошельком, вынула пятерку, положила на сиденье.

— Во-первых, не только на меня, а, например, еще на то, чтоб вытурили из редакции. А во-вторых... Пять рублей хватит?

— Мало.

— Сколько?

— Все.

Она затолкала пятерку обратно в кошелек, попыталась выбраться из машины:

— Перебьешься.

Вера увидела его руку, которой он придерживал ее, предупредила:

— Буду кричать.

Он засмеялся.

— Вот этого не надо. Этого я не люблю. Привет!

Попутчица выбралась на тротуар, выволокла свои вещи и, пройдя несколько шагов вперед, стала голосовать.

ИГОРЬ постоял какое-то время, понаблюдая за ее действиями, затем включил скорость и с бешеным ревом сорвался с места.

— Деревня!

Через пару кварталов подрулил к тротуару, выбрал свободную телефонную будку, набрал номер:

— Дочь?.. Привет!

— Привет, папа,— ответила дочь.

— Чем занимаешься?— спросил ИГОРЬ.

— Готовлю уроки. А ты?

— Я?.. Готовлю в редакции стихи. Я из редакции.

Дочь засмеялась:

— Вот видишь. Я готовлю, и ты готовишь.

— В этом мы с тобой, малыш, действительно похожи. А где мама?

— У тети Ларисы. Позвать?

— Не стоит, я перезвоню. Если не дозвоюсь, передай, что у меня все о'кей.

— Папа!

— Что, дочь?

— Я давно уже тебя не видела.

— Ты в этом не оригинальна. Я тоже давно не видел тебя.

— Вчера я опять была в вашем лагере.

— Мне сказали.

— Как тебя застать?

— Понятия не имею. Каждый вечер читательские конференции по моим стихам. Поэтому возвращаюсь поздно.

— Все же я не теряю надежды увидеть тебя.

— Я тоже не теряю надежды. Чутьочку разгрузюсь и обязательно навещу тебя. Целую!

ИГОРЬ повесил трубку, опустил в желобок следующую монету, но остановился, в раздумье покачался с носка на пятку, вынул двушку, вышел из будки. Увидел на углу продавщицу пирожков, купил пару, вернулся в машину и, глядя заигнотизированно в одну точку, стал жевать. Выгтер замасленные губы, выбросил бумажку в форточку, завел двигатель—и все это механически, не сводя глаз все с той же, только ему видимой точки.

«Жигули» медленно поползли вдоль тротуара.

Игорь высморкался в платок, перегнулся к девушке:

— У меня тоже дочь... На нее похожа...—промокнул глаза, спросил:— Не знаете, буфет здесь есть?

Она молчала.

— Может, и вам прихватить пирожочек?... У меня, например, червячок зашевелился.

— Послушай, мужик,—задвигался за девушкой парень.—Может, хватит?

Игорь поднялся и, пригибаясь, пошел к выходу.

После темноты смотреть в светлом фойе глазам было больно, он услышал гулкие голоса, двинулся в их направлении. Массивная высокая дверь в дальнем конце фойе была чутьочку приоткрыта. Игорь осторожно заглянул туда и увидел девушек—больших, рослых, красивых—гоняющих баскетбольный мяч в просторном спортзале.

Одна из баскетболисток резко остановилась, увидела подглядывающего мужчину.

Он улыбнулся ей, подмигнул, поманил пальцем, стуча по циферблату часов.

Дверь тут же закрылась. Игорь хохотнул и направился к маленькому уютному буфету.

Купил четыре пирожка и, жадно жуя, зашпешил снова в кинозал.

В длинных очередях возле касс вокзала Веры видно не было.

ИГОРЬ обследовал очередь возле буфета, изучил лица пассажиров, сидящих на бесчисленных скамейках, потолкался возле газетного киоска и вышел на перрон. Собрался было уже вернуться к своей машине и тут увидел ее.

Вера сидела в скверике напротив и так же, как он недавно, жевала пирожки.

Игорь нацупал свободное место, занял его, почувствовал, что рядом кто-то сидит. Пригляделся. Девушка тоже взглянула на него, улыбнулась:

— Приятного аппетита.

— Благодарю,—он чуть не подавился.— Не желаете?

— Нет, нет. Спасибо...

— Свежайшие.

— Спасибо, я съта...—она наклонилась к нему, попросила:—Давайте посмотрим, что там дальше.

— Вам нравится?

— Ничего.

— А мне нравится, что она тоже ест пирожки...—Игорь засмеялся.—Пирожки здесь, пирожки там.

— Давайте смотреть...

ИГОРЬ сделал небольшой круг, зашел со спины, приблизился вплотную к девушке и гаркнул над самым ухом:

— Приятного аппетита!

Вера в испуге отпрыгнула, ошалело посмотрела на шутника.

— Вы что?!

Он смеялся.

— Мы-то ничего, а вот вы что? Что вы здесь делаете?

Она не ответила, уселась на скамейку и принялась с ожесточением доедать пирожки.

ИГОРЬ присел рядом.

— Пирожки жевал я в сквере и мечтал о милой Вере!.. В сердце рвались злые звери...

— Плотней закройте двери!—дополнила Вера и засмеялась.

— Bravo-bravo!—захлопал ИГОРЬ.— Прекрасно. Поверьте, в вас бродит поэтический дух.—Помолчал, серьезно сказал:— Мне плохо без вас. Только не смейтесь... Мне плохо без вас.

Она все же засмеялась.

— А мне без вас хорошо.

Игорь проглотил последний кусок пирожка, наклонился к соседке:

— *Послушайте, а давайте поженимся!*

Она удивленно взглянула на него, засмеялась.

— *Прямо сейчас?*

— *А почему бы и нет?.. Я готов!*

— *А я пока еще нет...*

Вера повернулась, внимательно посмотрела на ИГОРЯ.

— Вы женаты?

— Я похож на человека, способного в юности не совершить роковой ошибки?

— Дети тоже есть?

— Дочь!

— Большая?

— Достаточно. Почти пятнадцать.

Она помолчала, спросила серьезно и едва слышно:

— У вас что-то не в порядке?

ИГОРЬ дурашливо наклонил голову и подставил под руку девушки.

— Пожалейте несчастного.

Вера осторожно, едва-едва коснулась лысеющей, седоватой головы, поднялась:

— До приятеля ехать далеко?

Он тоже поднялся, удивленно уставился на нее:

— Да так... не очень.

Поднялись в лифте, подошли к высокой, обитой дерматином двери. ИГОРЬ почему-то подмигнул Вере и нажал на кнопку. Из квартиры доносилась на полную мощь музыка.

Дверь открылась, и на пороге предстал мужчина—высокий, небритый, в длинном махровом халате, возраста тоже за сорок.

— Поэт!—воскликнул он.—Ты на своем драндулете за эти два часа небось обмотал все назначенные на сегодня свиданки!—И двинулся в глубь квартиры, пританцовывая в такт музыке.—Дверь на всякий случай прикройте!

ИГОРЬ ввел Веру в прихожую.

— Проходи и слушай меня,—сказал он негромко.—Его не бойся. Он добрый, шумный и... немного глупый. Вернее, бестактный. Но это, как говорится, на всю жизнь. Как размер головного убора. А так—мужик что надо.

— Сообщаешь обо мне гадости?—прогремел из комнаты голос хозяина.

— Всего лишь необходимую информацию.

Вошли в комнату, и ИГОРЬ представил девушку:

— Знакомься—Вера.

Хозяин перестал пританцовывать, пожал протянутую руку.

— Вера без надежды и любви?

— Старый!—ИГОРЬ поцеловал вторую

руку Веры.—Счастливое исключение. И с надеждой, и с любовью!

— Я—сражен!—Хозяин тоже поцеловал руку, поинтересовался:—Скажите, прелестная Вера... Ваш друг успел сообщить, что я добрый, шумный и немного глупый, как размер шляпы?

Она взглянула на ИГОРЯ, смутилась.

— Старый, это нечестно!—попробовал вмешаться тот.

— Молчать, Поэт!—Хозяин снова поцеловал руку.—Теперь говорю я. Слушайте, прелестное дитя. Ваш друг—феноменален. Мужественный, спокойный, невероятно умный. И если меня не надо бояться, то его—обязательно. Бойтесь и бегите. Бегите, пока не поздно...

— Старый...

— Молчать, Поэт!.. Кочумай! Оправдание или перед судом, или перед совестью!

— Но ведь ты убил меня. Убил на глазах этой девочки.

— Тебя убить невозможно. Ты—птица Феникс!

Зазвонил телефон.

— Кстати, тебе звонили,—кивнул хозяин на телефонный аппарат.—Возьми, думаю по твою душу.

— Кто звонил?

— Голосок.

— Не жена?

Хозяин захохотал, легко обхватил Веру и, преодолев ее нежелание, пошел танцевать.

ИГОРЬ снял трубку.

— Вас слушают. Здравствуйте... Я у телефона. Леночка?.. Ах, прости, Алиса, я тебя не узнал... Татьяна?.. Фу, черт, совсем запутался. Привет, Танчик, извини, что не сразу сориентировался. Здравствуй, дорогая... Что-нибудь случилось? Да куда я не пропал, просто дела. Готовлю сборник стихов.

Хозяин громко захохотал:

— Прокол, братцы!.. Прокол!

— Это телевизор,—сказал в трубку ИГОРЬ.—Что-то смешное показывают. Вторая программа... А как ты узнала этот номер? Я тебе давал? Не помню... А домой зачем звонила? И что тебе ответили?—Он засмеялся.—Жена у меня с чувством юмора. Ты постарайся, деточка, больше туда не звонить. Когда?.. Позвони мне завтра в это же время по этому телефону.

— Сюда звонить запрещаю!—крикнул хозяин.

— Хотя нет, сюда не надо,—тут же переиграл ИГОРЬ.—Давай лучше мы встретимся. Завтра!.. Возле Главпочты. Салютико!

Он положил трубку, азартно потер ладони:

— Итак, какова наша дальнейшая программа?

— Поэт!

— Не называй меня так. Поэт—не кличка, а призвание.

— Поэт! У тебя страшное будущее. Пройдут годы, ты состаришься, и на каждом углу тебя будут поджидать тоже старенькие, обманутые тобой поклонницы, и будут лупить тебя жесткими черными зонтиками. Нарисуй себе, пока не поздно, этот кошмар.

ИГОРЬ уселся в глубокое кресло, забросил ногу на ногу, некоторое время наблюдал, как выдвигал сомнамбулические па его друг и как нелепо топталась рядом Вера, произнес:

— Я и без вашей подсказки, сэр, достаточно часто рисую себе этот кошмар,— резко поднялся, направился на кухню.— Все это прекрасно, если бы не хотелось так есть... Отец, сообрази что-нибудь на стол!

Они перешли в кухню. Хозяин усадил Веру на стул.

— Твоя подруга,— пожаловался он,— молчалива, как египетская мумия,— и обратился непосредственно к ней:— В чем дело? Почему вы молчите, прелестное дитя?

Она улыгнулась.

— А о чем говорить?

— Тоже верно. О чем говорить, если и без слов все понятно.

— Она молчит от бессилия,— объяснил ИГОРЬ.— Много ли наговоришь от сухой булки на двоих?

— Всем, чем богат!— Хозяин распахнул холодильник, показал на пустые полочки и кучку картошки в уголке.— Но в основном, как видите, овощной стол.

— Масло есть?—спросила Вера.

— Как выразилась бы наш Поэт: без масла жизнь угадла б!— Хозяин выгнул из морозилки небольшой пергаментный сверток, поставил на плиту сковородку.— Все в ваших руках, кудесница!

Снова зазвонил телефон.

— Поэт, не сходи за труд!

ИГОРЬ удалился, и хозяин торопливо забормтал Вере:

— Кстати, мы ведь еще не познакомились...

Она отодвинулась, перестала чистить картошку.

— Уже...

— Наполовину. Вы, например, даже не знаете моего имени. Борис!.. Или в близком контакте—Боб!—Он взял руку Веры с ножом, поднес к губам.— Жены пока нет... будет отсутствовать еще три дня... можете располагать жильем на свое усмотрение.

Появился ИГОРЬ, пригрозил пальцем.

— Старый, кончай. Вещь не твоя—положь на место.

— Пардон, пардон,— отступил тот.— Всего лишь проверка на прочность. Кто звонил?

— Положили трубку.

— Будем считать, проверка слуха.

— Боб!—оглянулась Вера.— А вы тоже—поэт?

Борис в ужасе замахал руками.

— Ни-ни... Не приведи и сохрани. Не дай боже!—вытянулся в струну, опустил руки по швам.— Перед вами—его величество музыкант!

ИГОРЬ засмеялся.

— Смеется,—показал на него Борис.— Знаете, почему он смеется? Дескать, я такой же музыкант, как он поэт. Но—музыкант! Играю, убожаю, получаю, в конце концов, средства к существованию.

— Ну, если дело в этом...

— И в этом тоже. По крайней мере, не шарю по чужим холодильникам.

— Прости, это—намеки?

— Почему—намеки? Прямая правда. Да, я играю в ресторане, да, я работаю для соответствующей аудитории, да, я музыкант определенного уровня, но это мое место на этой земле, и я доволен им!.. Не мучаюсь, не страдаю, не схожу с ума, не разрушаю чужие жизни, не шарахаюсь из стороны в сторону. Живу и даю жить другим! А ты?.. Блистательный инженер-теплотехник! Эпатирующий художник-абстракционист! Поэт-ниспровергатель, автор трех публикаций в газете! А что дальше? Дальше что? Изобретатель велосипеда в виде сардельки? Модельер дамской одежды вообще без одежды? Путешественник от Прибалтики до Дальнего Востока летом на лыжах? Каков твой следующий зигзаг?.. Ведь поэзия не остановка, поэзия—этап на пути к чему-то. Но к чему?.. У тебя ведь даже нет дома!.. Знаете, деточка, где он живет? В автомобиле!.. Его дом—на колесах!.. Удобно, не так ли? Проснулся, поехал. Приехал—уснул. Ни мебели тебе, ни коммунальных затрат, ни ответственности! Ни за жену, ни за дочь, ни за себя! Главная забота—лишь бы автомобиль катился, лишь бы он не сломался!

— Подонок...—тихо произнес Игорь и заскрежетал зубами.—Какой все же подонок.

— Что?—не расслышала девушка.

— Друг этот... музыкант... Какая все же стерва.

— Ну, почему?.. По-моему, он правильно говорит. Он же не человек уже, он—паразит.

— Эй, вы!.. Может, все же поосторожнее? Не вам знать, паразит он или человек!.. Он чище всех вас вместе взятых!.. И ни слова больше!

— Ты—жестокый,— еле слышно произнес ИГОРЬ.—Ты очень жестокий.

Вера стояла спиной к ним, стояла неподвижно.

— Я добрый!—ткнул себя в грудь Борис.—Добрый, потому что люблю тебя, и ты—мой друг. Единственный!.. Я страдаю, и ты мне безразличен!—Он схватил Веру за руку, потащил в гостиную, показал на стену, сплошь увешанную картинами.— Вот это все... все это он! Места не хватает, стены мало! Пять лет его жизни ушло на эту мазню! А кому нужно? Собаке под одно место. Под хвост собачке!

Вера молча оглядела картины—путаные, непонятные, цветастые—повернулась к хозяину, сильно и молча ударила ладонью по лицу и также молча двинулась на кухню.

— Умница!.. Молодчина!—выкрикнул Игорь и даже заплодировал.—Поступок что надо!..

— Вы что?—дернула его девушка.

— Ничего!.. Хорошая девчонка, настоящий друг!

— Выведите его!—крикнул кто-то.— Или пьяный, или сумасшедший!

— Спокойно!.. Не надо вешать ярлыки!

Сзади подошла старушка-контролер, тихо попросила:

— Пожалуйста, не надо... Сидите, пожалуйста, спокойно.

— Ладно, буду сидеть. Извините.

Было тихо, только шелестела вода в мойке да скрипел нож, которым Вера чистила картошку.

— Прости, друг, я был не прав,—сказал Борис.

ИГОРЬ поднял голову, улыбнулся:

— Уже простил.

Тот протянул к нему ладонь, и друг хлопнул по ней своей ладонью.

Раздался звонок в дверь—прерывистый, какой-то очень условный. Борис насторожился.

— Чуваки, атас,—он даже привстал.— Что-то очень знакомое.

Звонок повторился—такой же, но более настойчивый.

— Этого не может быть.—Борис с растерянной улыбкой посмотрел на ИГОРЯ, затем на Веру.— Чья-то дешевая хохма... До возвращения Светки еще целых три дня.

Звонок прозвучал снова.

— Жена!.. Клянусь, жена!—зашептал Игорь.—Накрыла мальчиков.

— Откуда вы знаете?

— Знаю.

— Уже видели фильм?

— При чем тут—видели? Смотрите!

— Нет, это уже не хохма!—Хозяин шагнул из кухни в прихожую, оглянулся.— Прелестное дитя, оставьте кулинарные за-

боты на время, присядьте рядом с другом и ждите моего возвращения.

Он вышел, Вера повернулась к ИГОРЮ:

— Уйдем отсюда.

— Куда?

— Куда-нибудь. Уйдем?

Из прихожей донеслись голоса—мужской и женский. ИГОРЬ прислушался, шепнул:

— Жена.

— Уйдем?

— Сиди.

На пороге кухни возник бледный и растерянный Борис, торопливо скомандовал:

— Смывайтесь! Пока она там—смывайтесь!

ИГОРЬ и Вера поднялись почти одновременно, на цыпочках добрались до прихожей, и тут им навстречу выринула Светка—высокая, красивая, загорелая.

— О!—воскликнула она.—Привет!

— Приветик, Светик,—улыбнулся неловко ИГОРЬ.

— Здравствуйте,—Вера пыталась снять затянувшийся узлом передник.

— Боб!—повернулась Светка к мужу.— А ты сказал, что дома один.

— Почти один,—замялся тот.— Сейчас они уйдут. Они как раз собрались уходить... буду один. Вернее, вдвоем. С тобой!

— Да бросьте вы, мальчики! Какие могут быть к вечеру дела?... Девушка, уговорите своего мужчину остаться. ИГОРЬ!

— Он не мой мужчина,—серьезно возразила Вера.

— А чей же?

— Ее, ее,—поспешил подтвердить Борис.—Я тут не при чем.

— Он действительно тут не при чем,—кивнул ИГОРЬ.—Это моя племянница, а я—дядя. По маминой линии... Нам пора!

— Ну что вы, мужики?—Светка была искренне огорчена.—Какие еще у вас дела? Я бросила все, примчалась на три дня раньше положенного, соскучилась, как зверь, по этому... по этой неряхе, а вы... ИГОРЕК, ты же свой парень. Посидим, поговорим, поужинаем. И племяннице будет интересно... Боб, ну скажи им!

— ИГОРЬ, и правда,—произнес тот неуверенно.—Может, тормознешь?

— Нет, други!—поднял ладони ИГОРЬ.—Увы, но нет. Племяшке через час на паровоз, а мне... у меня тоже забот невпроворот...

... На улице уже был вечер—тихо, тепло, сумрачно.

ИГОРЬ смахнул с капота упавшие листья, открыл машину, и когда Вера тоже уселась, улыбнулся:

— Ну что, племянница?... Будем утрясать ваши дела?

— Вам, наверно, пора домой?

— Разве вы не слышали, что у меня нет дома?

— Я думала, он шутит.

— Он говорит правду. Вот мой дом... Автомобиль!.. Удобно, правда? Дом на колесах. Хочу—живу в центре города, хочу—на окраине. Ни мебели, ни семейных сцен, ни обязательств—полная свобода жизни!

— Не понимаю.

— Сейчас поймете. Сейчас поедем в наш поселок—там много таких, как я—увидите собственными глазами, поймете...—ИГОРЬ сделал попытку завести машину.—Но по пути заедем в одно местечко.

Игорь раздраженно задвигался, скомкал бумажку от пирожков.

— Бодяга... Полная бодяга пошла,— повернулся к соседке, предложил:— Давайте уйдем?

— Почему?

— Потому что, во-первых, вы мне нравитесь...

Она смеялась.

— А во-вторых?..

— Во-вторых, неужели вам интересно смотреть эту ерунду?

— Интересно.

— А мне ни грамма. Где вы, например, видели, чтоб человек жил не дома, а в машине.

Девушка повернула к Игорю голову, и он от неожиданности вздрогнул—это было лицо той девушки, что жила сейчас на экране.

— Видела.

— Пардон...

Он, не сводя с нее глаз, тихо поднялся и стал пятиться назад. Нащупал пустое место, сел. Игорь колотил озноб.

Машину ИГОРЬ загнал в темный двор, подфарники выключил, сказал Вере:

— Максимум пятнадцать минут.

— А куда?

— Потом объясню,—и вышел из машины.

Вера попробовала включить музыку, но ничего не поняла в кнопках да к тому же было темно. Подняла, опустила стекло, потом услышала чьи-то шаги сзади, торопливо снова подняла стекло, нажала на кнопку замка.

За стеклом возникло лицо девочки-подростка,

— Откройте.

Вера не шелохнулась, хмуро смотрела на незнакомую особу.

— Откройте,—повторила девочка.— Кнопочку поднимите и откройте.

— Зачем?

Девочка дернула плечиком:

— Затем, чтоб я могла сесть.

— Ты одна?

— Конечно.

Поколебавшись, Вера подняла кнопку на

задней дверце. Незнакомка проворно забралась в салон.

— А папа где?—со вздохом спросила девочка.

— Папа?!

— Папа...

— Нету.

— Вижу, что «нету».—Девочке было лет пятнадцать, не больше.—Скоро, наверно, вернется?

— Сказал—через минут пятнадцать.

— Пятнадцать минут подождем.

Игорь поднялся и быстро вышел из зала. В фойе сел на скамеечку, сжал ладонями виски, замер, чтоб ничего не видеть, ничего не слышать.

Кто-то тронул его за плечо. Перед ним стояла старушка-контролер со стаканом воды в руке.

Игорь жадно выпил.

— Благодарю.

— Может, вам на воздух?

— Нет, нет...—Он поднялся и быстро зашагал в зрительный зал. Бросил взгляд в приоткрытую дверь спорткомплекса—там уже, гремя и пыхтя, тренировались тяжелоатлеты.

Игорь пошел вдоль рядов, приглядываясь к лицам. Вот здесь, именно здесь должна была сидеть та девушка.

— Товарищи...

— Да сядьте вы наконец, черт побери!

— Тут должна была сидеть девушка.

— Сядьте!—кто-то толкнул его.

— Вы что?

— Сядьте!

Он от возмущения и обиды крепко сжал кулак, потряс им в воздухе и сел на свободное место.

— А вы кто?—спросила Вера девочка.

— Вера... А ты—дочка?

Она засмеялась.

— Конечно... Кто ж еще может так нахально влезть в чужую машину?

— А зовут тебя как?

— Лана.

— Интересное имя.

— Ничего интересного... Светлана, а коротко—Лана. А ты как попала к моему папе?

— Как?.. Никак... Сначала подвез, а теперь ездим. Помогает мне.

— Он всем помогает.

— Добрый, да?

— Несчастный.

Помолчали.

— Выскочил и побежал. Сказал, на пятнадцать минут.

— Домой побежал. Берет деньги из моей копилки, а я делаю вид, что не замечаю,—спокойно сказала Лана.

— Зачем... берет?

— Затем, что без денег. Он же не работает.

— А стихи?

— Разве это работа. Видимость...

— Ну да, видимость!—возмутилась Вера.— Стихи—это еще какая работа. Знаешь, что Маяковский сказал?..

— Мой папа—не Маяковский,—тихо ответила Лана.

Опять помолчали.

— Ты его любишь?—спросила Вера.

— Очень. А ты?

— Почему я должна его любить?

— Потому что в него всегда такие, как ты, влюбляются.

— Какие?

— Случайные. Ты ведь случайно с ним познакомилась?

Вера хмыкнула.

— Уж я-то в твоего папочку не влюблюсь. Будь спокойна!

Лана внимательно посмотрела на нее, усмехнулась:

— Ну и правильно.

— Конечно, правильно. Помогает—спасибо, а больше мне от него ничего не нужно.

— А мне нужно... Нужно, чтоб он был со мной. И с мамой...—прислушалась, открыла дверцу.—Кажется, бежит... Не говори, что я была здесь.—Выскользнула из машины и исчезла в темноте двора.

Через секунду оттуда вынырнул ИГОРЬ, радостно плюхнулся на свое сидение, взял руку «племянницы», поцеловал.

— Несколько не пунктуален, но на то были веские причины.

Она не шелохнулась.

— Что-нибудь случилось?.. Испортилось настроение?.. Заждалась?

Вера молчала.

— Ну, что ты?.. Что ты, моя девочка?—ИГОРЬ еще раз поцеловал руку.—Стоит ли так реагировать на крохотную неточность?.. Во-первых, конечно, жена... Не обижайся, но она у меня умница. Сначала, естественно, полезла в бутылку, но когда я объяснил, какой миссией занят, все поняла и простила. И во-вторых, дочка. Знаешь, какая у меня дочка?.. Лана!.. Лануля!.. Светлана Игоревна! Во-от такая девчища. И глаза во-от такие. Восторг!.. Вцепилась и не отпускает. Ком вот здесь... поперек горла... не знаю почему, но—ком!.. И слезы на ниточке... Еле вырвался...—он замолчал, с трудом справился с подступившим волнением.—Прости... Ну и в-третьих... в-третьих, деньги... Четвертная!.. За новые стихи... Из редакции... Теперь мы в полном порядке. Итак, куда?

— Куда хотите,—севшим голосом сказала Вера.

— Понял!.. Качу куда хочу!.. Вперед!—ИГОРЬ врубил передачу, дал дальний

свет, и «Жигули» с ревом понеслись по улице, разгоняя по сторонам темноту...

...Выехали за город, промчались по широкому гладкому шоссе, спустились в низину. ИГОРЬ остановил машину метрах в пятидесяти от автомобильного лагеря. В лагере было тихо, спокойно, возле некоторых машин горели лампочки от аккумуляторов.

— Наш лагерь,—кивнул ИГОРЬ.— Составишь компанию?

Вера отрицательно покачала головой.

— В таком случае, еще пять минут.

Он захлопнул дверцу, бегом добрался до крайней машины. Первый, кого он встретил, был Лебедев.

— О!..—удивился тот.—Откуда вынырнул?

— Из темноты... Какие новости?

— Есть одна новость.

— Опять приходила дочка?

— Дочка больше не приходила, но одна новость есть,—Лебедев помолчал, стянул с головы кепку.—Дорофеев умер. Профессор...

— Нет!—закричал, вскочив, Игорь.— Нет!.. Он не мог умереть!.. Его должна была забрать жена!

— Выведите его!.. Выведите немедленно!

— Это вранье!.. Неправда!.. Дорофеев сам просил, чтоб я позвонил его жене!

Его схватили за плечи, за руки, стали толкать к выходу.

— Да нет же!.. Нет!..—Он отбивался.— Как же вы не понимаете, что нет!

Двое мужчин и одна женщина провели его через фойе и втолкнули в какую-то небольшую комнату. Из-за стола поднялась молодая хорошенькая женщина.

— Вот,—показал один из мужчин на Игоря.— Терпели, терпели, наконец, терпение кончилось!.. Орет, кричит, ругается, пристаёт... По-моему, пьяный.

— Он не мог умереть,—Игоря колотило.— Это не так... Заболел—да, но умереть—я не могу в это поверить.

— Кто?—спросила женщина за столом.

— Дорофеев.

— Это профессор... В кино,—объяснил второй мужчина.

— Идите,—попросила активистов женщина.—Я разберусь.

Те ушли, женщина помолчала, улыбнулась спокойно и с пониманием:

— Обещаете не шуметь?

— Я должен был позвонить его жене.

— Значит, опоздали. Идите и постарайтесь не обращать на себя внимания.

— Спасибо...—Игорь дошел до двери, остановился.—Как вас зовут?

— Какая разница.

— Разница есть... Может, я как-нибудь...

Она опять улыбнулась.

— «Как-нибудь» не получится...
Он вышел, за дверь его ждала старуш-
ка-контролер.
— Я провожу тебя, сынок.

Место нашли далеко за городом.
ИГОРЬ занимался «сервировкой» —
раскладывал на газете нарезанный хлеб,
доставал из свертков колбасу, сыр, кучкой
выстраивал помидоры, огурцы.

— Ужинали у речки, глотая любовные
словечки,—выбросив руку, продекламиро-
вал он и тут же заключил:—Рифма идиот-
ская, но для такой ситуации годится.

— Словечки катились вдоль реки, какие
же мы с вами дураки!—дополнила Вера и
засмеялась.

ИГОРЬ тоже смеялся.

— Смысла не разделяю, но рифма поин-
тереснее моей. Клянусь!—Закончил возить-
ся со «столом», царственно пригласил:—
Прошу!

Каждый устроился по своему усмотре-
нию, и принялись есть с удовольствием и
аппетитом.

— Как?—взглянул ИГОРЬ на Веру.

— Угу...—она улыбалась.

— Я думаю!.. Не поешь мы еще сутки,
вообще от счастья можно было бы сду-
реть... Кстати!—он полез в карман, достал
пятерку.—Должок.

— Не надо.

— Как это, не надо?.. Разве я уже не
мужчина?

— Не надо, пожалуйста.

— Ну, ладно,—он сунул деньги обрат-
но.—Прогуляем при общем веселье.

— Можно, я тоже на «ты»?—неожиданно
спросила Вера.

— Боже мой. Разумеется! Мы не только
друзья, но и... Одним словом, нам есть что
сказать друг другу. Верно?

— Есть... Значит, ты живешь и... и не
работаешь?

— Как это живу и не работаю?.. Рабо-
таю. Челюстями!

— Нет, вообще.

— Вообще?.. И вообще, и в частности. В
нашем обществе, дорогая, все должны рабо-
тать. «Кто не работает, тот...» Что?.. Вот
именно. А мы едим, значит заработали.
Правда, слово работа тут не очень подхо-
дит, но тем не менее—работа. Поэзия!..
Разве это не работа? Еще какая! Адская,
губительная, изнуряющая. Помнишь, как у
Маяковского?

— Но ты же не Маяковский?

— Это неизвестно. Решат потомки. Через
сто лет Маяковский, возможно, ломаного
гроша стоить не будет, а гражданин Чернов
будет значиться второй строчкой после
Александра Сергеевича.

— А дочка?

— Что—дочка?—сразу насторожился
ИГОРЬ.

— Дочка, жена... Как относятся к твоим
стихам?

— Сложно... Жена—сдержанно, зато до-
чка—восторженно. До неприличного вос-
торженно! Во-первых, не каждый стихоплет
удостаивается чести напечататься в газете.
А во-вторых, уровень... Она еще, фактиче-
ски, ребенок, а уже усекает, что имя ее
родного папочки будет золотыми буквами
вписано в историю отечественной поэзии.

— Ты... врешь.

— Не понял.

— Врешь... Все врешь. И про дочку, и
про жену—про все.

ИГОРЬ перестал жевать.

— Надеюсь, это шутка? Грубая, но
шутка?

— Я тоже надеюсь, что слова про жену и
про дочку, которая «восторженно до непри-
личия», тоже шутка.

Губы его побелели, он произнес тихо,
почти шепотом:

— Послушай, ты... Как ты смеешь? Кто
ты такая?

— Никто!.. Потому и смею!

— Ты знаешь, кто?.. Неблагодарная...
неблагодарная...—он подыскивал слова.

— Тварь?.. Скотина?—Вера насмешливо
смотрела на него.—Ну, кто?.. Кто?.. Найди
что-нибудь подходящее!

— Дрянь!.. Вот подходящее—дрянь!—
ИГОРЬ отшвырнул газету с едой.—
Бестактная, наглая, тупая! Куда ты лезешь?
Что хочет понять твой убогий умишко? В
чем ты пытаешься разобраться?

— Кое в чем уже разобралась.

— Кто?.. Ты?! Ты—приехавшая из Тьму-
таракани? Ты—лимитчица из общежития?
Ты—девочка-никто?—он выбрался из ма-
шины, нагнулся к открытой дверце.—
Сначала скажи, зачем ты сюда приехала?
Почему бежала оттуда... оттуда, где и
стены помогают? Или уже не помогают?
Развалила родные стены, а теперь сюда?.. В
поисках птицы счастья? В надежде, что
здесь можно начать с нуля? Нельзя на-
чать!.. Не начнешь, потому что тебе нечего
начинать!.. Молодая, а уже все позади.
Позади, иначе ты бы не приехала сюда!

Вера тоже покинула «Жигули», воткнула
руки в бедра, остановилась напротив
ИГОРЯ.

— Я-то начну!.. Начну, потому что при-
ехала работать! Работать, а не трепать
языком! И не изображать деятельность,
ничего не делая. У меня есть руки, и я хочу
работать. С этого начну и этим кончу. А
ты...

— Замолчи!

— Ты врешь! Ты всем врешь, и себе
тоже. И все это знают. Жена, дочка,
друзья—все!

— Замолчи!

— Инженер, художник, поэт... Кто? Ты?! Трепло! Бездельник!.. Болтаешься сутками без дела, убиваешь свое время и воруюешь его у других, изображаешь личность и дешево хвастаешься тремя вырезками из газеты, цепляешься к молоденьким девочкам и не приходишь потом на свидание. Знаешь, почему не приходишь?.. Боишься! Боишься, что скоро тебя раскусят и будут показывать, как на сумасшедшего. Ты думаешь, ты живешь?.. Нет, уже не живешь. Уже—все... Ты даже воруюешь деньги у собственной любимой дочки! Пока ее нет дома, забираешься в ее копилку и воруюешь!.. Деньги, которые ты не заработал!

— Замолчи, иначе—ударю!.. Сейчас же замолчи!—ИГОРЬ ринулся к Вере, занес над ней руку.

— О!—сказал кто-то сзади.—А здесь драка. Бьют женщину.

Метрах в десяти от них стояли три парня—ноги расставлены, руки за спиной, на лицах ухмылка.

— Не женщину, а девочку,—уточнил второй парень.— Взрослый дядя избивает молоденькую хорошенькую девочку... Не стыдно, дядя?

— Что нужно?—ИГОРЬ тяжело дышал.

— Мальчики, что нам нужно?—поинтересовался третий парень.

— Думаю,—ответил первый парень,—нам нужно, чтобы гражданин, прежде всего, оставил девочку в покое... Девочка, иди к нам, дядя больше не будет.

— Уходите!—махнул ИГОРЬ.—И не вмешивайтесь в чужие дела.

— Грубит!—удивился второй парень.— Он, оказывается, не только драчун, но и грубиян... Дядя, не надо нам грубить, а то мы обидимся... Ну-ка, девочка, топ-топ к нам.

— Не надо, ребята,—попросила Вера.— У нас не драка, у нас разговор.

— Вот как интересно,—повернулся к друзьям один из парней.—Ребенок прикрывает матерого преступника. Это что—сговор?

— Нет. Ребенок смертельно запуган.

— Конечно. Мы ведь только что были свидетелями чудовищной по жестокости сцены.

— Детка, не бойся дядю, иди к нам... Иди и расскажи, чего добивалось это чудовище от тебя. Расскажи, и мы тебя пожалеем. Ну?

ИГОРЬ достал из машины большой переносной фонарь, зажал его в руке.

— Убирайтесь, я сказал!

Парни переглянулись.

— Он, по-моему, сказал—убирайтесь?.. Что, мальчики, уважим?.. Уберемся?

— Не знаю, как тебе, а мне что-то не

хочется. Уж очень жаль молодую, красивую, беззащитную девушку.

— Мне тоже жаль.

— Подчиняюсь большинству. Я—с вами.

Парни рассредоточились, полукругом двинулись к ИГОРЮ и Вере.

— Мальчики, не надо!—закричала Вера.

— Надо, девочка! Надо!.. Вот теперь точно надо.

— Не подходить!—ИГОРЬ схватил Веру за руку, прикрыл ее собой.— Не смей!

— Сме-еть!

Парни в мгновение сбили ИГОРЯ с ног, фонарь вылетел из руки и, описав дугу, хрястнул о дерево. Двое хулиганов били ногами упавшего ИГОРЯ, а третий забрался в машину и пытался завести двигатель.

— Сволочи!—Вера выставила руки и ринулась на тех, что били ИГОРЯ.—Что вы делаете, сволочи?!

Один из парней подсек ее под ноги, обхватил за талию и, не обращая внимания на вопли, царапание, пинание, поволок ее в сторонку, в кусты. ИГОРЬ каким-то чудом повалил оставшегося парня, поднялся на четвереньки и, спотыкаясь, бросился на помощь Вере. Сбил того, который тащил ее, заорал:

— Беги!.. Куда угодно беги!.. В темноту!

Но тут на него опять налетели, он отбивался, увертывался, бросался отчаянно и безрезультатно, делал все, чтобы Веру не тронули, чтобы ее не достали, чтобы не обидели.

Третий парень, наконец, завел машину, включил свет и стал носиться по поляне и ожесточенно бить то левый бок, то правый, то зад, то перед о мощные деревья.

ИГОРЬ прыгнул наперерез, с нечеловеческой реакцией влетел в «Жигули», вышиб из-за руля парня, дал дикий—с визгом—задний ход, развернулся и понесся на тех двоих, что были с Верой, рвали на ней одежду.

Парни отскочили в стороны, ИГОРЬ, выпрыгнув из салона, почти вбросил Веру в машину, захлопнул дверцу и снова помчался на парней.

Они убежали... Убежали трусливо, побыстрому, в панике.

ИГОРЬ выбрался из машины, погрозил им вслед кулаком.

— Подонки!.. Негодяи!

Обошел вокруг побитых, вздрагивающих от неровной работы двигателя «Жигулей», сел на землю, обхватил голову и стал плакать—горько, безутешно, вслух.

Игорь изо всех сил сжимал лицо руками и делал все возможное, чтобы никто не услышал его рыданий, чтобы никто не догадался, что от слез он не в состоянии дышать.

Вера опустила рядом, обняла его, прижалась, и стала гладить по лицу, по спине, по мокрой от слез шее.

— Конечно, вру!— ИГОРЬ поднял заплаканное лицо, повторил с обидой и злостью.— Вру!.. А что мне остается? Жаловаться и страдать? И искать сочувствия?.. А я не хочу! Не хочу, чтобы меня жалели. Не желаю, чтобы меня спасали! Не потерплю, чтобы все видели правду!.. Страшную правду! Инженер не получился, потому что не хотел быть рядовым. Лучшие места заняты, а оставаться рядовым... для этого надо иметь мужество. Рванул в мазилы... Ты видела мои художества. Смешно и стыдно. Теперь — поэт. Боже, какой из меня поэт? Я ведь сам все прекрасно понимаю. Понимаю и не могу остановиться. Уже не могу по-другому. Не умею за что-то отвечать. Ни за себя, ни за других — не умею. Вот и плыву. Все плывут, и я плыву. Так легче. Проще... А что дальше? Понятия не имею, что дальше. Куда-нибудь доплыву... Или утону!..

...Они лежали в автомобиле — тихие, спокойные, обнаженные. ИГОРЬ обнимал Веру и едва слышно, одними губами читал стихи Пушкина:

От меня вечор Леила
Равнодушно уходила.
Я сказал: «Постой, куда?»
А она мне возразила:
«Голова твоя седа».

Машина, хоть и с подергиванием, но шла. День обнаружил разбитую фару, помятый радиатор, сдавленные левый и правый бока. Странно, но музыка работала.

При въезде в город на первом же светофоре инспектор ГАИ дал свисток и показал ИГОРЮ остановиться.

— Началось... — он достал права, открыл дверцу, трусцой побежал навстречу размеренно шагавшему милиционеру, издали засмеялся, сокрушенно развел руками: — Понимаю, товарищ лейтенант... Все понимаю — вид не товарный. Сейчас постараюсь объяснить...

Лейтенант изучил права.

— Где работаете?

ИГОРЬ замялся.

— Пожалуй, нигде.

— То есть?

— Творческая личность. Поэт...

— В каком смысле?

— В самом прямом. Сочиняю стихи.

— Ну?

— Сочиняю и... это моя работа.

Инспектор усмехнулся.

— Я тоже, например, пишу стихи. В свободное от работы время... А в свободное от стихов время, как видите, работаю.

ИГОРЬ неестественно засмеялся.

— Разрешите, я покажу публикации?

Он трусцой побежал к машине, стал копаться в багажничке.

— Что? — спросила Вера.

— Все нормально, не беспокойся, — ИГОРЬ дотянулся до нее, чмокнул деревянными губами в щеку. — Просит стихотворение... С автографом.

Вернулся к милиционеру, протянул газетные вырезки. Тот посмотрел их, вернул обратно.

— Ну и что?

— Как — что?.. Это моя работа, моя профессия, мой заработок. Моя жизнь.

— Интересная жизнь. Ну, ладно... — Лейтенант снова перелистал документы. — А что с машиной?

— Хулиганы побили. Ночью.

— Каким же образом они ее вам побили? — инспектор смотрел на ИГОРЯ с недоверием.

— Я поехал с... с племянницей за город... Ну, отдохнуть. Поужинать, вернее.

— Пили?

— Нет, нет, что вы?.. Не пью... Вообще не пью. Никогда! — пальцы ИГОРЯ дрожали. — Одним словом, мы с... с племянницей...

— Это она в машине?

— Так точно. Мы с ней расстелили газету, положили на газету продукты, а в это время хулиганы... Девочка... вернее, племянница им приглянулась... хотели воспользоваться.

— Первый раз слышу, чтоб с племянницей ездили ужинать за город.

— Ну, почему?.. Во-первых, она не местная... Приезжая! А во-вторых, хотелось показать природу. Фауну!

— И флору.

— Да, и флору... А тут эти...

— Документы у нее есть?

— Не знаю... Вернее, есть. Обязательно есть. Принести?

Инспектор подумал.

— Да нет. Не надо. В конце концов, это ваше личное дело.

— Конечно, личное. Спасибо.

— За что спасибо?

— За все. Знаете, мы вас почему-то боимся.

— Кто — мы?

— Ну, мы... Автолюбители.

— Это бывает... Значит, хулиганам понравилась племянница, а побили они все же не ее, а машину?

— Совершенно верно. Почему-то получилось наоборот...

— Ну, ладно... — Милиционер подошел к «Жигулям», обошел их со всех сторон, скovyрнул ногтем прилипшую кое-где зелень, поинтересовался: — Хулиганье задержать не удалось?

— Что вы, товарищ лейтенант! — ИГОРЬ

опять хохотнул.— Их трое, а мы одни... с племянницей.

— Ладно,— повторил милиционер и сунул права себе в карман.— Документы я оставлю у себя, придете в отделение, разберемся.

— А может... Товарищ лейтенант, может, я подарю вам одно из стихотворений?

— Зачем?

— С автографом... С авторским!

— Благодарю, не надо. Взятку не беру, а тем более, таких,— лейтенант откозырял, хотел было уходить, но задержался, достал из планшетки вчетверо сложенный газетный листок.— Кстати...— развернул листок, показал довольно большое напечатанное стихотворение.— Мое!.. В нашей милицейской газете. Однако в подарок никому не предлагаю. Вот так!..— еще раз откозырял и той же размеренной достойной походкой зашагал к своему посту.

ИГОРЬ, прищурившись, посмотрел ему вслед, зачем-то тоже обошел вокруг машины, сел за руль.

— Что?— спросила Вера.

— Не могу,— он через силу улыбнулся.— Дай отойти немного. Руки не слушаются. И ноги...

Помолчали, через минуту она несмело сказала:

— Мне нужно дать телеграмму.

— Какую телеграмму?

— Родителям. Что жива-здорова.

ИГОРЬ с силой выдохнул, повернул ключ зажигания, машина слабо фыркнула и медленно поползла вперед.

Рядом с Игорем сели две яркие молодые девицы.

— *О!— обрадовался он.— Здравствуйте!*

— *Кто это?— спросила одна из них.*

— *Не узнаете?*

— *Мы не видим в темноте. Мы только что пришли... Давно фильм идет?*

— *Скоро заканчивается.*

Девицы развеселились.

— *А зачем же мы пришли?*

— *Затем, чтобы уйти вместе со мной... Минут двадцать посидите.*

— *А кто вы?*

— *Чуть погодя...*

ИГОРЬ пристроил машину в дальнем от Главпочты переулке, сказал выпорхнувшей на тротуар Вере:

— Сердечный привет родителям.

— Передам!

Она убежала. ИГОРЬ тоже покинул «Жигули». Печально цокая, он в очередной раз обошел вокруг своей верной «подруги» и направился к Главпочтамту.

Заглянул в большой зал, заметил Верину головку в очереди к окошку, вышел снова на улицу, и тут его окликнули:

— ИГОРЬ!

К нему направлялась девушка.

— Здравствуйте!

— Добрый день,— ответил он и поцеловал руку.

— Сегодня вы без опозданий,— улыбнулась девушка.

— Да?..— он не мог вспомнить, кто же это.— А раньше я всегда опаздывал?

— Не только опаздывали, но и не приходили. А где ваша машина?

— Машина?.. Машины нет. Временно в ремонте.

— Ну что ж, обойдемся сегодня без машины... Куда мы сейчас?— Она взяла его под руку.

— Я еще не решил. Давайте так... Давайте встретимся через час. Лена, кажется?

— ИГОРЬ, ну как вам не стыдно? Вы по телефону дали мне вчера три чужих имени. У вас что-то с памятью или такой широкий выбор?

— Конечно, с памятью. А выбора, к сожалению, никакого... Аня, кажется?

— Таня... Татьяна! Раз и навсегда запомните— Татьяна. А если еще раз переверте, честное слово, обижусь.

— Больше не перевру. Тоже честное слово.— ИГОРЬ оглянулся, увидел вышедшую и стоящую поодаль Веру, торопливо повел разговор к завершению:— Вон там, Танечка, стоит моя... дочка...

— У вас такая большая дочка?— кокетливо удивилась Татьяна.

— Я ведь нормальный мужчина... Так вот, сейчас отвезу дочь домой. Не следует, чтобы она нас видела... И через час, нет, через полтора мы встретимся. Через два!.. Идет?

— Идет... Прошу только не опаздывать. Сегодня вы поразили меня своей пунктуальностью.

— Я сам себя поразил. Но буду поражать и дальше. Привет!

Девушка ушла. ИГОРЬ подошел к Вере, обнял ее.

— Из редакции девушка. Специально разыскивала меня... Товарищ Мануйлов... помнишь Мануйлова?.. Так вот, он очень извиняется за вчерашнее и просит сегодня пожаловать в редакцию.

— Да?— она насмешливо смотрела на него.— Прямо сейчас?

— Сейчас... Можно и сейчас... Зачем откладывать?

Одна из девушек взглянула на Игоря, коротко хихикнула, что-то сказала подружке. Та тоже посмотрела на соседа, кивнула, и они, давась, стали смеяться.

Они вернулись к машине. ИГОРЬ похлопал по изуродованному металлу, поцокал языком.

— Плохо, совсем плохо. Я без этой подруги хуже, чем без жены. Честное слово.

— Ничего страшного—отремонтируете.

— Правильно... Но для того, чтобы отремонтировать, нужно время и нужны, самое главное, деньги.

— У меня есть, я дам.

— Ладно, благодетельница, садись,— ИГОРЬ открыл дверцу.— Садись и, как говорит мой друг Боб, кочумай... Как предки, кстати?

— Чьи?

— Твои, естественно. Мои, к сожалению, уже находятся там... за общим столом радости.

— Нормально. Дала телеграмму.

ИГОРЬ повернул ключ зажигания. «Жигули» дернулись, затряслись, несколько раз чихнули и осторожно поползли вдоль тротуара.

— Поехала, милая! Поехала, родная! Поехала, единственная!

Набрали ход и покатали легко и весело.

— Кстати!.. Все забываю спросить! Какой леший забросил тебя в наш смрадный город?

— У нас городок маленький, скучно. Все друг дружку знают. Скучно...

— Обидно. Довольно-таки банальный ход. И прозаичный... Я почему-то считал, что тобой двигал более высокий смысл.

— А работать—разве это не высокий смысл?

— Не отрицаю. Но разве в вашем славном городке, где все друг дружку знают, в разгаре безработица?.. Ты ведь работала?

— Воспитательницей в детском садике.

— Значит, любишь детей?

— Обожаю,— Вера расплылась.— Выйду замуж—нарожаю.

— Хочется замуж?

— Пока нет.

— А вот, к примеру... За меня, к примеру, пошла бы?

Вера отрицательно покрутила головой.

— Нет.

ИГОРЬ захохотал.

— Вот это здорово. Почему же, если не секрет?

— Не секрет... Ты уже не можешь быть мужем.

— Спасибо за откровенность.

— Я пойду с тобой,— заявила Вера, когда они остановились возле редакции.

— Зачем?

— Для помощи.

ИГОРЬ пожал плечами, закрыл дверь на ключ.

— Ну что ж, давай.

Поднялись по ступенькам, прошли через дверь-вертушку, возле лифта увидели новую дежурную.

— К кому, товарищи?

— К Григорию Семеновичу Мануйлову.

Дежурная внимательно посмотрела на ИГОРЯ.

— Что-то лицо знакомое... Бывали у нас раньше?

— Многократно...—он открыл дверцу лифта, пропустил Веру.

— А девушку что-то я не помню.

— Это дочь Григория Семеновича.

— А-а, тогда, пожалуйста.

Поднялись на третий этаж, прошли по длинному тихому коридору и остановились возле одной из дверей. ИГОРЬ осторожно постучал.

— Да!—ответил голос.

Он пропустил сначала спутницу, потом вошел сам. Мануйлов—маленький, сухонький, в очках—вопросительно смотрел на визитеров.

— В чем дело?

— Во-первых, здарсьте,—чуть поклонился, стоя у порога, ИГОРЬ.—А во-вторых, разве вы меня не узнали?

— Узнал, узнал...—Мануйлов нетерпеливо стучал по стеклу стола.—Что дальше?

— Я по поводу...

— Считайте, что у вас уже повода нет.—Газетчик внимательно посмотрел на Веру.—А это что, тоже молодое дарование?

— Нет. Это младшая сестра жены.

— Неправда,—вдруг произнесла Вера.—Я—его невеста.

Мануйлов снял одни очки, поменял их на другие. Внимательно посмотрел на девушку.

— Поздравляю. Однако, свадебного подарка ни вам, ни вашему... жениху сделать не могу. Вы читали его стихи?

— Конечно. Очень нравятся.

— А мне не нравятся. Ни мне, ни нашим читателям...—достал из ящика охапку писем, показал.—Вот почта разгневанных подписчиков.

— Можно?—Вера сделала шаг к нему.

— Нельзя. Это для редакционного пользования.

— Значит, врете! Сами сочиняли эти письма и—врете!

— Вера...—попытался остановить ее ИГОРЬ.

— Конечно, вреть!.. Блатных нахватал, а того, кто заслуживает—в ящик!

— Вера!

— Верните стихи, и нашей ноги здесь не будет!.. Мы их в другом месте пристроим. Руки Мануйлова дрожали:

— Забирайте, пристраивайте, только оставьте меня в покое... Редакцию оставьте в покое. С богом!

Вера взяла конверт, прижала его к груди, повернулась к двери:

— Чао-какао, крыса!

Вышли на улицу, сели в машину. Игорь забрал у нее конверт, выгасил стихи и стал

медленно и даже с каким-то удовольствием рвать их на части.

Вера молча наблюдала.

Выбросил клочки в мусорную урну, завел двигатель и потарахтел рывками и на последних возможностях. Вдруг остановился, помолчал некоторое время, глядя в одну точку, с силой ударил по баранке.

— Не могу!

Вера осторожно протянула к нему руку.

— Что?

— Не могу больше!— Он еще какое-то время помолчал, попытался улыбнуться.— Ладно, прости... Минутная слабость!— выбрался из машины, нырнул в телефонную будку, набрал чей-то номер, сказал несколько слов и вернулся на место.— Опять на Почтамт.

— Зачем?

— Боб туда деньги принесет.

Он несся на своей развалюхе, как на пожар, затем через пару кварталов затормозил, сказал серьезно, с азартным огоньком в глазах:

— Брошу к чертям собачьим эту идиотскую мельтешию, опять стану инженером-теплотехником... Чтобы ты знала, из меня мог получиться по-настоящему классный инженер. Давай поженимся?

— Поехали,— спокойно сказала Вера.— Мы прозаеваем Боба.

— Да, ты железный человек. Новое поколение!.. Никаких загибов, никаких завихрений— все должно быть просто и понятно... «Поехали... прозаеваем Боба». Все верно!

ИГОРЬ припарковал возле Почтамта машину, с удивлением уставился на Веру, тоже покинувшую машину.

— А ты куда?

— С тобой.

— Нельзя, мать... Жди меня здесь,— и побежал через улицу.

Боба пока что видно не было. ИГОРЬ бессмысленно помячил возле киосков, в ожидании заглянул в служебные залы Почтамта, издали махнул Вере, послушно стоявшей возле автомобиля, и тут увидел Татьяну, с сияющей улыбкой спешащую к нему.

— Что с вами, ИГОРЕК?.. Вы второй раз поражаете меня своей неслышанной точностью. Я же, должна признаться, на три минуты опоздала.

— Знаете рекламу— летайте самолетами?— ИГОРЬ, сбросив мгновенную растерянность, слегка приобнял ее за плечи.— Так вот, никогда не летайте! Потеряете кучу времени и останетесь на грешной земле. Как я в былые времена!

— Отвезли дочку?

— Увы!.. Увы и ах— сказал монах! Увы и ой— сказал другой!.. Со стыдом каюсь—

это не дочка, а, как выяснилось, двоюродная племянница.

— Как так?.. А дочка?

— Дочка— дома, а эта... Во-он, возле машины... Жуткая, глухая, непробиваемая провинция. Намучился под завязку. Людей боится... Вы только посмотрите, что она сделала с машиной.

— Бо-оже!.. Шутите, наверно?— Татьяна была потрясена.

— Это вы шутите, а я расхлебываю. Что-то не так сказал, она в меня чем попало. Руль туда-сюда, и вот— результат.

— Бо-оже!.. Откуда у вас, интеллигентного человека, такие племянницы?!

— От папы с мамой.

— ИГОРЕ-ОЧЕК!— к ним плыла вчерашняя Наташа.— Простите за опоздание, виноват муниципальный транспорт!— подошла, протянула руку.— Здравствуйте.

Соседки Игоря почти одновременно вернулись к нему, поздоровались шепотом:

— Еще раз здравствуйте... Встреча, не так ли?

— Замечательная встреча.

— А мы вас сначала не узнали.

— Лучше позже, чем никогда.

— Может, уйдем?

— Скоро... Сейчас закончится, и мы уйдем. Десять минут.

— Здравствуйте, рад вас приветствовать!— ИГОРЬ быстро перебрисил взгляд с Татьяны на Веру и затем на вновь прибывшую особу.

— Кто это?— вскинула бровки Татьяна.

— Действительно, кто вы?.. Представьтесь.

— Кто?.. Я—кто?— Наташа враждебно смотрела на соперницу.— А вы кто?

— Я—Татьяна.

— В таком случае, я—Наташа. Еще вопросы будут?

— Девочки!— вмешался ИГОРЬ.—

Познакомились и прекрасно, давайте теперь жить дружно. Сейчас мы во всем разберемся.

— Почему я должна в чем-то разбираться?— выпустила коготки Татьяна.— И не подумаю!

— Вот и до свидания,— сделала ей «ручкой» Наташа.— Подумайте за углом.

— Что-о?

— Принцессы!— ИГОРЬ взял за руку и ту, и другую.— Тихо, принцессы! Не подавайте дурной пример племяннице из провинции. Она стоит возле машины, все видит и, не исключено, к чему-то готовится.

— Как?— удивилась Наташа.— Вы еще не проводили?

— К сожалению, авиация не самый надежный вид транспорта.

— Но вы же, по-моему... вы ведь ее на вокзал...

— На аэровокзал!—пришла на выручку Татьяна.—А аэрофлот, как всегда, подводит.

— Это какой-то кошмар!—возмутилась Наташа.—Я в июле месяце сутки... сутки!.. просидела в аэропорту и в результате уехала поездом.

— В июле!—фыркнула соперница.—А в апреле не хотите? Время не курортное, никто никуда не рвется, билеты по знакомству доставать не надо, и все равно—почти сутки в ожидании.

ИГОРЬ достал из кармана рубль:

— Вы подружились, и за это вам награда!.. Рупь!.. Пока я буду провожать почетную гостью, вы можете культурно отдохнуть. Очень новый, очень художественный, очень фильм—через два квартала отсюда.

— А как же?!

— Завтра!.. В это самое время!

— Как... вдвоем?

— Только вдвоем!.. По отдельности я вас видеть не желаю. Дружите, девочки!

Девушки, хихикая, помахали ему ручками, покрутились, прикидывая, кому с какой стороны удобнее идти, и весело—под ручку—заспешили прочь.

— Значит, вы тоже пошли в кино?—шепнула Татьяна.

— Как видите.

— А племянница?

— Укатила... Или улетела. Не помню.

Из-за Татьяны выглянула Наташа.

— Странно, да?.. Вошли, сели и оказались рядом с вами.

— Не столько странно, сколько приятно.

— Товарищи!—сделали замечание сзади.

— Конечно, конечно...

Игорь нацупал руку Татьяны, затем Наташи, крепко сжал их.

— Это судьба.

ИГОРЬ перебежал улицу, упал на сидение.

— Еле отмотался!.. Мануйлов вдруг понял всю глубину собственного падения и прислал двух этих прелестных курочек... Вернее, сотруднички. Рассчитывал, что я под их напором дрогну и разрешу публикацию, но я был тверд, как скала. Чем горжусь!

Вера молчала, смотрела перед собой.

— Ну, не могу больше писать. Не могу!.. Строчки, говорю, уже поперек горла стоят!.. Аллергия на рифму! Не-ет, вьнь да положь. Готовы в одном номере дать сразу пять стихотворений!.. Еле откупился... Вернее, открутился!—Он завел двигатель, подмигнул бесстрашной спутнице.—Итак, машину в ремонт, а сами—на все четыре стороны.

— Меня тошнит,—тихо произнесла Вера.

— С какой стати?.. Съела что-нибудь?

Она помолчала, спокойно и равнодушно посмотрела на него.

— Я что-то скажу, ты только не пугайся.

ИГОРЬ стал медленно и неотвратимо потеть.

— Так, уже интересно... Хорошо, я спокоен. Я абсолютно спокоен. Как бог!.. И ни капельки ничего не боюсь. Что бы ни случилось, меня уже ничем не испугаешь. Говори.

— Я, кажется, беременная.

Он отшатнулся, некоторое время не мог сообразить.

— Ну и дела! От кого?

Вера снова взглянула на него.

— А ты не догадываешься?

ИГОРЬ даже икнул, прикрыл рот ладонью и коротко хохотнул. Но тут же замолчал.

— Прости... То есть от меня?

— Да...—произнесла она, и глаза ее стали медленно наполняться слезами.

— Ты что, издеваешься?—он наливался яростью.

— Почему, я издеваюсь?—Вера беззвучно плакала.—Может, ты издеваешься?

— Ты, ты!.. Ты что, решила меня добить? Ты считаешь меня кретином?

— У меня к тебе никаких претензий. И я вовсе не хочу от тебя ребенка.

— Какого ребенка? Откуда? Ты что, не понимаешь, сколько месяцев должно пройти?—ИГОРЬ уже кричал.

— Знаю... Должно пройти девять, а началось... вчера.

— Что началось? Как могло успеть начаться? Ты, когда ехала сюда, могла бы на всякий случай проконсультироваться у родной матери!.. Какая идиотка может на второй день говорить о беременности?!

— Но меня тошнит!.. Мама говорила, что если тошнит, то...

— О люди! О, человеки! О, народ!.. За какие грехи тяжкие несу я такую горькую расплату?—посмотрел на заплаканное лицо подруги, обнял ее, прижал к себе, стал целовать.—Ну, ладно, ладно... Прости меня, старого болвана. Ну, ору, ну, ругаюсь, ну теряю контроль над собой. Извини, пожалуйста. Сейчас поедем в аптеку, купим что-нибудь от желудка, и все пройдет. Договорились?

— Договорились,—Вера улыбнулась, вытерла мокрое лицо ладонью.

Машина тронулась, ИГОРЬ иногда поглядывал на девчонку, улыбался, подмигивал и правой рукой легонько обнимал ее за плечи.

— А деньги?—спросила она.—Боб принес деньги?

— Бог с ними, с деньгами!.. Забыл!.. Сейчас главное—ты. Главное, чтобы у тебя все образовалось. А деньги—потом.

Остановились возле аптеки, Вера придерживала ИГОРЯ.

— Со мной не ходи.

— Но ты не знаешь, что спросить.

— Знаю...— она почти уже выбралась из салона, оглянулась, как-то странно улыбнулась.— И все же я не хочу от тебя ребенка.

— Не хочешь и не надо. Я тоже, представь, не очень к этому стремлюсь.

ИГОРЬ остался сидеть в машине, нетерпеливо барабанил пальцами по щитку, поглядывал на дверь аптеки, и, наконец, оттуда вышла Вера. Но не направилась к «Жигулям», а подошла к автоматам с газированной водой, старательно вымыла стакан, и из машины было видно, как принялась вскрывать пачки с какими-то таблетками и чуть ли не пригоршнями заталкивать их в рот. Запила газировкой, снова распечатала пачку с лекарствами и снова, давась, стала отправлять таблетки в рот.

— Ты что?!— заорал ИГОРЬ, вылетел из машины и в несколько прыжков оказался рядом с Верой.— Ты что делаешь?

Она, белая, испуганная, растерянная, с жалкой улыбкой смотрела на него и, похоже, ничего не сообщала.

— Выплюнь!.. Сейчас же выплюнь! Что ты наделала? Ну, что же ты наделала?! Зачем?.. Зачем, милая, зачем?.. Пожалуйста, выплюнь! Ну, выплюнь же, пожалуйста! Ну, детка моя... Ну, деточка!

Он тряс ее, сгибал, заставлял сделать над собой усилие, а она, не сопротивляясь, поворачивала к нему голову и продолжала улыбаться той же жалкой, бессмысленной гримасой.

Девушки рядом хихикали.

— Идиотка... Боже, какая идиотка!

— Не надо,— тихо попросил Игорь.

— Почему—не надо?—они продолжали потешаться.— Или дура, или аферистка.

— Замолчите...!

— Наташа, обрати внимание—он сердится. А раз сердится, значит, сочувствует... Игоречек, что с тобой?

— Ему тоже нравятся такие непорочные девы... Игорек, если по-честному, неужели мужчины такие примитивы?

— Да замолчите же!—Игорь вдруг двумя руками уперся в девиц и стал стучать их с кресел.— Замолчите и убирайтесь... Убирайтесь!

Наташа рухнула на пол, Татьяна тоже, в зале зашумели.

— Боже, когда же это прекратится?! Успокоит его кто-нибудь или нет?

Игорь перебрался на середину ряда, затих, сгорбился, держался руками за колотящееся сердце, дышал тяжело и с хрипом.

В автопоселок ИГОРЬ пришел к вечеру.

Почти все уже были на местах—кто-то

готовил ужин, кто-то принимал гостей, кто-то играл с соседом в шахматы или в «козла», кто-то стирал, кто-то ремонтировал машину, кто-то отдыхал, читая перед сном газету.

Машин 15-20, и все самых разных марок—от «Жигулей» до «Волги». И даже одна иномарка.

— Привет, лучшим из лучших!— приветствовал громко ИГОРЬ «поселковое» население, спускаясь в низину.— Наше дело правое, и мы победим.

Кто-то ответил, кто-то махнул, навстречу поднялся Лебедев, сообщил:

— Опять приходила дочка.

— Ладно, попозже позвоню.

— Позвони обязательно.

— Лебедев, ты что?.. Приставлен ко мне вроде няньки?

— Вид у нее был какой-то странный.

— У детей этого возраста всегда странный вид,—отмахнулся ИГОРЬ и зашагал дальше.

Оглянулся, Лебедев шел следом.

— Что еще?

— К тебе пришли... Друг!

На том месте, где обычно стояла машина ИГОРЯ, сидел Боб, и у его ног стояли крепко схваченные веревкой картины в подрамниках.

Боб поднялся, пошел навстречу другу.

— Чувачок, так нельзя... Полчаса под Почтамтом—это не для белых людей.

— Извини, старый. Кто знал, что она такое выкинет.

— А сейчас как?

— Вроде оклемалась. Промывка, массаж, диета... Почти полдня проторчал в больнице.

— Будет тебе наука... Я сам, знаешь, как перемандраже... Играю для публики, а у самого пальцы колотуном. Все себя представлял на твоём месте.

ИГОРЬ усмехнулся.

— Себя жалел?

— А ты как думал? Только так чужую беду и почувствуешь. На собственной шкуре!

Сзади кашлянул кто-то. Оглянулся—опять Лебедев.

— Ну, что?.. Что, что?..

— Машина где?

— В ремонте... На ремонт поставил!.. Удовлетворен?

— Я мог бы посмотреть.

— Мог бы, да уже поздно. Другие люди посмотрят!

— И еще одно... Павлов тоже съехал... от нас.

— Ну и черт с ним!.. Черт с ним!.. С Павловым, с Ивановым, с Петровым!.. Что ты хочешь?.. Чего ты лезешь ко мне?.. Ко мне?!

— Извини,— тихо ответил Лебедев и медленно побрел прочь.

Тяжело дыша, ИГОРЬ присел на бревнышко, Боб примостился рядом с ним. Молчали, кто-то в машине включил музыку, и над поселком понеслась песня Пугачевой про старинные часы.

Вдруг между двумя жильцами вспыхнула ссора, туда сбегалось почти все население, и конфликт тут же кончился.

— Да,— качнул головой Боб,— весело тут у вас...— поднялся, лениво потянулся.— Извини, чувачок, мне пора. Работа у меня, сам знаешь, режимная. Кто-то в наше заведение приходит отдыхать, а кто-то работать,— пожал руку ИГОРЯ, подмигнул.— Созвонимся...— сделал несколько шагов, вспомнил:— Да-а!.. Это твои картины... Забери! Светка затевает ремонт, говорит, мешают. Подари кому-нибудь другому, они ничего... Особенно твой портрет,— он засмеялся.— В виде куска хозяйственного мыла!— Еще раз махнул рукой и зашагал к вздыбившимся белым домам города, видневшимся за небольшим леском.

— Верочка!— ИГОРЬ, счастливый, сияющий, в свежей яркой сорочке, стоял во дворе больницы и, приставив ко рту ладони рупором, кричал.— Верунчик!.. Ну, как ты там?

Вера выглядывала из окна третьего этажа, улыбалась.

— Нормально!.. Скоро выпишут!

— Когда?

— Завтра, наверно. А ты?

— Потрясающе!.. Лучше не бывает!— он оглянулся, показал на сверкающие «Жигули» за больничным забором.— Во-первых, я опять на колесах!.. Поздравь!..

— Поздравляю!

— А во-вторых, завтра читай газеты. Там — мои стихи!.. Тоже поздравь!

— Тоже поздравляю!

— Спасибо!.. А сейчас я помчался!.. Дел — невпроворот! Завтра приеду!

— Буду ждать!

— Салют!

ИГОРЬ бегом пересек больничный двор, выскочил за забор, еще раз махнул на прощание, нырнул в свою отремонтированную машину и понесся по улице отчаянно быстро.

Игорь замер, пальцы его впились в подлокотники, глаза были широко открыты и, кажется, не мигали.

Впереди замаячил любопытный силуэт — молоденькая девушка стояла у обочины, «голосовала», у ее ног покоился небольшой чемодан.

ИГОРЬ хотел было проскочить, но в последний момент резко принял вправо, затормозил, чуточку сдал назад.

— Подвезете?— открыла дверцу девушка.

— Если не очень далеко. Спешу!

— Улица Красная.

— А что там?

— Студенческое общежитие.

— Садитесь.

ИГОРЬ дал «газ» и влился в общее движение.

— Значит, учиться к нам?

— Почему — к вам?.. Вы у нас преподаете?

— А вам сразу хочется все узнать?

Девушка улынулась.

— Хочется.

— В процессе учебы узнаете... И познакомимся, и узнаете. Издалека приехали?

— Очень. Есть такой поселок... Вы, наверно, даже не слышали... поселок Тербуны. Не слышали?.. О нем вообще никто не слышал. Знаете, как меня боялись отпускать?

— Кто?

— Папа с мамой. И еще брат у меня есть. Младший... Даже он плакал, когда я уезжала. А я им... Знаете, что я им ответила? Не в лес же, говорю, еду. К людям!.. А я везучая. Мне обязательно только хорошие попадают. Вот как вы, например... Вас как зовут?

— ИГОРЬ.

— А отчество?

— Сергеевич.

— Ой!.. Честное слово? Не обманывайте?.. Точно, как моего папу. Он тоже Игорь Сергеевич.

— Очень приятно.

— Мне тоже очень приятно. Мой папа знает, какой?.. Мой папа хотел со мной прямо сюда лететь. Еле отговорила... У вас, конечно, есть дети? И, наверно, взрослые?.. Как я!.. Так вот, если у вас дочка, то вы любите ее больше, чем, например, сына. Дочка — к папе, сын — к маме. Правильно?.. Знаете, что мне сказал папа на прощание?.. Поменьше, говорит, верь людям. Среди них много плохих попадается. Правильно он предупредил?

— Неправильно,— ИГОРЬ подогнал машину к тротуару, остановился.— Неправильно, девочка. Верить надо... Без этого как же жить? Хороших больше, чем плохих. А плохие?.. Их все меньше и меньше. И скоро вообще исчезнут. Как вид!..— и попросил вдруг:— Выйди, пожалуйста.

Девушка удивленно отодвинулась.

— Почему?

— Тебе со мной нельзя... Пожалуйста.

Она с полным недоумением и обидой выбралась из машины, достала чемодан и,

припадая от тяжести на правую ногу, зашагала вперед.

ИГОРЬ посидел какое-то время, глядя в одну точку, включил передачу и рванул с места. Разогнался где-то за сто, резко крутанул руль вправо и помчался на мощной, в три обхвата дерево, стоявшее на обочине.

Игорь громко вскрикнул и закрыл ладонями глаза.

«Жигули» мчались на дерево, и избежать столкновения уже было невозможно. В последний миг ИГОРЬ плотно закрыл глаза, сжался и тут ощутил мягкий, как в вату, удар.

Дерево оказалось старым и гнилым, машина разнесла его даже не в щепки, а в коричнево-желтую пыль и понеслась дальше, сливаясь с нескончаемым потоком — обходя, обгоняя, перестраиваясь, пропуская...

... Игорь открыл глаза и увидел над собой склонившиеся, озабоченные лица. Ближе всех стояла старушка-контролерша, она первой заметила дрогнувшие веки мужчины, поднесла стакан воды.

— Попей, милый...— и улыбнулась.

Игорь пригубил чуточку, сел.

Сеанс уже закончился, в зале горел свет, народ не расходился — с любопытством наблюдал за мужчиной, потерявшим сознание.

Игорь глянул на них, улыбнулся.

— Улыбается,— недовольно проворчала дама в шляпке.— Тут этот на экране, а тут еще вы со своим криком.

— Ничего, главное, что живой,— заметил мужчина, к которому в темноте подсаживался Игорь.— На свежий воздух его. Пусть подышит.

Публика стала расходиться, старушка-контролер помогла Игорю подняться, довела до выхода.

— Ступай, милый... И храни тебя любовь.

На улице его поджидали Татьяна и Наташа.

— Какие планы, Игорек?

— Планы?.. Планы самые разнообразные. Чуточку отдышусь, так советовал дядечка, и будем соображать.

К ним направлялась высокая стройная блондинка.

— Игорь, так нельзя... Из-за вас я чуть не опоздала на сеанс.

— Привет,— возмутилась Наташа.— А мы из-за него вообще пришли к самому концу.

— Познакомьтесь, кстати,— сказал Игорь.— Это Таня и Наташа, а это...

— Лиля.

— Да, это Лилечка. Как видите, у нас собралась прекрасная компания.

— Простите...— за спиной Игоря остановилась еще одна девушка.— Можно автограф?.. Я вас узнала.

— С удовольствием.— Он витиевато черкнул свою фамилию в подставленном блокноте.

— Спасибо.

— Откуда она вас узнала?— не поняла Лиля.

— Как это, откуда?! Перед вами личность весьма популярная и странно, что вы об этом даже не догадываетесь.

Татьяна и Наташа стали смеяться.

— Догадываемся... Еще как догадываемся!

— Сейчас!— Игорь нашел в кармане монетку, подбросил ее в воздух.— Один звоночек, и я в вашем распоряжении.

Перебежал через дорогу к будке с телефон-автоматом, набрал номер.

— Привет.

— Здравствуй,— ответил женский голос.

— Это я.

— Я узнала.

— А дочка дома?

— Тебя только дочка интересует?

— Меня интересует весь мир!— Игорь засмеялся.— Но дочка в данный момент больше всего. Она ко мне уже несколько раз приходила.

— Насколько я знаю, она опять пошла к тебе.

— Давно?..

— Давно... Начинаю волноваться.

— А что?.. Почему—волноваться?..

— Потому что я—мать.

— Понял, не дурак... Спасибо.

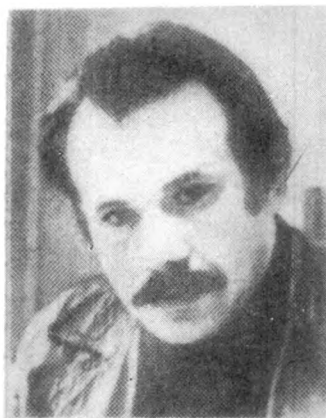
Он повесил трубку, вышел из будки, постоял секунду в раздумье и вдруг что-то словно толкнуло его.

Ринулся к машине, завел двигатель и помчался, до белых пальцев сжимая баранку

Он опоздал—беда уже случилась.

Горели сразу две машины в автопоселке, толпился народ, пытались сбить огонь, неслись из города пожарные машины, повлилась невеста откуда милиция, а Лебедев удерживал бьющуюся в истерике дочку Игоря, и по его лицу текли слезы.

Игорь подошел к ним, повернул к себе голову девочки, она бросилась к нему, прижалась, а он целовал ее мокрое лицо и без умолку бормотал что-то неразборчивое...



ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРИГОРЬЕВ (родился в 1934 году) окончил сценарный факультет ВГИКа. Автор литературных сценариев «Наш дом», «Три дня Виктора Чернышева», «Отцы, 65», «Романс о влюбленных», «Татьяна», «Отряд» и др.— всего более двадцати. Лауреат Государственной премии СССР. Сценарий «Отцы, 66 (Наш бронепоезд на нашем запасном...)» написан в 1966-68 гг.

ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ

ОТЦЫ, 66

(Наш бронепоезд на нашем запасном...)

Марш—веселый, уверенный, мужественный.

Под него— в такт, с наездами, во весь экран, сменяя друг друга, появляются фотографии.

Мужчина и женщина. И восьмилетний стриженный мальчик, бесстрашно уставившийся в объектив.

Этот мальчик постарше, в пионерском галстуке, среди других пионеров отдает пионерский салют. Они стоят подтянутые и торжественные. За их спинами серьезное лицо юного героя— Павлика Морозова, и чуть дальше— панно Днепрогэса.

Марш переходит уже в песню, и мужской энергичный голос запекает: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...»

Групповая фотография молодых участников субботника. Молодые и только улыбающиеся лица.

Одиночный портрет во весь рост. Белая рубашка с закатанными рукавами, черные брюки, большая кепка, на руке, чтоб было видно, крупные часы.

А марш все растет и ширится, и уже хор подхватил любимый припев: «Все выше, и выше, и выше...»

Фотография лета сорок первого: ополченцы— полувоенные-полуштатские.

Наш герой в солдатской гимнастерке, в каске, с автоматом на груди. Фотография на память.

Групповой портрет выздоравливающих раненых у подъезда госпиталя.

Еще одна группа. В гражданском и военные вперемежку. Все— с оружием. Леса. Партизанский край.

Калинин пожимает руку при вручении правительственной награды.

Два друга, в медалях и орденах. Смелые, уверенные, улыбающиеся.

Очень большая группа военных на фоне какого-то монументального памятника, в какой-то столице Европы.

Прощание с погибшими.

Еще одно прощание.

Братское кладбище.

Другое братское кладбище.

Танк на постаменте.

Обелиск погибшим.

Залп Победы.

Парад Победы.

Официальная фотография капитана Николая Кузнецова.

Другая.

Семейная: он, жена, маленький ребенок.

Любительская: на фоне портрета генералиссимуса Сталина и знаменитой картины,

где товарищ Сталин и товарищ Ворошилов идут вдоль Кремля, радостный счастливый Николай Кузнецов среди праздничных колонн тянет навстречу солнцу своего любимого сына.

И опять—папа, мама и сын, уже подросток, такой же решительный и бесстрашный, как родитель.

Опять семейная. На фоне елки, под Новый год, значит. Уже—четверо. Четвертая—маленькая девочка.

И вся семья перед автомобилем «Москвич».

За празднично накрытым столом. Папа и сын в темных костюмах, в галстуках. Все ласково смотрят.

Во весь экран первая страница газеты с призывами ЦК КПСС к Первому Мая. Диктор по радио голосом Левитана повторяет их.

О них говорит первая программа телевидения.

Вторая.

Третья.

Четвертая.

Всевидящий глаз хроники рассказывает и показывает, как советский народ с невиданным подъемом встречает свой праздник.

Сверхплановая пойманная рыба.

Сверх плана срубленный лес.

Сверхплановые распаханные и засеянные поля.

Спиленные рога.

Металл.

Ткань.

Станки.

Приборы.

Досрочно законченные строительные объекты.

Разукрашены города, деревни.

Подготовилась и столица.

Красная площадь.

Большой театр.

Улица Горького с Центральным телеграфом.

Наконец наступает первомайское утро. Застывшая Красная площадь. С последним ударом из Спасских ворот выезжает машина...

Объезд войск.

Речь министра обороны.

Фанфаристы.

И начало парада, когда от Исторического музея начинается марш юные барабанщики. И этот миг застывает в стоп-кадре и идут титры.

И дальше изображение пойдет на мгновениях стоп-кадров до тех пор, пока не кончатся титры. Музыка будет документальная, то есть та, которая будет звучать в этот час над площадью. Кроме того, будут раздаваться первомайские призывы, разнообразные по площади динамиками:

— Да здравствует наше родное советское правительство! Ура!

— Ура!

— Да здравствует наш славный героический рабочий класс! Ура!

— Ура!

— Да здравствует советская интеллигенция! Ура!

— Ура!

— Да здравствует...

— Ура!

Будет шагать академия имени Фрунзе.

Ракеты.

Танки.

Мавзолей.

Гости на трибунах.

Дети с цветками.

Спортсмены.

Демонстрация трудящихся столицы.

Транспаранты, флаги, улыбки.

Кузнецов со своей семьей.

Макет рвущегося в космос корабля.

Наполненная людьми площадь.

Кончатся титры. Панорама по московским вечерним улицам. Длинная. Долгая. По украшенным домам, по праздничным витринам, по лицам людей.

Еще одна панорама, такая же.

Салют.

«Москвич» старой марки передвигался по загородному шоссе. Город оставался позади.

В машине было четверо—семья Кузнецовых. Алеша, сын,—прилежный спортивный юноша семнадцати лет—сидел за рулем. Глава семьи, откинувшись, сидел рядом. Женская половина—мать и дочь—разместилась на заднем сиденье.

Был второй день весенних праздников, весна была ранняя, погода замечательная, и настроение у всех было благодушное.

Потом машину вел отец.

Опять сын. Осторожно спустились по проселку к речушке, дали газ, форсировали сходу, поднимая брызги.

Отец оглянулся назад.

— Ничего!—сказал он.— Можешь.

Машина медленно пробиралась вдоль опушки, выбирая место стоянки.

Мама сказала:

— Посмотрите, как красиво!

Дочь повторила:

— Мамочка, правда очень красиво!

— Мы здесь прошлой осенью были, в сентябре, помнишь?—спросил отец.

— Помню. Когда дерево упало.

— Это в Бородино упало,—сказал Алеша.— Помнишь ты очень хорошо.

Мама подтвердила:

— Это в Бородино...

Впереди показался маленький лагерь: ко-

стер, машина «Москвич-402», фигуры людей.

— Стоп,— сказал отец. Алеша остановил.— Пошли на разведку.— Они вылезли из машины.— А вы здесь осмотритесь.

После звука мотора тишина особенно была заметна, все было тихим и покойным.

Внизу ласково и доверчиво толкалась среди берегов река. Все вокруг—и туда за реку—было зеленым и никуда не торопилось и двигалось медленно, как бело-черное стадо на той стороне.

И дым от костра был одиноким и радушным среди теплой земли.

Отец оглядел всю эту тишину внимательно, и лицо его на миг стало резким, будто из другого времени, все обветренное и все в морщинах.

— Очень хорошо,— сказал он себе, и лицо его разгладилось, и уже потом сыну:— Пошли, Алексей.

Они шли к лагерю, и было приятно идти по прошлогодней мягкой пружинящей хвое и слышать, как тихо вокруг и как изредка неведомые птицы или птахи подают голоса, даже, видимо, не подозревая, что на свете есть города.

У свободно и просторно раскиданных вещей—сумок, сумочек, пледов, одеял—рядом с костром сидела женщина, стоял мальчик лет шести и смотрел в их сторону, чуть поодаль подкидывала волан на ракетке девушка, тоненькая, в серых узких брючках и с длинными светлыми волосами.

Отцу девочка понравилась, и он скосил глаз на сына и поймал его врасплох.

— Хорошая девушка,— сказал отец.

Сын растерялся, сбился с ноги и отстал.

— И, кажется, симпатичная. Смотри не заглядывайся. Не падай!

Сын за спиной что-то невнятно буркнул.

Они подходили.

Отец улыбнулся, ему все нравилось: и день, и река, и он сам, и его семья, и люди у костра ему тоже нравились.

— Добрый день,— сказал отец.

— Здравствуйте,— сказала женщина и тоже приятно улыбнулась.

Девушке отец сказал отдельно: «Здравствуйте». И мальчику отдельно кивнул и улыбнулся.

Сын поздоровался со всеми сразу и стоял за отцом в нескольких шагах.

Женщина уже встала и уже ждала, и отец уже повернулся к ней, когда мальчик потянулся и сказал:

— Здравствуйте, дядя. А меня зовут Боря.

— Видишь, как хорошо, а меня—дядя Коля.

— Дядя Коля?

— Точно.—И, уже понимая, что пора приступить к делу, не снимая руки с головы мальчика, спросил у мамы:— Извините, по-

жалуйста. Скажите, мы вам не будем мешать, если расположимся вон там?

— Располагайтесь, где хотите. Место общественное. Хотите там, хотите с нами.

— Спасибо. Если вы не возражаете, нам было бы очень приятно.

— Пожалуйста, пожалуйста!

— Спасибо. Меня зовут Николай Дмитриевич, а это мой старший—Алеша. Прошу любить и жаловать.

Алеша переступил, наклонил голову, сказал тихо:

— Алеша.

— А с остальными вы сейчас познакомитесь.

— Очень приятно,— сказала женщина и представилась:—Лидия Васильевна, моя дочь Наташа.—И она ласково посмотрела на Алешу.—Борю вы уже знаете, а папа наш Рудич Евгений Маркович скоро будет.

И Кузнецовы, не как отец и сын, а как два брата-близнеца разом поклонились и разом сказали:

— Очень приятно!

Располагались. Уже все перезнакомились, и была общая суэта. Все содержимое багажника растаскивали и перетаскивали по траве вокруг костра. У всех было отличное настроение, хотелось двигаться, прыгать, скакать, и все делали очень весело.

— Боря, Боря, встань, простудишься,— говорила мама-Кузнецова, разбирая рюкзаки.—Он у вас тепло одет?

— Хорошо.—Но чтобы поддержать внимание и заботу новой знакомой, кивнула сыну:—Боря, встань! Тебе что тетя говорит!

Кузнецов-старший закончил надуть мяч. Подбросил. Боря поддал его.

— Футбол!—закричал он.—Футбол!

— Мамы, мы можем сыграть в футбол?—спросил Кузнецов.

— Играйте,— сказала одна мама.

— Можете,— сказала другая.

— Так, Алексей и я—капитаны.—Он глянул на девушку.—Наташа—туда, Боря и Лена—за меня. Пошли!

Хотелось бегать по зеленой траве, хотелось играть, после долгой зимы, после зимних одежд хорошо было бегать в джинсах и кедах, и играли с удовольствием и с азартом.

Алеша играл старательно и прилежно, обводил противников и выкладывал мяч Наташе. Наташа спешила, была с близкого расстояния мимо пустых ворот, а Алеша с благородной невозмутимостью кивал головой.

Зато другая команда кричала и орала по любому случаю и радовалась любому праз-

днику, и маленькому и большому, и капитан ее старался больше всех.

Женщины накрывали на стол. Делали они это умело, и их взаимная умелость нравилась им обем, и нравились их дети, и нравилось, что вот они такие люди, незнакомые, а так хорошо сидят и так приятны друг другу.

— Ваш муж любит детей,— сказала одна женщина, зная, что говорит приятное.

Другая охотно откликнулась.

— Они его тоже очень любят. Он с ними каждое воскресенье на лыжах, на коньках, за город. Я даже измучилась с ними, иногда хочется в гости сходить, посидеть спокойно, поговорить, попеть, а он: родила детей, давай, говорит, воспитывай, чтоб веселые дети были и здоровые, и песни пели.

Другая мать сказала:

— Это хорошо, что он так к детям. А он у вас не пьет?

— Сама удивляюсь. Ведь фронт прошел, всякое бывало, а сейчас ромочку, и хватит. Угощать любит, а сам нет: сердечник, говорит, нельзя. И сыну не разрешает.

— Это хорошо.

— Я даже говорю, что ты обижаешь парня, ему, может быть перед товарищами неудобно. Пускай, говорит, боксом занимается, все будет удобно, нечего ему, мол, по моде плыть. А сейчас действительно с молодежью трудно!

— Очень сложно. А мальчик у вас хороший. Скромный. Он в школе учится?

— Закачивает. Десятый. А ваша Наташа—танцовщица?

— Нет, она в школе, в спецшколе, правда, английский изучает, но не танцовщица.

— А я смотрю, такая тоненькая, такая изящная, прямо танцовщица. И вежливая. Хорошая девочка,— сказала мать по-матерински.

Другая мать выслушала с удовольствием и заметила:

— Она неплохая девочка, но сколько с ними надо заниматься!

— Ну что вы!..

На поле раздался крик.

— Какой счет?—спросила мать Наташи.

Все промолчали, и Наташа ответила:

— Три—один.

— В чью пользу?

Наташа, видимо, стеснялась говорить о своей победе, и Кузнецов-старший пришел на помощь:

— Бьют нас, мать! Приходи на помощь!

— Да ну вас,— сказала мать и пояснила:— Они меня один раз в регби так толкнули, чуть не убили, да еще обругали: не умеешь—не играй... Коля, Коля, за водой надо сходить.

— Айн момент! До пяти—и проигравшие идут за водой. Идет?

— Идет,—сказал Алеша.

— Мать, собирай ведра, Алексей сейчас за водой пойдет!

— Посмотрим, посмотрим...

— И смотреть нечего.—Отец разделся до пояса.—А то ишь ты, собрались лбы маленьких обижать.

— А сам?

— Сам-то? Я старый человек, а вы два хищника-налетчика, коршуны...

В это время он все водился с сыном и оттирал его, и отталкивал, и все пытался обмануть и обвести. А сын не давал ему, и отец отдувался и злился.

— А ты, я вижу, братец, хлюст. Поиграй сам, дай другому.

Алеша рассмеялся и потерял бдительность. Отец вырвался вперед.

— А-а!—закричал он, и вся его команда завопила и замахала руками.

Мяч укатил далеко вперед, но отец успел догнать его и подправить в ворота. Наступило ликование.

— Лопушок, развесил уши! Мать, а мать, слышишь, какого ты лопушка вырастила?

Сын пробежал мимо за мячом, мрачный-мрачный, но отец подлил еще масла в огонь, поддав его пониже спины ладонью. Сын совсем загнулся, видя, как отвернулась Наташа.

— Ладно,—пообещал он.

— Чего ладноть-то, давай играй. Сейчас мы вас по бревнышкам раскатаем!

— По бревнышкам!—поддержал Боря, которому очень понравилось это выражение.

Алеша вывел, дал пас, получил, прошел мелюзгу, вышел на отца и вместо традиционного паса партнерше сделал обманное движение, обвел противника и вышел один на один с пустыми воротами.

Отец охнул, заметался, но догнать и помешать не было сил, тогда, еще раз охнув, зацепил сына за ногу.

Сын проехал по траве, отец нарочито упал рядом.

Сын встал. Ни на кого не глядя, не отрывая колени и локти, сказал серьезно:

— Пеналь!

— За что? За что пеналь-то?—заканючил отец опытным жлобским голосом.—Сам толкаешься, грубишь!

— За то, что на ногу наступил,—сказал сын зло и установил мяч.

— А что, нельзя? А я и не знал! Что значит давно не играл!

— Не знал,—протянул сын без юмора и первый раз посмотрел на отца, а потом на свои сбитые локти.

— Да бей, раз вы такие жухалы, бейте! По-честному не можете выиграть. Все равно правда победит!

— Вот именно! Бей, Наташа!

— Бей, Алеша!

— Бей ты!

— Ты бей!

Отец, слушая эти переговоры, шмыгнул носом и сбил ладонью с кончика носа неведомую соринку.

— И бить-то некому!

— И бить-то некому,—поддержал Боря.

— Некому бить даже,—сказала дочь.

— Мать, иди помоги, а то сын устал, пробить уже не может. Ты маму попроси, сынок,—ласково посоветовал он сыну.— Она тебя любит.

Сын гордо не слышал и не воспринимал этих разговоров.

— Алеша, лучше ты,—сказала Наташа и отошла, чтобы окончить спор.

Алеша кивнул, очень серьезно примерился, мяч прошел на середине маленьких ворот.

— Четыре—два,—сказал Алеша жестко и тряхнул головой.

— Ишь ты, какая память, все помнит,—приторно изумился отец.—Ну ладно!—крикнул он, чтобы ободрить свою команду.—Вам же хуже. Отольются кошке мышканы слезы. Кто к нам с мячом, тот от мяча и погибнет! А ну, ребята, не Москва ль за нами?! Вперед!..

— А-а!..—с готовностью завопила его команда.—Не Москва за нами?!..

Мать рассказывала тихо другой матери. Они чистили картошку и иногда поднимали глаза от рук, чтобы кивнуть друг другу и улыбнуться.

Мать рассказывала.

— Серьезный он очень, отец смеется, а он насупится и напролом. Подрался два раза подряд. Меня в школу вызывают. Из-за девочки! Я так испугалась, думаю: начинается! А она—посторонняя, ну одноклассница только. Другой мальчишка—есть у них такой хулиган-второгодник, совсем за ним родители не смотрят—так написал он ей записку с ругательством, а наш полез защищать, больше всех ему надо! Подрались, наш его побил, умеет он это, хотя тот здоровый такой верзила. А у него родители... отец кем-то там оказался, шишкой на ровном месте...—Она спохватилась:—Вашто муж кем работает?

— Научный работник. Мы с ним вместе работаем.

— И вы тоже наукой?

— Я тоже.

— А кто ж с детьми, по дому справляется?

— Мы сами.

— Тяжело вам, а меня мой дома поставил, ушла я с работы, детей, говорит, воспитывай.

— Что ж, это правильно. Но тяжело на одну зарплату.

— Конечно. Так вот вызывают меня в школу и говорят: будем исключать из школы за хулиганство. Пошел мой выяснять и,

вместо того, чтобы извиниться, замаять это дело, правильно, говорит, сделал, раз здоровый хам и дурак, учиться не хочет, надо бить, но сильнее. Учить надо раз, но навсегда. И это он при учителях, при учениках, а главное при матери пострадавшего, так какая же мать стерпит. Она такой шум подняла. Я уж туда-сюда, раз десять извинялась.

— Господи, как сложно все!

— Что вы! Девочки, они скромные, с ними потом забота, а это же мальчишки. Я говорю: зачем ты лез в чужое дело? Зачем? Ты учись! А отец—правильно, раз надо, значит, надо, бей их в морду, за нами не заржавеет, поговорка у него такая, а выгонят, не пропадем. Вот я и стою промеж двух огней, а начинаешь ему говорить, он машет рукой—ты дочь воспитай, а Алексея я воспитаю.

— Ужасно,—сказала другая мать и даже приостановилась.—Как сложно,—опять повторила она.

— И всегда он так, где в автобусе или троллейбусе скандал или крик, он тут как тут. И Алешу так учит: ты, говорит, ничего не бойся, раз живем, раз и помрем! Это-то мальчику такие разговоры. Но любит его, конечно, очень любит!..

— А-а!—закричали на поле.—Мать, мать, готовь ведро. Алеша за водой пойдет. Алеша, какой счет, у тебя память хорошая.

Боря крикнул:

— Четыре—три!

— Сейчас мы их по бревньшку.

— Наташа, тебе не жарко?

— Нет, мама.

— А кем работает ваш муж?

— Мастером, на заводе. Он рабочим работал и учился, техникум прямо при их производстве. А вот сейчас мастером, лет уж семь, наверное.—И добавила зачем-то:—А вообще он до войны учился, его с первого курса на фронт в ополчение... и он всю войну.—Женщина понимающе покачала головой.—Да, всю войну. И ранен несколько раз. И тяжело и как хочешь. И всю до конца. И потом еще пришлось хлебнуть столько!

— Мой муж тоже... Как он долго, сказал, полчаса, уже больше прошло... тоже студентом из университета в ополчение. И ранен был, много тоже натерпелся.

— Да, война—страшно подумать. Вот Алеша растет, страшно подумать. Не дай бог! Не дай бог!

— Что вы—это ужас!

Торжествующий рев прервал их разговор.

— Деревня! Потренироваться надо. Мать, готовь ведро!

— Мама, ведро Алеше приготовь!—кричала дочь.

— Ведро, тетя Катя!

Алеша улыбался.

— Ничего, Наташа, ничего!

Отдал ей мяч. Девушка прошла по краю, обвела Лену, столкнулась с отцом. Отец не напал и не мешал, только загоразживал путь, девушку протолкнула мяч вперед.

— Хорошо!— крикнул Алеша.

Он с лету, эффектно падая, сильно в упор пробил по воротам. Удар был великолепный, конечно, и, конечно, Алеша блеснул, беда только в том, что мяч попал в голову Боре, который мужественно защищал подступы. Мяч отскочил, а Боря сел от удара, обхватил голову руками и собирался заплакать.

Обе матери были уже на ногах.

Кузнецов-старший поднял мальчика, разнял руки, заглянул в лицо.

— Молодец, молодец, Боря! Спас ворота! Ты чего? Плакать, что ли, собрался? Ты что? Ты же солдат! Солдаты разве плачут? Мы Москву защищаем! Назад ни шагу!.. Куда попало-то? Сюда? Не больно?—Он осмотрел мальчика, кивнул, успокаивая, в сторону матерей.—Давай, давай, выводи мяч. Чего собрались? Пасуй! Отлично. Держи!

Боря неуверенно шел с мячом.

Отец убежал вперед, «на выход», прижался к сыну, бежал с ним рядом.

— Давай, Боря, давай! Ты чего ж,— шепнул он сыну,— бьешь-то так?

— Игра.

— Игра. Не против бразильцев играешь, милый, смотреть надо! Если я по твоей партнерше со всех сил ударю!

До сына, кажется, дошло, и отец убежал в сторону.

Опять продолжали играть.

Жена снова позвала:

— Коля, за водой надо идти!

— Сейчас закончим, сейчас!

— И хвост, костер погаснет скоро.

— Сейчас.—Отец сошелся с сыном, никак не могли разойтись. Отец выцарапал мяч, протолкнул вперед, вышел один на один к пустым воротам, и Алеша лег в ноги. Упали.

— Пенальти!— закричала команда потерпевшего.

— Пеналь! Сорную траву с поля! Что ж ты, отца чуть не убил, поднялась рука?

— Одиннадцатиметровый.—Алеша отошел в сторону.

— Бей, Боря!

Боря загарцевал перед мячом. Очень хотел забить, даже язычок высунул, но победило благородство:

— Дядь Коль, вы!

— Бей, бей, я устал, а у тебя удар крепкий, прямо туда бей, по воротам.

Мальчишка старательно разбежался, ударил пыром, мяч тяжело и медленно покатился в сторону ворот.

— Ура!— гаркнул отец, догнал и подпра-

вил мяч в ворота.—Наша взяла.—Сначала он стал свистеть, потом прошелся на руках, упал, подхватил ребят под мышки, и они исполнили победную пляску.

— Не по правилам,—сказал тихо Алеша Наташе, будто оправдываясь перед ней и предлагая разделить шутку отца.—Нельзя добывать!

— А ты не будь занудой. проиграл и молчи. Бери ведро. Наталья, бери полотенца. Мамы, давайте полотенца!.. Аще Польска не сгинела, пока мы живем... Где транзистор? Давай его сюда! Спасибо.—Мигом наладил, поймал волну, праздничный марш, вывел на полную мощь.

— Коля, очень громко.

Отец приглушил. Выстроил команду.

— Становись! Команда победителей: Боря, Лена, дядя Коля—Советский Союз! Ура!

— Ура!

Поднялись руки, раскланялись.

— На речку!—Поднял Бориса на плечо.—Бегом!

— Скорее,—сказала жена.—И хвост не забудьте!

Умывались с большим удовольствием, хватая ладонями прозрачную воду. Отец умывал Бориса. Девочки плескались рядом, сыну он сказал:

— Отнеси воду сначала.—И к Борису:— Ну, как дела?

— Хорошо!

— Правильно, так и говори всегда. Ты молодец, верный гол спас. Если б не ты, нам крышка!

Боря остановился, прислушиваясь к этим речам.

— Если бы не ты и Лена, и я тоже, проиграли бы.

— А я здорово головой отбил.

— Я и говорю, если бы не ты...

Наташа тихо улыбалась.

— А я,—сказал мальчишка, и глаза его разгорались,—головой.—И показал, как он головой.—И отбил!

— Да, ты дал жизни! А больно было?

— Не-а... Больно! Но я отбил!

— Это самое главное: больно, но отбил.—Он вытер мальчика полотенцем.

Вернулся Алеша с ведром: «Еще просят».

— Сейчас обеспечим. Вы, Наташенька, идите, а мы скоро.

— Хорошо,—сказала девушка.—Пошли, Лена! Боря, пойдём!

— Пройдем дальше. Какой день! Вот здесь воду бери.

Сын опустился на колени, зачерпнул ведром. Отец лег по-медвежьи над водой, пил одними губами.

— Как ты воду пьешь.

— Как?

— Очень смешно.
— Зато вкусно. Скупнемся?
— Давай.
— Что нам, мужикам?
Раздевались. Сын смотрел сбоку на отца, на его тело в шрамах.
— Здорово они все-таки тебя.
— Немцы народ серьезный. Без трусов, что ли? Никого нет.—И сам кивнул себе.
— А это когда тебя?
— Это, что ли?
— Да.
— Это, это... в сорок девятом—«это».
— А разве в сорок девятом война была?
— А почему нет?
— В сорок пятом война окончилась и с Германией и с Японией.
— С ними окончилась, а кое-где еще воевали... Вот на родине твоей. Ты ведь в Каунасе родился?
— В Каунасе.
— По-польски Ковно, вот там меня и подстрелили.
— А кто?
— Националисты, кто ж еще. Братьями себя называли лесными. Пошли, что ли?.. Эх!
Охнули оба, выскочили над водой и опять ушли в воду.
Речка была узкая, метров шесть-восемь, и глубина метра полтора.
Полоскали себя, будто белье в воде. Охали и ахали. Отец первый сказал:
— Пошли!
Выскочили на берег, стуча зубами, надели трусы, подхватили одежду, побежали вдоль речки.
Долго бежали, согреваясь, по тропинке, потом по мелкой воде, снова по тропинке вдоль речки.
Остановились, стали растираться полотенцами, с трудом переводя дыхание от холода и бега.
— Потри мне спину, замерз я совсем, к старости, что ли, идет.
— Силен ты, пап!
— Было когда-то, а теперь живот висит.
— Все равно силен.
— А ты не пей и не кури, тоже будешь здоровым парнем. Я в сорок шестом, как увидел, как фронтовые товарищи спиваются, сказал себе: «Стоп, мне еще с Алешкой в футбол поиграть надо». И вот играю! Правильно я сделал?.. Хорош, спасибо!
— Правильно. Слушай, а чего они стреляли по вас? Не любили?
— Не любили, конечно!
— А почему?
— Как почему?— Они одевались.— Новой жизни не хотели.— Отец приплясывал на одной ноге, натягивая носок.— А мы их— приучали, а они бандитничали, твоего отца хотели убить, но я, как видишь, живой пока.— Он причесался, спрятал расческу.—

Пошли, ты ведрохвати, а я дровишки присмотрю.

Мама крикнула издали:
— Алеша, Коля, скоро вы там? Куда вы пропали? А где папа?..
Алеше не хотелось кричать и разговаривать на расстоянии—не солидно, но он все же махнул рукой:
— За хворостом.
— А вот и наш папа,—сказала другая мама.—Больно вы долго ходите, Евгений Маркович! Сказали, на полчаса...
Евгений Маркович был мужчиной пожилым, сухощавым и высоким. Он как-то сразу вышел из леса, из-за машин, и теперь стоял перед компанией—все сидели, а он стоял, будто разглядывая и прикидывая что-то.
— А куда спешить,—сказал он, подумав.—Спешить некуда! И не надо! Вредно и опасно к тому же!.. Здравствуйте,—поздоровался он наконец, ни на кого не глядя и не проявляя никакого интереса.
Он присел к костру и закурил «Беломор», хотя только что бросил окурочок. Одет он был в туристскую робу и в движениях был быстр и угловат.
— Женья! Это наши гости, познакомься!
— Гости?—переспросил он.—Очень приятно. Рудич.
— Кузнецова. А это Леночка, и вот Алеша идет, мой сын.
Человек посмотрел в сторону идущего, кивнул и уставился в костер.
— Нашел?—спросила жена.
— Как видишь, нет.
Мама-Кузнецова забеспокоилась:
— Что-нибудь потеряли?
Другая мама пояснила:
— Десять лет назад, в пятьдесят шестом, закопали бутылку из-под шампанского, на память, с запиской, вот хотели найти, простець.
— Может, кто взял,—сказала Кузнецова.—Мальчишки какие-нибудь хулиганы.
— Не думаю. Кому здесь брать? Просто не мог найти, и всё!
— А в записке—важное что?
— Ерунда,—сказал человек, ему был неприятен этот разговор.—Чего приемник кричит, по телевизору соскучились?
— Женья, люди слушают.
— А, извините.
— Папа, мы в футбол выиграла. Я головой мяч отбил.
— Очень хорошо. Есть будем? А где водка, не достала?
— Она в машине.
— Лес зарастает, совсем не смотрят. Сплошное мелколесье.
— Радио можно выключить, мы его не слушаем. А это Алеша.

— Здравствуйте. Алексей.
— Рудич. Здравствуйте.
— Чего так долго?
— Купались.
— С ума сошли!— ахнула мама.
Наташа посмотрела с любопытством.
— Купались?— впервые заинтересовался человек.— Вода-то холодная, пожалуй.
— Ничего.
— А кто еще?
— Папа.
— Хозяин наш.
— Молодцы!.. Молодцы! Здорово?— И первый раз улыбнулся.

— Хорошо,— Алеша был лаконичен, что-бы не продешевить.

— Ах, черт! Мне бы пораньше прийти, я бы тоже, а один боюсь.— Он посмотрел на дочь.— А ты чего же?— И тут же отбросил эту мысль.— А где папа?

— Дядя Коля,— сообщил сын.— Мы с ним их в футбол обыграли. Я мяч головой отбил.

— Молодцы, молодцы! Давай водки, Лида! Ребятам надо согреться. А хозяин, я вижу, у вас молодец!

И мама, которая уже поняла, что человек этот не очень часто улыбается, очень была польщена и в тон ему сказала:

— Ничего, не жалуемся. Только водку-то они не пьют.

Человек даже повернулся на месте:

— Кто? Совсе не пьют? И молодой, Алеша?

— Нет,— сказал Алеша.

— Коньяка нет, к сожалению.

— Я ничего не пью.

— Он у нас ничего не пьет.

— Современный молодой человек и такой благочестивый. Карамазов какой-то. Вся страна пьет, а он—нет. Это ж прямо антиобщественное поведение получается, вызов, а, Алеша?

— Нормально получается.— Алеше не нравилась манера шутить этого человека.

— Так и я не говорю, что не нормально, вразрез, говорю, получается.

Мама пришла на помощь.

— Хозяин-то наш выпьет рюмочку,— пообещала она.— Вот и он идет.

От реки показался Кузнецов, весь в хворосте, и его почти не было видно.

— Дядя Коля!— Борис побежал к нему навстречу.

Дядя Коля подошел, сбросил хворост, распрямился, улыбнулся своей прекрасной мужской улыбкой.

Все смотрели на них обоих, предвкушая и радуясь тому, как эти двое мужчин познакомятся и понравятся друг другу.

Алеша видел, как дрогнула улыбка у Рудича и сменилась удивлением, и он посмотрел на отца, который шагнул вперед,

держа одной рукой Борю и протягивая другую.

И Алеша еще раз посмотрел на Рудича и на отца и не мог ничего понять и улыбался еще по инерции. И все тоже. Стояли и тихо улыбались.

— Кузнецов,— сказал Кузнецов, продолжая тянуть руку.

И все видели, как во сне, как ушла медленно рука Евгения Марковича за спину.

Это было так нелепо и несправедливо— не могло такого быть.

И все еще улыбались, улыбались...

И Кузнецов тоже улыбался и держал одинокую руку.

— Мы знакомы,— сказал Евгений Маркович четко и сухо, как все, что он говорил.— Вы—Кузнецов Николай Дмитриевич?

— Да.— Отец опустил наконец руку.

— Вы служили на Севере командиром дивизиона охраны?

— Ну,— сказал кто-то за отца.

— Март пятьдесят третьего помните?

Еще тогда, когда отца называли по имени и отчеству, все уже почувствовали, что произойдет что-то страшное и безобразное, а потом эти слова, и после них можно было услышать еще что угодно. Уже никто не улыбался. И Алеша видел их сразу вместе: справа—того, который до этого был его веселым и уверенным отцом, слева этого человека, который будто рассказывал про то, как он ходил в лес. И не было их отдельно, а были они только вместе, а отдельно мог быть улыбающийся отец, тот другой, веселый.

А Рудич Евгений Маркович закурил новую папиросу и добавил только для своих еще какие-то непонятные и опять, очевидно, страшные слова:

— Илюша обязан этому гражданину начальнику.

И они еще так постояли, и было слышно, как трещат сучья в костре. И только один человек стоял живой и дымил противным «Беломором».

Потом он повернулся и ушел в сторону, и его жена шевельнулась тоже, и дети, и все опять ожили. Но все были другими!

И мама Наташи сказала Наташе и сыну:

— Соберитесь.

Она сказала тихо, но ее мужу мало было сказанного, он обернулся и опять громко и спокойно, как справку, будто ничего не произошло, будто ему было это раз плюнуть, сказал:

— А почему мы должны собираться, мы первые здесь остановились.

Мать, кажется, охнула. Она кинулась и суетливо и некрасиво до стыда стала собирать вещи. Она хватала их подряд, и они вываливались у нее из рук.

А отец? Он не засмеялся в ответ этим дурацким и страшным словам, не пожал

плечами, не взял за ворот эту узкую глисту, не тряхнул его, не ударил, не оскорбил, он повернулся и пошел к машине, и спина его торчала выше головы.

Это было унизительно для всех: и для тех, кто стоял и смотрел молча, и тем, кто собирал вещи под их взглядами и, комкая, бросал их в машину. Они старались это делать медленно, но все равно получалось гадко и суетливо.

Наташа отошла за свою машину и отвернулась; Бориса отвели к ней и развернули спиной. Мать их тоже отошла в сторону, чтобы не смотреть.

Лишь один мужчина остался на месте, он курил свой «Беломор» и смотрел через их головы.

Отец, как залез в машину, так не вылезал. Мотор был на взводе.

Мать стала собирать банки тушонки, растеряла их все, махнула рукой, схватила, что смогла, в две руки, все втиснулись в машину, машина тронулась и стала уходить прочь, переваливаясь и уменьшаясь в размерах.

Мужчина сказал:

— Нам здесь тоже нечего делать. Соберите вещи, Лида. Наташа, помоги маме.

Сам он подошел к костру. Сдвинул в кучу угли. Плеснул из ведра. Подождал, когда отойдет пар, и вылил остальную воду.

Кузнецовы ехали молча. Только Лена спросила:

— Почему мы уехали?

— Молчи,— сказала мать.— Смотри в окно и молчи.

Из-за этого молчания дорога казалась долгой, очень долгой. Все смотрели перед собой или в сторону, но никто друг на друга.

Первой опомнилась мать, вспомнила, что она мать, и пришла на помощь мужу.

— Ишь, хам какой! Недобиток несчастный! Зря ты ему, Коля, спустил! Конечно, мараться не стоило, день портить, праздник, но надо было нахала проучить.

Отец молчал. И Алеша впервые повернул голову и посмотрел на своего отца. По тому, как дрогнуло что-то в лице отца, было видно, что он ожидал этого взгляда.

— А почему мы уехали?— опять спросила Лена.

— Не трожь гэ, оно вонять не будет. Не расстраивайся, Коля! Не обращай внимания!

— Почему мы уехали?— спросил сын.

— Потому,— быстро и громко заговорила мать, будто собиралась перекричать его.— Что с ними делать, наглецами? Драться?

— Что ты говоришь? А если они не правы, почему нам уезжать?

— А то они правы! Хамье! Коля, может, поедем в другое место?

Машина спускалась к реке. Снова разбежалась, хотела взять сходу, но забуксовали задние колеса.

— Подтолкни,— сказал отец не глядя.

Алеша стащил кеды, носки, подвернул джинсы, шагнул в воду. Качнул машину раз, другой. Ничего!

— Сейчас я выйду,— сказала мать.— Подожди.

Сын подошел к кабине, наклонился над отцом.

— Пап, а почему мы уехали?

— Не приставай,— опять сказала мать.— Тебе что сказали? Я сейчас. Никак не стащу.

— Пап, почему мы уехали? Может, вернемся, чтоб они не думали, что мы какие-нибудь!

Отец молчал, а мать уже вылезла из машины, чертыхнулась на холодную воду и потянула сына за рукав.

— Внимание-то обращать. Наплюй и забудь!

— Вернемся, пап?

— Иди сюда! Давай! Включай, Коля!

Они качнули машину. Еще раз— машина поползла вперед, выбралась на берег и вползла на бугор.

Мать сказала тихо:

— Не приставай к отцу. Ему и так...

— Почему мы уехали?— упрямо и тупо повторил сын.

— А что с ними делать? Пошли.

Мать вышла из воды и стала подниматься к машине, а Алеша потоптался и вдруг решил.

— Я сейчас! Я сам с ними.— И кинулся на другой берег.

— Алеша! Алеша! Сейчас же вернись! Алешка!..

— Алексей!..— это отец.

Алеша обернулся.

— Я сейчас. Я быстро.

Он бежал босиком, с подвернутыми джинсами. Бежал быстро, прижимая локти и работая дыханием, как привычно бегут на дальнюю дистанцию. Он торопился.

Когда он увидел их, они уже собрались, и все, кроме мужчины, сидели в машине.

Главный виновник укладывал что-то в багажник. Рука его лежала на крышке, он остановился и посмотрел в сторону бегущего Алеша— видимо, ему сказали об этом из машины— и он помедлил, хлопнул крышкой, проверил, все ли в порядке, а потом прошел вперед и сел в кабину за руль.

Поляна была опять пустая и опрятная. Только серело кострище и лежала кучка забытых Кузнецовыми вещей: банки, хлеб, картошка и еще что-то.

Алеша торопился, он крикнул:

— Мне с вами надо поговорить!

Глядя из машины, наполовину прикрытый стеклом, мужчина сказал так же спокойно.

— Нам не о чем разговаривать.— И включил зажигание.

Мама Наташи сказала:

— Алеша, вы забыли там. Возьмите!

— Как не о чем?— Он держал машину за стекло и готов был удержать ее во что бы то ни стало.— Не о чем? А то что вы моего отца оскорбили, это вам как?

— Я его не оскорблял. А он оскорбился? Или вы за него?

— Я его сын!

— Я знаю. Но вы здесь, юноша, не при чем, так что на нас, на меня, вам нечего сердиться!

— Я сын! Сын!.. А он мой отец!

— Это наше дело, вы здесь не при чем.

— Я не при чем? Это почему же? Вы вылезайте, вылезайте! Что вы боитесь!

Весь он был на взводе, и все время можно было ожидать, что он вот-вот ударит.

Мужчина заглушил машину.

— Женя,— сказала жена.

— Сейчас.— Он открыл дверцу, встал рядом с Алешей, потрогал пальцами край стекла, где держал Алеша, хотел убедиться, липкий или нет, посмотрел на Алешу.

— Так что вы мне хотели сказать?

— Почему вы обидели моего отца? Какое вы имели право?

Мужчина закурил.

— Право? Я сказал ему правду, он ее не оспаривал. Правда имеет права? Мы с вашим отцом сами это выясним, а вы занимайтесь своими проблемами.

— Я—сын.

— Я уже слышал, это очень отратно, что вы не забываете об этом.

— Ишь, вы как хорошо придумали: вы будете наших отцов калечить, а нам на все закрыть глаза, мол, что было, то было, это вы хорошо придумали, удобно!

— Это не я придумал.

— Но вам нравится!

— Совсем не нравится. Пойдем пройдемся.— Он взял Алешу за плечо.

— Вы меня не трогайте! Вот так! Нечего меня трогать!

— Женя!

— Сейчас. Видите ли, Алеша, все очень сложно!

— Я эту песню уже слышал. Очень удобная, чтобы всякую подлость оправдывать и покрывать! А все просто—надо отвечать! Отвечать! За слова! За все!

— Я знаю.

— Знаете?

— Знаю.

— А что... за это... знаете?

— Знаю, конечно,—кажется, он улыбнулся впервые.

— Так вот вы отвечайте за свои слова.

— Я отвечаю.

Они отошли далеко, и их не стало слышно. И они шли, потом остановились, потом опять медленно двинулись в сторону реки, опять остановились, и Алеша что-то долго-долго говорил, а мужчина курил и кивал, курил и кивал, а потом говорил он, говорил и ждал, когда Алеша кивнет, и тогда он продолжал говорить, и опять ждал, когда Алеша кивнет, и после совсем они молчали оба и ждали.

И человек протянул руку и что-то сказал, и Алеша сказал тоже, и человек убрал руку и еще что-то говорил, и после Алеша протянул свою. Было видно, как они только дотронулись друг до друга и тут же разошлись.

Кузнецов лежал в кустах и видел, как, прижав локти, бежит сын. Он встал, отрянул колени, и вид у него был усталый-усталый.

Он нагнал сына в лесу. Хрустнула ветка, сын обернулся и замедлил шаг.

Шли рядом и не говорили. Так дошли до речки.

— Я тебе дам!—крикнула мать с того берега.

Они перешли речку, сели в машину.

— Я с тобой дома поговорю,— сказала мать.— Распустился совсем.— Она села рядом с Алешей, а Алеша сел за руль.

Долго ехали и молчали. Долго.

Ехали уже по шоссе. Мать включила приемник и поймала праздничный концерт. Пели песни боевых лет. Пели про паровоз:

Наш паровоз, вперед лети,

В коммуне остановка.

Другого нет у нас пути,

В руках у нас винтовка!..

Уже потянулись пригороды и щиты с призывами. Пели про тачанку.

Въехали в Москву, и сверкали огни.

Мы—мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути...

Вечером сидели дома за столом и смотрели телевизор. Передавали праздничный концерт: песни и танцы народов нашей Родины. Танцевали и пели традиционно хорошо, весело и радостно.

Кузнецов сидел в расстегнутой рубашке. Жена в халате. Сын между ними, уставился в телевизор.

Вошла Леночка в пижаме, поцеловала мать, отца, толкнула брата.

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Танцевали туркмены.

Отец налил себе рюмку, спросил сына:

— Тебе налить?

— Нет.

Отец выпил, тут же налил другую.
Пели свои степные песни казахи.
Станцевали белорусы.
Ладно пропели эстонки.
Отец налил еще, он уже захмелел:
— Выпьешь?
— Нет.
Поплыли необъятные просторы России.
Матушка-Волга. Запела задушевно Зыкина.
Отец спросил:
— Выпьешь?
— Не хочу,— сказал сын.
Мать сказала:
— Выпей с отцом рюмочку. Сегодня можно, такой день, праздники.
— Не хочу.

— С отцом, значит, не хочешь выпить, а другим ручки пожимаешь? Хорош сынок! Молодец, далеко пойдешь!

Сын посмотрел, встал:

— Спокойной ночи!

— Чего молчишь?

— Я не молчу.

— Пусть идет,— сказала мать.

— Пусть. Воспитала ты сына...

Танцевали грузины. Танцевали весело, видимо, грустить им было не с чего.

Над городом легла ночь. Праздники кончились, завтра были трудовые будни. Снимали флаги, свертывали транспаранты, подъемные краны снимали громадные портеры. Праздники кончились.

Утром над городом заговорило радио. Радио сообщило все новости. Потянулись трамваи, троллейбусы, автобусы. Появились первые пешеходы. Наступил новый рабочий день.

Утром Кузнецов-старший стоял под душем, закрыв от удовольствия глаза. После растирался полотенцем.

Потом он брился опасной бритвой.

Потом умылся и с удовольствием посмотрел на себя в зеркало.

Со вкусом завтракал, просматривая газету и слушая радио.

— Спасибо,— сказал он жене. Он свернул газету.— Алексей встал?

— Уже.

— Хочу с ним поговорить.

— Может, после работы?

— Лучше сейчас, не хочется уходить с таким настроением.— Посмотрел на часы.— Четверть часа есть еще.

— Здравствуй, сынок! Доброе утро!

— Доброе утро!

— Я хочу с тобой поговорить. Садись. Ты у меня спрашивал вчера, несколько раз спрашивал, почему мы уехали.

— Да.

— Я тебе объясню: я вчера был расстроен, даже странно, что я так расстроился, но

этот несчастный человек, он меня вывел из себя.

— А почему он несчастный? Он держался хорошо, мы, наоборот, выглядели плохо.

— Неважно выглядели?

— Очень. Просто стыдно. Я потому и спрашивал, почему мы так позорно уехали. Бегство какое-то!

— Видишь ли,— сказал отец, его начальная легкость исчезла.— Я объясню ситуацию, ты поймешь: ты знаешь, после госпиталя мы переехали из Литвы на Север, в пятьдесят втором, может, ты помнишь, ты был маленький, правда. Этот человек был у нас, видимо, я его не помню, не было желаний запоминать все эти личности. Я занимался охраной, больше ничем не занимался, арестовывали, судили их другие, а я только смотрел, чтобы они не нарушали режим, чтобы не убежали. Сидели там отъявленные негодяи, это я тебе могу точно сказать, я с ними сталкивался и в Западной Украине, и в Прибалтике, вот вся эта плесень, бандиты, предатели, изменники, космополиты отбывали свое заслуженное наказание. Не знаю, за что сидел этот человек, но раз он на свободе, видимо, считают, что он заслуживает доверия. Вел он себя, конечно, некрасиво, и я бы его сейчас поставил на место, но вчера я растерялся.

— А что он тебе говорил про март пятьдесят третьего?

— Сейчас скажу. Тогда умер Сталин, ситуация была сложная, не знали, как повернется дальше, и некоторые осторожничали, а они подняли бузу, шумок по-ихнему, устраивали митинги, орали песни, разные лозунги, мол, невинные, и всячески нарушали режим, а потом устроили демонстрацию. Мы были предупреждены, но начальник растерялся, ждал указаний сверху и ничего не предпринимал. Они распоясались совсем, народ там был прожженный, опытный, поперли прямо на охрану, а у меня большинство были молодые солдаты, сопляки, боялись в воздух стрелять даже. Представляешь, если бы я дрогнул, они бы все смяли и устроили тарарам, им же потом было хуже. У меня есть распорядок, инструкция: сначала дали предупредительный залп, а потом пришлось принять крайние меры.

— И убили?

— Рассеяли.

— А жертвы были?

Помолчал, сказал твердо:

— Были.

— Много?

— Я не помню. Если бы мы их не сдержали, им было бы хуже— всем! Меня потом вызывали, как, мол, не могли без крови, начальник на меня свалил. Перевели. Потом демобилизовали. Но никто с меня погон не срывал, наград не лишал, и провоз-

дили на пенсию с почетом. Квартиру дали, вот видишь. Допустил грубые ошибки в сложной ситуации, но никто мне не говорил, что я враг или изменник, или еще там кто. Я честный человек, и мне нечего скрывать. Вот так, Алеша!

Сын молчал, опустив глаза, думая о своем.

Отец глянул на часы, сказал несколько раздраженно, реакция сына начинала злить.

— Что скажешь?

— Чего говорить?—сказал сын, не поднимая глаз.—Грустно все это.

— Что?!—голос сразу сел.—Что значит «грустно», что за дурацкое слово? Я тебя не про стихи спрашиваю! Это—жизнь!

— Я тоже не про стихи.

Упрямым он был, набылчился, и что у него происходило в голове, черт его поймет!

Отец чувствовал себя специально непонятым, и досада на себя, на свой «откровенный разговор» и злость на сына овладели им.

— Как же в безоружных стрелять?—спросил сын и опять он не смотрел в глаза.

— Эти безоружные, мало мы их...—начал отец.—Я тебе сказал уже: есть устав, инструкция, приказ!

— А чего ты тогда испугался?

— Кто испугался?

— Вчера, как ты испугался.—Сын поднял на него глаза.—Молчал всю дорогу, слова не мог сказать, мама за тебя говорила.

— Мне бояться нечего,—голос у отца сорвался.—Пусть другие боятся. У меня совесть чиста, я всем могу сказать!

— А как же девятого января, тоже по приказу?

— Ты не говори глупости! Не сравнивай! Болтовня! Нашел, что сравнить! Мы порядок защищали, а это—царские тираны... помещики, капиталисты...

— Так стреляли не помещики.

— Что?.. Верно, рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели. Так они же были несознательные... Или ты что хочешь сказать?

Сын молчал, опустив голову.

— Ты чего хочешь сказать? Что твой отец подлец, что ли? Или там... убийца какой?

Сын молчал.

— Ты не молчи, чего ты глаза прячешь? Ты не бойся, что ж ты!

Сын медленно поднял свое лицо. Глянул в глаза. Усмехнулся.

Отец не сам ударил, рука ударила—прямо по ухмылке. Сильно ударила.

Он рванулся вперед, но у самых дверей в коридоре, сын догнал его, развернул за плечи и крикнул в лицо:

— Почему?! Почему?! Боишься, значит?

Первым его желанием было вытереть

кровь с лица Алешки, но от слов сына зарычал, закричал:

— Щенок! Убил бы. И справедливо.

И тут кинулась мать, упала всем большим телом между ними:

— Коля!

Он хлопнул дверью и побежал по лестнице.

Он шагал среди прохожих.

Ехал в метро, кругом стояли плечо к плечу, и он среди них, и все отирал свою щеку и губы, будто хотел сбросить что-то.

Была проходная.

Заводской двор. Портреты вождей, гипсовый Ленин на пьедестале.

Он вошел в лифт. С кем-то поздоровался, кому-то улыбнулся. Вокруг разговаривали, но он не слышал, он трогал свою щеку, будто не он сам, а его ударили.

Цех работал. Все было ладно и гармонично. Все шло планоно.

И мастер Кузнецов, который поглаживал свою щеку.

И снова—цех, производство.

Он сидел в курилке, и все смотрели на него, как он курит и как рассказывает, и никто не курил.

— Весной все они с ума сходят: на волю хочется. А нам пригнали этап, и одна молодежь. Быть беде, значит. Молодые—психи, ничего не понимают, через неделю трое убежали. Одного на следующий день взяли, другой тоже нарвался, а третий, гад, исчез, и нет его. Из Воронежа парень был. Неделю—нет, в бараках поют, гуляют, радуются сволочи, значит. А еще через пару дней привезли его подстреленного. Морозно было, и он у нас два дня лежал для обозрения, чтоб все видели, когда на вахту и с вахты идут, и знали свое место, и помнили, что из советского лагеря никто не убежит, каждый должен свое получить по закону, трудом или прилежанием искупить вину перед народом.

И снова—цех, работа.

Опять в курилке сидел Кузнецов и опять поражал всех своими рассказами.

— ...И плакат несут: «Мы—невинные!» Это—они: старосты, «роа», бендеры проклятые. Мы же знаем, что это за сор собрался со всей страны, как они радовались, сволочи, когда Сталин умер! Письма-то еще никакого не было, а они уже радовались, когда вся страна в трауре и горе! Мы же знаем, что завтра они выйдут и опять в леса, опять воровать, убивать, детям в яслях яд подсыпать, урожаи травить, слухи распускать, мы знаем эту породу, волчью. У меня рука не дрогнет на таких, меня на горло не возьмешь, я пять лет на фронте видел, как они кричат, и всыпали им, чтоб уважали и знали свое собачье место...

Цех работал. Продукция собиралась высшего качества, о чем свидетельствовали транспаранты и плакаты, развешанные повсюду.

Кузнецов рассуждал:

— ...Пока здесь работали, электростанции строили, детей воспитывали, мы там ночей не спали, охраняли! Верно? Чтоб люди спокойно жили, работали! Чтоб никто их не мог оскорбить или обидеть! Мы ж для этого там мерзли и жизнь тратили...

И он погладил щеку.

Смена кончилась. Выходила через проходную.

Он ехал в метро.

Шел по улице.

Дома никого не было: он заглянул в обе комнаты—никого. В кухне на столе лежала записка, он прочел ее, сел на стул, встал, снова взял записку, перечитал, скомкал и бросил в угол.

Он пометался по пустой квартире, включил ненужный свет, включил телевизор, радио, послушал радио и выдернул штепсель.

Телевизор нагрелся и заработал. Он крутанул одну программу, другую, третью, опять прошелся наоборот, остановился на праздничных кинорепортажах.

Он улегся на тахте, накрылся пледом и стал ждать. Глаза его были прикрыты, но он не спал.

Показывали празднование Первой в городе-герое Ленинграде, в столице Узбекистана, в Киеве, в солнечной Грузии...

Потом пришла жена.

Кузнецов сел:

— Ты одна?

— Одна.

— А Лена где?

— За хлебом пошла.

Жена зашла в комнату, села рядом с мужем.

— Устала я, ноги гудят. Что это передают, праздники?

— Праздники. Видела его?

— Видела. У тети Нины. Хочет в Сибирь ехать. Я говорю, хоть школу закончи.

Муж молча слушал.

— Нельзя так, Коля. То по шерсти, то против.

Муж спросил:

— И что про школу?..

— Ничего, пока в горячке. Я поговорила с Ниной, через недельку отойдет, домой вернется.

— Не отойдет.

Муж вскочил, заходил по комнате.

— Не отойдет, думаешь?

— Как это отойдет? Дурацкое слово! Куда? Зачем? Пусть делает, как думает! Он взрослый человек!

— Да ты что? Думаешь, что говоришь?! Или совсем спятил?!

— Ладно, ужинать давай, хватит об этом!

— Сейчас,— тихо сказала жена.

— Отойдет, не отойдет! Не такой парень!

Следующим утром он опять шел на работу.

Ехал в метро.

Проходил проходную.

Поднимался на лифте.

Здоровался он рассеянно. Да и люди тоже не то кивали ему, не то не замечали. Почувствовал он это в раздевалке.

Он прошел к своему шкафчику, сказал одному: «Здорово». Но кто-то не расслышал, второй тоже не ответил. И он тогда сбавил шаг и громко сказал за спиной своего соседа: «Здорово, Иван Васильевич!»

Иван Васильевич заскрипел, нагнулся над ботинками, закашлялся. Кузнецов положил ему руку на плечо:

— Здорово, Иван Васильевич!

— Чего?

— Здорово, говорю.

— Привет.

— Ну, дай петушка поддержать.

— На, поддержишь, если хочется.

Не отпуская руки и улыбаясь, он заглянул в лицо:

— Ты на меня не обижаешься?

— А чего мне на тебя?

В проходе уже несколько человек наблюдали за ними.

— Как дела?

— Чего?

— Как дела, семья как? Чего невеселый?

— Ладно, пусти, чего ухватился?— Иван Васильевич дернул руку.

— Приятно пожать руку честному человеку.

— Пожал, и хватит.

— Что ж ты, здороваться не хочешь, а руку подаешь? Знаешь, кто так делает?

— Кто?..

— Дешевки.

Иван Васильевич был трусоват, но его тоже задело:

— Лучше уж быть так, чем таким.

— Каким?!

— Таким, сам знаешь.

Кузнецов шагнул за ним, потянулся руками.

— Скажи, каким, каким, чего боишься! Скажи!— И уже брал за грудки.

— Убери руки, убери руки! Не трогай!

И уже набежало много народа, и был полный крик, и не было видно и слышно, что творится... Но все вдруг качнулись, зашумели, закричали.

Появился Андреев, мастер-механик, самый большой и толстый человек в цехе. Он

толкнул сразу нескольких и прошел в середину.

У Ивана Васильевича из носа текла кровь. Кузнецова держали.

— Сволочь! — кричал Иван Васильевич. — Гад режимный, ты свои старые замашки брось, здесь тебе не старая работа.

Андреев положил ему руку на голову, и тот сразу успокоился, заглянул ему в лицо, дал платок.

Кузнецов стоял один среди всех, и вокруг смотрели одни чужие глаза.

— Отпусти, — сказал тихо Андреев. — Ты его?

— Я, — сказал Кузнецов, собираясь в пружину.

— Что с тобой, Коля? — Андреев положил свою большую руку и погладил Кузнецова по голове, как ребенка. — Плохо тебе?

И Кузнецов поник.

— Плохо, — сказал он и опустил голову. — Очень плохо.

Все боялись, что он расплачется. И всем стало жалко Кузнецова. Все же он был хороший мужик, вот только последнее время на него что-то нашло.

— Пошли работать, — сказал Андреев, и все стали расходиться.

Он взял за плечи Кузнецова:

— Что ж ты на людей кидаешься, Коля? Не надо. Иван Васильевич — заслуженный человек. Две дочери у него взрослые, замуж отдавать надо, а ты — дерешься. Что ж ты, что ж ты так?

— Прости, Иван Васильевич, — сказал глухо Кузнецов, — прости.

И вдруг все закипело в нем снова.

— Но я — честный человек, понял?! Честный!

Парторг завода вышел навстречу. Они знали друг друга давно по парткому, но главное — оба они были из перебитого поколения, и это соединяло их больше, чем что-то могло разъединить или объединить.

— Проходи, Кузнецов, садись. Ну, что у вас происходит?

— Ничего у нас не происходит.

— Как это ничего? А то, что ты две драки учинил, разговоры ведешь безумные, и где — в секретном цехе?! Коммунист, офицер запаса, член партбюро цеха, ты думаешь, что ты делаешь? Ты знаешь, чем это пахнет?

— Ты чего орешь-то?

— Что?..

— Не кричи, будешь много нервничать, раком заболеешь.

— Так. Вопрос, я вижу, действительно серьезный. А ты, я вижу, спокоен?

— А чего волноваться, работа идет, план даем.

— А разговоры?

— Какие разговоры?

— Ты знаешь.

— Я много знаю, что ты загадки загадываешь?

— Про лагеря говорил?

— Говорил. Рассказывал. Что особенного? Тайн и секретов не выдал. Факт из биографии.

— Ничего себе факт, весь цех перепугал. Мне позвонили, я не поверил. Там же молодежь, они ничего не понимают, зачем об этом рассказывать?

— А почему мне не рассказать. Хорошая биография, с семнадцати лет воевал, четыре раза ранен. Семь наград. Родину отстоял. Европу освободил.

— Не ты один.

— Не я один, верно. Но и я тоже. И не так, как другие. По-разному воевали, ты знаешь.

— Слушай, Кузнецов, ты мне об этом не рассказывай. Я тоже воевал, может, хуже, может, лучше, но воевал. И у меня медали тоже в столе лежат. Мы с тобой не в электричке — цену себе набивать. Мы отвоёвывали, а теперь работать надо. О сегодняшнем дне думать надо, а прошлому — слава и почет.

— Правильно, я тоже так считаю.

— Поэтому не надо много говорить, знаем тебя, знаем, уважаем, помним, как ты пришел, и премии помним, и доску почета, знаем — не об этом речь — о другом. Зачем про лагеря рассказывал?

— Вы меня в прошлом году, в двадцатилетие, в школу посылали?

— Опять ты! Ты что из себя дурака строишь? Мы тебя зачем посылали? Молодежи о войне в патриотическом плане рассказать?

— А я и рассказываю, тоже в патриотическом.

— Лагеря — в патриотическом?

— А чем нет?

Парторг посмотрел на него, закурил, помолчал. Кузнецов тоже не спешил.

Парторг сказал, глядя в окно:

— Не надо, понял? — И повторил: — Не надо, Коля.

— А это, знаешь, проживешь мою жизнь, тогда сам и решишь — что тебе рассказывать теще, а что скрывать. А я пока разберусь сам.

— Так. Я вижу, ты действительно заболел...

— Это почему же?

— Да ты что, не понимаешь, что не надо об этом! Не надо! Этот вопрос решен. И хватит! Отговорили!

— Тем более, решен — почему не поговорить! Я же не придумываю, всё правда...

— А какая правда-то?

— Какая?!

— Грубая. Некрасивая. Никому не нуж-

ная, неприличная правда. Зачем же раздеваться, зачем же людей пугать? Ты еще штаны сними и покажи свою правду!

— Этой похабелю ты занимайся, а мою жизнь нечего сравнивать. Она была чистая. Чистая. Тяжелая, правда, но не я ее выдумал, и мне ее стесняться не к лицу.

— Так ты не стесняйся, ты меня правильно пойми, правильно пойми! Ты постарайся понять, что ты уперся! Мы знаем, что ты честно прожил. Знаем. Но держи ее при себе, зачем всё-то выставлять?

— Хочешь мою жизнь мне же под подушку упрятать? Прав не имеешь. И не лезь, не твое.

— Опять ты о своем! Я тебе о чем говорю: тебя никто не обвиняет. Было сложное общественное явление. Трагическое для нашей страны и для нашей партии. Было тяжело в этом признаться. Но партия нашла силы и мужество посмотреть правде в глаза, чтобы исправить эти культовские пережитки и извращения, которые мешали нашему строительству. Мы восстановили правду, восстановили нормы. Ответственные за эти перегибы лица, сам знаешь, были наказаны. Что касается других работников младшего звания, к ним никто претензий не предъявлял. И не надо, не надо, Кузнецов, трогать этот вопрос. Он уже решен, и хватит! Хватит на эту тему спекулировать!

— Я не спекулирую.

— Знаю! Знаю... Но не надо об этом, понимаешь, не надо! Прекрати, прошу, эти бессмысленные разговоры. От них нет никакой пользы, один вред.

— Ты хочешь, чтобы я выбросил эти годы? А я не хочу. Это—мои годы. И я за них отвечаю. И я не ошибался, понял? Не ошибался, выполнял приказ.

— Как же это тебе удалось? Вся рота шагает не в ногу, один ефрейтор в ногу?

— Не ошибался. Все было правильно. А неправильно—меня бы к стенке поставили. Такие вещи не прощают, это не ошибка. А я—чист. Поэтому не трогай меня. Ошибались... Ничего себе ошибочки позволяли себе! А потом, значит, увидели, спала пелена, заговорили, заохали, ах, как страшно, как страшно! И все это они, они, органы, виноваты! А мы—только жертвы! А кто руки тянул на собраниях—«единогласно», кто орал до посинения «Наш Родной и Любимый!», кто стихи писал, кто просил: «Убей его, убей!» Где они все—писатели, академики, все объясняли, разъясняли, где в Бельгии не там река течет... Все видели, все знали, а главного не разглядели, а на хрен они тогда академики, на хрен они тогда в писатели лезли? Кушать хотелось хорошо? А я с семьей классами все видел и не ошибался! Потому что не имел права.

— А где ж ты был тогда?

— Здесь я был, и мне нечего скрывать и стесняться. А у кого душонка не чиста, ничем не могу помочь... Значит, надо отвечать за свои поступки, за свою трусость и подлость, значит, знали, что творят антинародное зло, вредительство, но молчали и делали. Или просто молчали... И сейчас есть такие. Знают, что делают глупое и подлое, и все равно делают, потому что свою задницу и шкуру барабанную любят больше чести и больше всего прочего! И согласиться с их шкурными интересами я как коммунист, как фронтовик, у которого все друзья закопаны, как отец, не могу и не имею никакого права. И ненавижу я их мерзавцев, это точно! И всегда готов придавить их с большим удовольствием еще раз... А ты?.. Ошибся со всеми? Оно в стаде, конечно, всегда теплее, пусть у тебя душонка и скребет. Только на твоём бы месте я бы спокойно не спал, а взял бы револьвер или в окно. Правда, тебе все равно, ошибаешься ты за счет других, лишь бы зад твой в тепле был! А из меня, милый, шестеренки не сделаешь! Я—человек, понял? Я Россию защищал! Я мир от фашизма спас, я Родину восстановил вот этими руками, я детей воспитал! Я работал! Я не жалел себя, а теперь ты хочешь, чтобы эти руки были в крови, а ты бы простил им?! Ты, который сам ошибался? Врешь! Они—чистые! Они—чистые! А ты, винтик паршивый...

— Молчать! Ты, лагерная шкура! Прекрати! Хватит с нас этих крайностей, этих бессмысленных криков! Мы должны отвечать за свои слова! Мы должны строить, строить и строить! И хватит этих дурацких фраз, мы ими уже сыты, вот так! Мы сами все пережили, и тебе здесь нечего из себя героя-одиночку корчить! Есть партийная дисциплина, и у партии тоже есть терпение. Нам нужны работники, а не гастролеры, которые роются в своем прошлом!

— Ты...

— Прекрати истерику, Кузнецов, хватит! Ты и так уж много сказал, скажи спасибо моей выдержке. От работы ты отстранен... на неделю. Походи, подумай. Будешь вести себя так дальше, положишь билет на стол.

Кузнецов замер. Потом медленными движениями извлек партбилет. Посмотрел на него. И медленно и тщательно упрятал.

— А кто его у меня возьмет, ты, что ли?

— Сам принесешь... А если понадобится—и я.

Кузнецов опять порывался в кармане, достал билет, показал:

— Видишь? На, возьми!—И сунул в нагрудный карман.—Возьми!—И сделал похабный жест.—Видел?!

На крик вбежали люди. Кузнецов пришел в себя. Сказал тихо, пряча билет на место:

— Не ты мне давал, не тебе отбирать.

Он повернулся и пошел.

— Кузнецов!..

Он остановился, не поворачиваясь.

— Кузнецов!..

Парторг догнал, взял его за плечо:

— Ты на меня не сердись за горячее слово, сам виноват, не надо было меня заводить. Приходи, поговорим. Мы ж фронтовики, нам срываться нельзя, у нас дети растут. Приходи.

Кузнецов повернул к нему свое лицо:

— Хочешь мне смертный приговор подписать? Не спеши. Я сам с усам. Я сына собственного к стене— вот этой рукой... И ты на меня... «за горячее слово не обижайся»... Не за себя, за верность стоял. Будь!

Он вышел из парткома, посмотрел на завод, пошел прочь. Оглянулся еще раз, чуть приподнял кепку.

Время было позднее. По радио передавали последние известия. Заиграл гимн. Окна в домах, как по команде, стали гаснуть. Четвертый день мая ушел.

В вестибюле Дома Радио было людно. Ждали пропусков и встреч.

Кузнецов тоже ждал.

Время шло медленно, только двери хлопали и проходили люди.

На циферблате больших часов время почти остановилось.

Он вышел на улицу.

Звонил из автомата раз, другой, третий. Не отвечали. Набрал еще раз и кинулся из кабины.

— Петров! Юра! Петров! Юра!..

Мужчина у светлой «Волги» обернулся. Он усаживал молодую красивую женщину.

— Здорово, Юра!

— Здравствуйте!

Пожали руки.

— Не узнал, что ли?

— Что-то знакомое...

— А тебе не передавали, я тебе несколько раз звонил?..

— Передавали. Ваша как фамилия?

— Не узнаешь, значит?

— Сейчас, сейчас...

— Кузнецов, Николай Дмитриевич. Вильнюс помнишь?

— Коля?! Ах, черт, это ты! Склероз наступил, а я думаю, какой Кузнецов, из Внешторга, что ли... Никак не думал тебя здесь увидеть... Ну, ты все такой же!

— То-то ты меня узнал сразу! Ну, поцелуемся, что ли.

Обнялись, поцеловались трижды.

Петров оглянулся на машину, видимо, торопился.

— Ты какими судьбами? В нашей системе работаешь или собираешься?

— Куда мне... Талант нужен.

— Талант?..

— Я к тебе приехал: увидеться, поговорить.

— Ко мне?— Петрова это несколько удивило.— Молодец,— сказал он,— не забываешь старых друзей. У тебя как сейчас со временем?

— Я весь...

— Ага... Понимаешь, Коля, я не ожидал насчет сегодня, приходи завтра на работу, в любое время, прямо с десяти. Поболтаем, вместе пообедаем, пропуск я тебе закажу. Редакция вещания на Западную Африку. Запомни.

— Что же я к тебе на работу пойду? Пойдем домой или в ресторан, посидим по-человечески. А сегодня что у тебя, работа?

— Сейчас!— сказал Петров женщине.— Еду в один дом, обещал, откладывать неудобно.

— Отмени.

— Неудобно, нельзя.

Помолчали.

— А старые друзья на дороге валяются? Слушай, ты тоже имей совесть, выручай друга или забудь все?

— Я помню, я всегда помню. Я тебе очень обязан.

— Я не к этому. Но ты должен понимать, если я тебя нашел, специально, значит— надо.

— Хорошо. Есть. Сейчас, сейчас,— сказал он женщине.— Тогда так, через пару часов я тебя жду дома.

— Что такая нервная? Сотрудница?

— Жена.

— Жена? Сколько ж ей лет?

Петров усмехнулся.

— Мало. А чего, пока можем...

— А Тамара?

— Пять лет уж развелись. Алименты плачу. А ты стабилен?

— Что?— Кузнецов не сразу понял слово.— Нормально.

— А у тебя, кажется, дочь была?

— Сын. Сейчас и дочкой обзавелся.

— Молодец.

— Вот и я хотел поговорить.

— А в чем дело, в двух словах...

— В двух словах не скажешь.

— Насчет работы?

— Да.

— К нам устраиваешься?

— На заводе у меня неприятности. За старое.

— За какое старое?!

— За то самое...

Петров очень удивился. Очень! Даже не мог скрыть удивления.

— Вот как? Что-то я не слышал про эту кампанию. Ты не перепутал?

— Чего ж?!

— Надо поговорить. Обязательно. Молодец, что приехал.— Петров написал адрес.— Держи. Телефон тоже, для всякого случая. Я не прощаюсь. Значит, через два часа.— Он сел в машину, вспомнил:— Оля, познакомься. Это мой старый друг.

— Оля.

— Кузнецов.

— Жду.

— Выпить-то что взять?

— Коньяк найдешь, возьми, а так— водку. Дома тоже найдется.

— Две бутылки хватит?

— Да хватит. Ты один придешь?

— Один.

— Хватит, конечно. Жду.

Машина отъехала.

Квартира Петровых была обыкновенной двухкомнатной кооперативной квартирой. В большой комнате, где они сидели, стоял телевизор с большим экраном, сервант с набором маленьких бутылочек и посуды, коллекция значков на оконной шторе, тахта с журнальным столиком, с журналами на иностранном языке. Все было достаточно оригинально и в такой же мере банально. Так же, как эстампы и керамика, развешанные и расставленные по комнате.

Сидели и пили. Одну бутылку уже приканчивали, и хозяин стащил пиджак и развязал галстук.

Телевизор был включен, но звук вывели. Жена была, видимо, в другой комнате.

Кузнецов рассказывал, в какой уж раз за эти дни, свою биографию. Хозяин кивал и жевал мясо.

— Ведь я ворошиловский стрелок был. На курсы специально пошел, думал, успею в Испанию. Не успел.

— Святое время, я помню.

— А потом война. Представляешь, на пятый день Минск взяли. И прут, и прут. Разве можно было в это поверить? Буржуазная пропаганда!

— Жутко вспомнить. Жутко.

— С первого боя танк подбил, представляешь? Знаешь, что это такое?

— Знаю, конечно.

— Дурак был, молодой! Семнадцать лет! Ничего не боялся. Вечером меня уволокли в тыл, раненого, а через день их окружили и ... всех. Я уж после войны искал, думал, из плена вернутся. В прошлом году на годовщину, когда всех искали,—никого. Из тридцати восьми человек нашего техникума—я один, понимаешь?

— Понимаю, конечно. Я в сорок втором в Москву заехал, из училища, к девчонке. Пустой город. Никого. Знаешь, как...

— Давай выпьем за ребят...

— Давай.

Налили. Встали, помолчали. Выпили.

Кузнецов разлил остаток и отставил бутылку со стола к стене.

— Я хочу еще выпить. За Алешу.

Петров кивнул.

— За друга. Мы с ним так договорились, если кто вернется с войны, обязательно пацана сделать и в честь того, кто не вернется. Мы с ним в одной связке были. Давай за него.

Петров тоже встал. Помолчали.

— В каком году?

— В сорок четвертом, в Югославии.

— Вечная память.

Они опрокинули.

Сели, и Петров сказал:

— Ты кушай, Коля, кушай. Если бы ты знал, как я рад тебя видеть! Давно вот так душой не отдыхал. Скажи, хороший у нас народ?

Кузнецов прикинул, как специалист.

— Народ хороший.

— А дерьмо есть?

— Дерьма хватает.

— Хватает. Засохшего, старого. Ты правильно делаешь: если другие не ценят, сами должны себя уважать.

— Конечно, ведь мы всегда «есть!» говорили. Нам—«надо!», а мы—«есть!». Война мне вот так надоела! Рано, сказали, нам всем оружие складывать, кой-кому надо и послужить! «Есть!» «Полякам надо помочь?»—«Есть!» «В органы?»—«Есть!» «Бендеров искоренять?»—«Есть!» «На Север?» Я что, туда за заработками поехал? Сказали: «надо!»—значит, «есть!». За цепными псами следить, чтоб не кусались.

— Ну там не только ворье и бендеровцы сидели. Ты сколько служил?

— Девять месяцев.

— Достаточно, чтобы разобраться.

— Знаю, о чем ты говоришь. Как же, другие были, верно, но мешали они нашему строительству. Не поняли и мешали, может, не со зла, но мешали. И сидели, чтоб не суетились под ногами.

— Ничего,—сказал Петров. Его раздражало сказанное Кузнецовым. Он захмелел и не мог этого скрыть.

Он налил себе и выпил.

— Подожди... А когда партия решила, что достаточно, пора, она отпустила, когда надо, и они сейчас полноправно и достойно работают, а нас, трудовиков, за ненадобностью сократили. И на мирный труд и покой. С честью и славой, потому что мы свое дело сделали и долг свой исполнили.

— В общем верно, хотя длинно. Давай выпьем!

Выпили.

— Брось ты эту муру, Коля. Политикой заниматься—она тебе не к лицу. Был ты

нормальный, здоровый человек. А сейчас рассуждаешь, тяжело, честное слово, слушать!.. Ну, бог с ним. Сыну скажи, чтоб не выпендривался, это не его ума дело, много будет думать—состарится быстро. Пусть лучше за девками бегает, пока можно. Скорее все поймет, что к чему.

— Нет, он у меня хороший парень. Скромный, честный, мужственный, не продаст. Я ему, как брату, как товарищу верю. Настоящий комсомолец, понимаешь? В полном смысле слова. Во Вьетнам хотел ехать.

— А что у него там, родственники? Без него разберутся. Романтика—хорошая штука. Так и надо, я считаю, воспитывать молодежь до пятнадцати, ну семнадцати лет. А дальше—надо ставить на землю. А то они тебе таких дров нарубят. Политикой он у тебя не увлекается?

— Как все.

— И слава богу. Надо—спорт, спорт и спорт. Пластинки, джаз, мотороллер ему купи. Пусть девки лучше, вино даже, а то влезет в какую-нибудь историю, не разобравшись, времена сейчас другие, но, сам понимаешь, горлопанов не любят. И правильно. Хватит. Тише едем, дальше будем.

— Ты не понял меня. Он не какой-нибудь там нытик, он верит по-настоящему.

— Я тебя понял. Верит—это и плохо. Лучше б уж смеивался. Верующие, они всегда очень прыткие. Я тебе говорю, лучше ты его обкарнаешь, чем он сам потом головой об углы биться будет. Обозлится, выкинёт чего-нибудь, возраст-то какой...

— Что ж ты хочешь, чтобы я на собственного сына руку поднял? Мы для них все делали, старались, сколько пота пролили, крови, выучили, воспитали, а теперь—собственными ногами топтать?

— Лучше ты, чем другие. Я тебе точно скажу: отцовский-то сапог полегче будет, поласковой.

— Не то ты говоришь.

— То. Легче надо на жизнь смотреть, проще. Проще!—Он опять разлил.—За твоего сына. Чтоб нормальным был человеком и не выкобенивался.

— Он будет настоящим.

— Я и говорю: настоящим, нормальным. Выпили. Петров потянулся через стол, поцеловал.

— Хороший ты парень, Коля. И отец... Я о тебе очерк напишу. Точно, не для эфира, для себя. Настоящий. А что—ведь ты же наш, железный человек, фронтовик, трудига! Не пропустят. А чего боимся? В полруки работаем! Сначала, когда сюда из органов перешел, думал, не потяну. Что ты! Делать нечего. Мозги вянут. Думать разучились. Водка и бабы... Оля у меня—золотой человек, зря ты на нее так глаз кинул... Нет, ну я видел же. Понимаю, понимаю... А ты как, по девкам ходишь? Силенка есть еще?

— У меня семья.

— Потрясающий парень! Отлично! Завтра в редакции расскажу—не поверят. Оля! Оленька!

Вошла жена.

— Оленька!

Он обнял свою молодую жену, поцеловал в открытое плечо. Разлил другой рукой. Встал.

— Я хочу выпить за своего друга, Колю, за этого прекрасного человека, настоящего, скромного русского человека! Мы с ним не виделись почти восемь лет, но это действительно друг, настоящий друг! И этот человек,—он ткнул в себя пальцем,—обязан ему жизнью и честью. И никогда не забудет об этом!

— Ну брось, это же каждый...

— Не каждый, но важно, что ты так говоришь.

Он расцеловал Кузнецова.

— И спасибо, что ты мне напомнил об этом, потому что жиреем, забываем.

И еще раз поцеловал.

— За тебя!

Выпили.

Петров налил еще.

— Может, тебе хватит, Юра,—сказала жена.—Ему плохо будет потом.

— Ну-ну.

— Каска твоя?

На стене, среди эстампов, висела солдатская каска.

— Откуда? В Белоруссию ездил, на материал,—подарили. Их там в лесах хватает. Скоро сувениры будем делать. Видишь, дырка?

— Вижу.

— Сентиментальны мы стали. Я на Мамаев курган приехал репортаж делать—заплакал.

Жена собрала часть ненужной посуды и вышла.

— Ты давно здесь работаешь?

— Я уже старик.

— А что ты делаешь?

— В редакции. Вещание на Западную Африку, страны французского языка.

— Трудно, небось? У них там все по-другому...

— А какое имеет значение? Вещаем на них, рассказываем. Считается, что нас слушают крестьяне, но у них, по слухам, нет приемников. Но все равно передаем, чтоб слышали наш голос... наших много работает. Волкова помнишь?

— Да. У вас?

— У нас. Молодец мужик! Далеко пойдет, толковый! Вася Куприянов...

— И он у вас?

— Вася умер.

— Умер?

— Прошлой осенью. Загибается наше поколение.

— Хороший был парень.
— Хороший. Этот, как его, экземпляр, Василь Васильевич...

— Пухов?

— Он. В музее Пушкина работает.

— А что у него, образование какое?

— А что, этому идиоту образование разве поможет?! Завхоз или отдел кадров, письма в газету пишет.

— А на старой работе кто-нибудь остался?

— Есть.

— Видишься?

— На ходу. Иногда разопьем — как, что. Вот Семена видел, помнишь?

— Нет.

— Армянин с русской фамилией.

— Не помню.

— Еще ребят во время реорганизации, в пятьдесят шестом, продавал, звездочки зарабатывал. Я из-за него тоже погорел. Ушел на радио. Встречаемся, процветает. Правда, ему тоже хотели сделать, чтоб не был прытким больно.

— Здороваешься?

— А чего ж?

— Что ж ты?

— Ты насчет мордобития? Сначала хотелось, чесались руки, а потом — рассосалось. Черт с ним! Всем подлецам морды бить — руки отлетят. И насчет твоего сына... Алеша? Алеша. Чтоб не зарывался. Не лучше — и не хуже. Середина — она золотая. И самая долговечная, люди говорят. Я тоже было рыпнулся правду искать, наставил себе шишек, решил — отставить, пока трещины нет. Лоб, он у нас крепкий, конечно, у великого русского народа, но стены — тоже, ха-а-рошо сработаны! Традиционные, вековые... Поэтому легче надо жить. Мы что с тобой, подлецы? А ведь приходилось и уступать и все... Среди людей живем, а не в стеклянной банке, знаешь, как сейчас говорят: все сложно, очень сложно! И — это точно!

Хозяин еще разлил и подложил закуски, себе и гостю.

— Мы-то нормальные росли. Зачем же их выкручивать?

— Ну как нормальные? Объективно, как продукт эпохи, а разве на нас не наступали или мы сами себя за горло не хватали?

— Я — нет.

— Ладно, не строй из себя девицу. Я уже слышал, что ты мне здесь заливал.

— Ты о чем?

— Что ты говоришь «нет»? Я себя вспомнить не могу, всего перемолотили. Только по фотографиям, а какие мысли, желания — ничего не помню. За сколько лет с тобой сидим, и что-то шевелится. А так — ни хрена: пьешь, болтаешь, в постели лежишь с Ольгой, все равно ничего, понял... Ничего!.. Мы войну выиграли, а что получили?

От нуля начинали. У тебя весь курс под Москвой лежит, а у меня — наш выпуск — от Полтавы до Берлина! Уцелели, победили. И что?! Герой войны? Хрена два, вкальвали, не разгибаясь. Сам рассказывал. Пять лет только квартиру имею. В сорок лет. Ничего, жене оставил. Эту на свои, кровные, построил. Машина есть, правда, а что машина? Выдающееся достижение?

— Сам знаешь, видел, как страну разорили. Трудности были. Все воевали, все и строили.

— Ну да, конечно. Ты меня поагитируй. Сам этим занимаюсь три часа в день. Я в ФРГ прошлый год ездил. Двадцатилетие как раз было. Что я вижу? Сытые, откормленные морды, роскошные бабы, машины, дорogi, отели, дома, шмотье. Искусствовед наш, Иван Иваныч, все за одно боялся, что высокое звание советского человека уроним, призывал нас «культурными» быть и приличными. А мне бить морду хотелось, драться, ломать! Мы скольких ребят закопали! Я хочу спросить: кто победители?

Он дернулся, вскопчил, отвернулся, вытирая слезы.

— Ты на женщин наших посмотри! Что с ними война сделала. Что, не обидно?

Он вернулся, разлил остаток.

— Или что мы, пальцем деланы? Из дерева или глины? И талант есть и характер можем проявить. Спутник запустили, войну тоже выиграли. Я же помню Германию в сорок пятом, какая она была!

— Здесь разные причины. Америка помогала. Политика. А мы — одни, нам самим приходится помогать.

— Знаю, знаю. Читал и писал. Хороший ты парень, Коля. За что люблю наш народ — за задушевность! На этих задушевных людях до-о-о-лго еще будут пахать. И много. Орать «ура!» и давить друг друга на Ходынке — для этого ума много не надо и триста лет тоже. Зарабатываем потом и кровью, а потом — пропиваем. Характер свой широкий, вольготный показываем, душу свою необъятную демонстрируем. Рубаху до пупа разорвать и морду другу набить по пьяному делу, а потом целоваться. Это мы умеем. Кукурузу на Северном полюсе разводить, чтоб весь мир ахал от восторга. Мичуринцы — вся нация.

— Ты здесь перегибаешь.

— Наверное.

Он убрал пустую бутылку, подошел к серванту, порылся, достал «Выборову». Откупорил, налил.

— Может, хватит?

— Чего ты, чего ты? Раз — за сто лет. Давай, за Россию!

Чокнулись, выпили.

— Пятьдесят лет — это не шутки. Сплошные этапы. Люди устали подвиги совершать. Слава богу, сейчас хоть задышали

немного. Жить, конечно, можно. Домов, вроде, понастроили; телевизоры есть, на водку всегда хватало, мясо-хлеб есть, анекдоты рассказывать можно. Заработать можно в принципе, если еще не в деревне, и выслужиться, при желании, тоже. Что еще надо? Живем тихо, нормально. Машину? Холодильник? Будет! Вот еще лет десять! Деревню еще, конечно, поднять. Главное — не забегать: тише едешь, дальше возьмешь!..

— Не хлебом только сыт человек, — сказал гость.

— Знаю я эту новейшую поговорку. Проходил. За большую идею мы уже положили миллионы и своих и чужих. И для мировой революции и для всего прогрессивного человечества. И сейчас гоним будь здоров сколько! Выполняем долг, не волнуйся! Совесть твоя может быть спокойна. Только о людях тоже иногда надо думать, мы железнее железа, но живые. Я вот устал. И с нас хватит, наше поколение заплатило достаточно. — Он выпил без предупреждения. — Теперь все. Война окончена... А кто будет пальцем тыкать, рыльник начистим живо, и пусть не трогают нас. Мы сами все знаем и понимаем. Если выпустили кого, так это мы выпустили, а не они сами. И пусть не гавкают, а то можно и напомнить. И сыну своему объясни, пусть не ковыряется в чужом носу, на девок пусть смотрит. Насчет завода, это ты меня извини, ты меня удивил, глупость, как в старой гимназии... Тебя я понимаю, но объективно они имели полное право гнать тебя взащей и по партийной линии дать строгача, потому что ты не мальчик, сам — бывший офицер и порядок должен знать и соблюдать. Мой тебе совет — извиниться надо и закрыть это дело как можно быстрее. Давай выпьем.

— Значит, ты меня не понял, — медленно сказал Кузнецов. Пить он не стал.

— Понял, вроде не дурак. Сухим из воды хочешь выйти? На тебя не похоже. Почему тебя не судили? Пороть полстраны пришлось бы, кроме женщин. Эти у нас — святые. А своеволия, это, естественно, никто тебе не позволит. Представляешь, если вся страна начнет свои биографии рассказывать! Мы и так от проблем устали. Прожили — и достаточно. Поэтому не советую. Ты нормальный, здоровый человек, умный, взрослый, зачем тебе эти бессмысленные скандалы?

— Здорово тебя жизнь поковыряла. Раньше ты другим был. Водка?

— Против ветра делать хочешь? Не советую. Опасно... Для здоровья. Это еще фельдшер в первый год объясняет.

Кузнецов молчал и смотрел в стол и не слушал, а думал о своем.

— Я не авторитет, сходи к кому-нибудь другому. Вот Василь Васильевич — старый

ветеран, он тебе объяснит, имеешь отношение или нет. А я тебе — как друг. Что думал.

Опять помолчали. Петров выпил еще рюмку, запил пивом.

— Хочу посмотреть на тебя, как ты выйдешь из этой ситуации. Смотри, невинность не потеряй.

Кузнецов тяжело поднял глаза.

— Хватит. Собрались два друга, болтаем про ерунду. Не обижайся, Коля. Я ж тебя люблю. Что мне с тобой в прятки играть, давай выпьем! За твою твердость.

Он протянул руку в сторону гостя и, не дождавшись, опрокинул. Видимо, не пошла. Он сморщился, запил пивом. Его качнула спазма. Выскочил из-за стола, уже у двери закрыл рот руками.

Кузнецов встал за ним. Петров закрылся в ванной. Было слышно, как его выворачивало.

Молодая жена сказала — она была в отчаянии, видимо, любила:

— Я же говорила, нельзя ему пить, — она не упрекала, скорее, извинялась, страдала. Слышно было, как в ванной пошла вода. Кузнецов толкнул дверь.

— Помочь?

Петров улыбался.

— Извини, старик, я сейчас. Желчь проклятая. — Он отгирал губы и стаскивал запачканную рубаху.

Потом его, переодетого и мокрого от воды, привели в маленькую комнату. Шел он сам, без помощи. Окно открыли.

Он сел в кресло. Проглотил какую-то таблетку.

— Ты еще не пользуешься? Я уже ветеран, — пошутил.

Жена сказала:

— Не надо было.

— Извини, Олешек, — он обнял жену.

Ему опять стало плохо. Он закрыл глаза, напрягся. Открыл, посмотрел на Кузнецова.

— Я сейчас. Пять минут, и порядок, — улыбался.

Закрыл глаза и остался один.

Кузнецов прошел в большую комнату, выключил телевизор, посмотрел на значки, на бутылочки, снял каску, осмотрел, где пробойна, глянул ее на свет, попробовал пальцем. Надел каску, еще раз прикинул пальцем, куда ударила пуля.

Подшел к столу, не снимая, выпил рюмку и перевернул ее кверху дном, потом снял каску и повесил ее обратно.

Он прошел в маленькую комнату.

— Он спит, — опять оправдываясь, сказала жена. Она стаскивала туфли.

Друг лежал в униженно нелепой позе пьяного человека.

Был он старый-старый. И усталый.

— Помочь?

— Ничего, не надо. — Она, конечно, хоте-

ла одного—чтобы он ушел, хотя у нее хватало еще сил улыбаться и быть любезной.

— Я пойду,—сказал он,—извините, что так получилось.

— Вы извините, он был вам так рад.

Он покивал, говоря про себя разные слова, но сказал коротко и только:

— До свиданья!

— До свиданья. Приходите, пожалуйста.

Он шел по вечернему городу. Горели фонари, из открытых окон доносились обрывки радио, последние известия за 5 мая 1966 года. Вся страна праздновала День советской печати.

Герцен.

Огарев.

Пушкин.

Рылеев.

Кюхельбекер.

Волконская.

Пушин.

Нагали.

Грибоедов.

Умные мужчины.

Прекрасные женщины.

Милые пушкинские места.

Старинные вещи.

Иллюстрации к Евгению Онегину.

(Музыка Чайковского.)

— Вы меня спрашивали?

Не стало музыки, картины и портреты висели на стенах музея.

Маленький человек стоял перед Кузнецовым и раздраженно смотрел мимо него.

— Здравствуйте, Василь Васильевич.

— Здравствуйте, Кузнецов. Николай Дмитриевич?

— Точно.

— Чем могу?..

Он говорил, будто виделись час назад или вечером прошлого дня.

— Поговорить хотелось, давно не виделись.

Василий Васильевич прикинул:

— Двенадцать лет. На Маяковской мы с тобой виделись. Сына ты на елку возил.

— Верно. Память у тебя осталась железной.

— А зачем забывать? Не надо. Пройдем.

Комната, в которую они пришли, была заставлена мебелью, какими-то странными вещами, на стенах густо висели портреты и картины. С Пушкиным, гусарами, дамами, псовые охоты; было два портрета Лермонтова, один в бурке, другой—без, и портрет какого-то царя или высшего жандармского чина, но явно мерзавца.

Василий Васильевич был сволочью, и старой. Мерзавцем был опытным и знал за

собой эту слабость, хотя, конечно, называл это качество другими словами: беспощадность к беспринципности.

Людей он не любил и презирал и был к ним строг. Начальство уважал по чину, но никогда не заискивал. Жил он одиноко, детей у него не было никогда. Родственники поумирали, а жена, последний близкий человек, преставилась ровно через два года после победы над милитаристской Японией. Он совсем ушел в работу и считал человеческие слабости ничтожными и пошлыми.

— Вот,—сказал Василий Васильевич,— посмотри, что сделали с Пуховым,— в подвал к Пушкину посадили. За мою работу в благодарность.

— А пенсия тебе разве отказали?

— Пенсия? Кость! А я—не собака. Я на любой работе работать буду, и меня не унизишь. Я всегда Пуховым останусь.

— Ты вроде с детьми работал?

— Два сезона, начальником лагеря. Ушел. Дети—мерзавцы, хотя и пионеры, вожатые—бездельники, думают только о разврате. А сейчас сюда швырнули, в это паучье гнездо: одни жида и гнилая интеллигенция. Все с высшим образованием. Приличных—всего четыре человека, но затюканные, боятся слово сказать. Директор—армянин, но, по моему, скрытый еврей, хитрый и прожженный тип, играет в политику, но в общем, замаскированный либерал. Обстановка сложная. Старики еще стесняются, все же мы их воспитали, кашлянешь пару раз на собрании, он уже понимает, поскромнее выступает. Молодежь растет—страшно смотреть. Поганки. И это их из наших советских вузов выпускают. Ничего святого! Цинизм. Что думаю, то и говорю. Я, конечно, пытаюсь что-то делать. Писал в прессу, на телевидение пишу. В Цека. Но аппарат у нас не тот, засорили аппарат. Взятчики, бюрократы, равнодушные, евреев много, армян, как будто русские перевелись. Абсолютная безалаберность. Никто ничего не хочет делать, всем до лампочки. А что с идеологической работой? Полная запущенность. Полная. Одна профформа. Комсомол развалился. Больше половины—можно смело исключить. А что здесь делают? Герцена знаешь? Улица, где шашлычная «Казбек»?

— Тот, что «Колокол»?

— Он. Я тоже думал, «Колокол». А пришел сюда, подчитал книги, послушал, разобрался: невозвращенец. А мы его пропагандируем налево и направо. Мол, образец гражданственности и долга.

— Это ж при царе было.

— И что? У него все было—живи, не хочу, а он уехал и стал поливать грязью... А если ты действительно патриот и любишь свою страну, если ты действительно болеешь за правду, ну отсиди, умри, но на

родной земле. Зачем же сор из избы выносить?.. Царь как-никак все же глава русского государства. Русского! Над ним смеешься, над Россией, значит, смеешься? А он поливал, а Европа хихикала: давай, мол! Вот—декабристы, они же были ответственными, они же не стали стрелять, вышли тихо-аккуратно, построились—мол, не согласны. Протестовали. И как—гордо и красиво. И за то Россия их не забудет. И в Сибирь поехали. И жены за ними! Достойно! Прилично! А чему экскурсоводы здесь учат? Что они школьникам внушают? Ты бы послушал... Я, конечно, все записываю. Зубы у меня крепкие, я их переживу. Всех. Но можешь понять, тяжело. Разговаривал с ними, предупреждал. Грубят, конечно. Хмят. Не здороваются. Разные гнусные намеки делают, используют при этом все свое высшее образование. Я уж и слух пускал, что, мол, скоро... восстановится порядок, и приводил разные примеры—надо сказать, действует, но мало. Капля в море. За это дело надо браться широко. По-настоящему. Иначе мы всю свою страну профукаем. Люди распустились. А наш человек к благодарности не привык.

— Почему ты так народ не любишь? Он всю жизнь тебя кормит, поит, работает на тебя.

— Это я на него работаю всю жизнь! Придумали—народ, народ, а что это такое? А они действительно вообразят из себя чего-нибудь... Народ—это мы! Не надо было трогать Сталина. Надругались над ним, надругались над народом, над его верой. Разве люди не с чистым сердцем шли на похороны, на этот кошмар? Надругались, высмеяли. Ничего нет—ни бога, ни черта. Все перемешали, никаких авторитетов. Ни страха, ни уважения. А теперь удивляются: откуда у молодежи цинизм, откуда разврат? Разве в наше время такая молодежь была?! Она гордая была! Чистая! Скромная! Идеальная! Разве девушки вели себя так пошло? А грузины ходили так по улицам? Народ верил! Сломали веру и ничего не дали. Пшик один. Кукурузника подсунули. А он и рад и давай языком трепать, а народ—смеяться с него.

— Партия же осталась?..

— Чего? Партия? Партия!..

— Партия—это наша сила, наша программа, и народ за ней.

— Вот именно, народ, а чего он стоит? Стадо. Как захочешь, так и замычит. То передавили друг друга, рыдали, а сказали: «Сталин—плохой», стали издеваться. Хамье оно хамье и есть. И нечего его идеализировать. Завтра скажем им—опять портреты понесут.

— Вера же осталась.

— Какая?

— В партию, в правду, в справедливость, в Ленина, в коммунизм...

— Вера. Вера—и верь. Вера—мало. Хочешь—верь, хочешь—нет. А раньше—уважали и боялись всенародно. А с нашим народом по-хорошему нельзя. Это и историей доказано. Его чем больше бить, ему же и лучше. И все они за это, за силу, уважали. Потому что—любят. Это тебе не Австрия или немцы—там дисциплина. А наш Иван выпьет и обматерит, что хочешь. Ты посмотри, сколько пьяных развелось. Я на праздники пьяного милиционера видел. Стоит и блюет. Разве раньше это могло быть? На банкетах, на вечерах—возможно, но не на людях.

— Что ты немцев хвалишь? Они, конечно, хваткие и к технике очень приспособленные. Дисциплина—это верно, но мы не хуже. Мы их потому и победили, что дело наше было правое, а у них—фашизм. Так что не сравнивай. Зачем же? Сам прекрасно знаешь...

— Грамотные все стали.

— Растем, учимся. За это и боролись.

— Скажи, зачем эков выпустили, сделали из них мучеников. Сколько я помню, кроме националистов, все кричали о любви к властям, и никто не сомневался. Сколько при расстреле кричали: «Да здравствует Сталин!» Допустим, маскировались, но не все же, не сто процентов. А сейчас они из себя бог знает кого строят! Всякие гадости рассказывают и пишут. Читать эту мерзость, эту грязь, мне, старому, закаленному человеку,—тяжело. А как может воспринять остальная часть населения? Много кричат о доверии, мол, у народа сознание выросло, разберется сам. А это—как детей среди бандитов оставить. Не надо было их выпускать. Отсидели бы, ничего б с ними не случилось.

— Выпустили оправданных, не виноватых.

— Не виноватых не бывает. Ты сам отлично знаешь. Раз попал, значит, было за что, дыма без огня не бывает. Я не помню ни одного человека, который хоть в чем-нибудь не был виноват. А скольких людей травмировали! Значит, всю нашу работу, всю нашу жизнь перечеркнули одним махом. А почему? Потому что человек у нас—ничто! Вот когда поумираем, когда хлебнут они с молодежью, тогда они нас вспомнят. Да поздно будет. Нашему народу палец давать нельзя, он этого не понимает, руку отгрызет всю. Вот он и хамеет с каждым днем. Надо спасать, пока не поздно, пока совсем не докатились до мещанства, пока остались кадры, пока есть время. Надо восстановить справедливость, чтоб люди работали спокойно и уверенно и знали, что их ценят и уважают, и о них заботятся, о них думают.

— Народ у нас хороший. И справедливый. И он верит в партию. И идет за ней. А насчет Сталина, никто его заслуг не отнимал, не на Ваганьково—в Кремлевской стене лежит, мы там с тобой лежать не будем. А ошибки у него были крупные, документы тебе известны. Возьми хотя бы сорок первый. Из-за него мы скольких людей потеряли, от Волги пришлось возвращаться.

— Почему из-за него?

— Он же армию расстрелял, все на себя взял. А потом гнал под Москвой очкариков с бутылками под танки.

— Без Сталина мы б проиграли. Народ выдержал, потому что всю войну прошел с его именем. Всю войну. Каждый бой!

— А ты на фронте был?

— Не был, но знаю.

— Читал?

— Я вижу, ты тоже где-то модного веняния нахватался. Я помню, когда ты в Литве за Петрова заступился, мне тогда это очень не понравилось, твоя доверчивость, но я тебя послушал. Командир ты был строгий и политически выдержанный.

— Петров—фронтовик и хороший офицер.

— И что?

— Ты же на фронте не был? В леса ты с нами тоже не ходил? В городе сидел...

— Я тоже не на курорте загорал: ты за себя одного отвечал, а я на кадрах сидел, должен был каждого проверить, прощупать—это тебе не с автоматом бегать. Или сталь варить. А Петров твой сейчас свое лицо целиком показал, он и тогда язык любил распустить, а сейчас совсем продался, работает на радио, пишет, что закажут,—про природу, про модели, глупости всякие. Машину купил, женщины, разврат. Доволен, конечно, ему такая жизнь в самый раз. А ты его тогда под крыло.

— А про меня что ты думаешь?

— Думаю, что ты... честный человек. Правда, мне показалось, хорошо я знать не могу, видимся редко, был тебя засосал, мне кажется, немного, а может, и очень значительно.

— Но ты считаешь, что я честный человек?..

— Да, честный.

И первый раз, кажется, посмотрел в глаза.

— А я думаю, что ты гад—не веришь ни в партию, ни в народ.

Василий Васильевич первый раз улыбнулся.

— Обнаружил ты себя, Кузнецов. Зря я не поверил тогда своей интуиции, а теперь расхлебываю за свою слабость. Ничего, еще увидимся.

— Жди, жди.

— Я дождусь.

Вода бассейна была наполнена плотной массой купающихся. И это было очень красиво—белые руки и плечи в белой от барашков воде, и голоса мальчишек, и смех девчонок. Как вечность—женская фигура над водой, прекрасная, как юность.

И падение вниз в прозрачный квадрат бассейна.

И еще прыжок с вышки.

И еще падение.

И еще.

И тишина. И внизу в воде сквозит прекрасное тело будущей матери. Жизнь бессмертна, потому что она прекрасна, и это очевидно.

Он стоял у реки и смотрел на воду. Там, за рекой, у серого Дома правительства, была пристань, а правее, сквозь деревья краснел двухэтажный старый дом боярина Малюты Скуратова.

Было тепло, и пароходы плыли по реке, и люди, молодые люди, стояли у перил и смотрели на него. Они были молодые и счастливые.

И оттуда, сквозь шум винта, из радиорубки доносились обрывки радиопрограммы. Передавали последние известия.

Он шел по Серебряному переулку. Около здания школы остановился, долго смотрел. Старшеклассники бегали по двору—был урок физкультуры.

Он стоял у госпиталя. Прочитал вывеску, двинулся дальше. Переулок кончался тупиком—здесь строился новый Арбат. Он сверил адрес, спросил: «А где дом семь?»—«Какой? Снесли, уехал дом в гости».

Дом был старый, дореволюционный. Дверь никто не открывал. Он позвонил еще три раза. Звонки были громкие и резкие и слышны были здесь, на площадке. Ждал. Дал еще пять длинных звонков. За дверью, кажется, зашевелились. Открыли на цепочку, хотя был день.

— Вам кого?—у женщины был больной голос, и она долго растягивала слова.

— Мне Антонова, Сергея Сергеевича.

— Антонова...—Дверь закрылась и раскрывалась совсем.—А они здесь не проживают давно.

Кажется, он растерялся.

— Давно не проживают,—добавила женщина.

— А вы не знаете, куда они переехали?

— Они совсем уехали из Москвы. В Запорожье, кажется... В Запорожье...

— В Днепропетровск,—подсказал чей-то голос из квартиры.

— Да, да, в Днепропетровск.

Она выговаривала так долго и медленно, что он устал ждать.

— Спасибо,— сказал он.— Извините. До свиданья.

Она протянула:

— Пожалуйста.

И он, спускаясь по лестнице, слышал, как она тянет за ним слова.

— К сожалению... ничем... не могу вам... помочь...

Дверь распахнула женщина в халате, сразу обдало шумом и запахом большой коммунальной квартиры.

— Вам кого?

— Мне Дроновых.

— Екатерина Ивановна, вас!

Из недр коридора появилась другая женщина, похожая на первую, она вытирала руки о передник, видимо, была на кухне.

— Да?..

— Здравствуйте,— вежливо сказал Кузнецов.

— Здравствуйте.

— Мне Виктора надо.

Женщина глянула на него снизу вверх.

— Виктора? А кто вы ему?

— Товарищ.

— Товарищ? Я вас никогда не видела.

Витя три года назад умер.

Она смотрела на него строго и жестко.

— Умер,— сказал он машинально.

— Что ж вы— товарищ и не знаете, что ваш друг уже третий год умер.

Она не боялась произносить эти жестокие слова.

На кухне притихли голоса. В коридоре помаячила невзначай фигура.

— Мы редко виделись,— сказал он, чтоб что-то сказать.

— Вы не москвич?

— Не-ет.

— Очень редко бываете в Москве?

— Да.

— Откуда вы знали Витю?

— Мы с ним служили в Станиславе. И позже.

Женщина кивнула, как-то сразу сломалась и, опустив голову, заговорила другим голосом:

— Похоронили его на Кузьминском кладбище, четырнадцатый участок, я вам сейчас запишу, как доехать.

Она вышла, он стоял немного, толкнул дверь, но потом повернулся и закрыл обратно.

Женщина вернулась, подала записку.

— Если будете еще в Москве, заезжайте. Я всегда любила Витюшиных друзей.— И она протянула руку.

Он пожал ее. Было, в общем, тяжело и неудобно.

— Спасибо,— сказал он,— обязательно заеду.

Он остановился. Улица была пустая. Редкие прохожие только напоминали об этом. Недалеко дворничиха разворачивала черный шланг. За спиной, за оградой, среди деревьев, склонилась одинокая фигура Достоевского.

Кузнецов развернул бумажку, перечитал, спрятал обратно.

Было пошел, но опять остановился, выгнул, снова перечитал, свернул, повертел и бросил. И посмотрел, как она лежит и как к ней подбегает вода. И потом ее понесло вместе с другим мусором, серым, как пена.

Он вытащил еще бумажки, адреса, фамилии, развернул, скомкал и бросил в воду. Посмотрел вслед и пошел прочь.

Редкие деревья, кусты, речушка, кидаящаяся в разные стороны, теряющая себя, разливаясь в стоячее, проросшее озерцо, снова набирающая силу, толкаясь среди мелких, невысоких берегов,— нехитрые подмосковные пейзажи сменялись за окнами машины.

И фанерные поселки садоводов, прикрывающие деревьями свое нищее однообразие.

И мачты передач, уходящие по просторной земле куда-то к Волге, к Братску, к Курильским островам. И там, на горизонте, где они заваливались на другую сторону, катила электричка, вагон к вагону, плотная и сбитая, как утренняя очередь.

И покинувшие город, чужие, растерявшиеся среди полей стандартные пятиэтажные дома.

Навстречу набегали экспрессы, перекрывая и заглушая весь мир, и, отброшенные назад, растворялись в бесконечности дороги.

И прилепленный над полями самолет, неестественно медленный и беззвучный для его крупного блестящего тяжелого тела. И как мальчишки, обступая гурьбой, набегали домики рабочего поселка, заслоняя от дороги ладонями плакатов с цифрами достижений народного хозяйства. Цифры были громадные— черные, белые, красные. И много было нулей.

И среди полей, сбившись и держась друг за друга, почерневшие от пережитого времени домики деревни, обглоданная колокольня ободранной церкви с погнутым вспять крестом.

И трактор, старательный и трудолюбивый, как муравей, нарезал поле на черные ленты. За ним летели грачи, садились, взлетали, снова садились и хозяйски деловито прохаживались по черной земле. Они были черные, упругие, гладкие, как комья земли.

Это время, пока он ехал и посматривал по сторонам, чтобы не было скучно, слушал радио: музыку, детскую передачу, репортаж о футбольном матче, последние известия, о международном положении, про сельское хозяйство. И то, что он видел, и то, что слышал, накладывалось одно на другое, сливаясь и сбиваясь в нем самом, давая одно целое и единое ощущение— его Родины.

Он остановил машину на улице поселка, спросил у тетки:

— Как на Советскую проехать, не скажете?

Она посмотрела вдоль одной стороны, вдоль другой стороны.

— На Советскую?

— На Советскую.

Еще раз посмотрела, кинула взор в его направлении, себе под ноги, отряхнула кусок земли с ботинка и... вспомнила:

— На Советскую? Это прямо... налево... потом направо, прямо поедете, и вот вам Советская,—и очень удивилась, что он не знает такую простую вещь.

Дом был большой и добрый, с высокой острой крышей, с просторной застекленной верандой.

Кузнецов вылез из машины, взял сверток, запер кабину. Лаяли собаки. Одна—на цепи, другая прибежала к калитке. Из-за дома выглянул человек, посмотрел, прикрикнул:

— Тише, Цыган! Марта! На место!

Собаки замолчали, а та, что была без цепи, закрутила хвостом.

— Проходи, Николай Дмитриевич, не бойся, не тронут, проходи! Милости просим!

Он шагал навстречу, улыбаясь и раскрывая объятия. Был он в возрасте, лет шестидесяти, а может, и более того. Седой, краснощекий, похожий на тщательно выбритого Деда Мороза. Одет он был тепло и добротно. В льняных штанах, в телогрейке с кожей, в крепких ботинках, только на голове была заношенная шляпа.

— Здравствуй, Николай Дмитриевич!

— Здравствуйте, Иван Саввич!

— Здравствуй, дорогой!

Они обнялись, но не поцеловались.

— Очень хорошо выглядишь. Следишь за собой, занимаешься физкультурой?

— Бывает.

— Молодец! Уйди, Марточка, не мешайся. Офицер, он должен помнить, что он офицер, всегда! А я земель занимаюсь, пойдем покажу! Тихо, Цыган, на место! Вот две яблоньки посадил на прошлой неделе.

— Хорошо.

— А вот—груша.

— Хорошо.

— Это—тоже яблони, прошлой осенью собрал, хоть продавай... Там—крыжовник,

там—тоже яблони, одна сливка. А здесь— для огорода, по мелочи—лучок, огурчики, укропчик, чтоб всегда под рукой. Ты приехал ко мне в гости, а у меня все на столе. Марта, не мешай! Видал, какая ласковая сука? У тебя собаки нет?

— Нет.

— А живешь вроде отдельно?

— Отдельно.

— Заведи. Собака—первый друг человеку. Лучше человека, никогда не продаст. Суку бери—она хозяйна больше любит. А это у меня вода, колонка, очень вкусная вода. Ч_репица, шифер-то у меня ничего, но я хочу черепицу... помнишь, как на Западной Украине—очень красиво!

— Дом у вас хороший.

— Хороший.

— Много комнат?

— Четыре. И верхняя. Верхнюю сдаем.

— Сдаете?

— А чего пропадать? У нас клиенты постоянные, люди приличные, без детей. А здесь кухню летом буду делать. Оттуда воду подведу...

— Ага.

— Газ тоже. Здесь стол. Навес, и сиди сколько хочешь.

— Здорово.

— Воздух какой?

— Воздух прекрасный. Выглядите вы хорошо.

— Каждый день зарядку делаю, обтираюсь. И целый день в земле копаюсь. Воздух—это лекарство. Аппетит. Не курю. Ты ко мне по делу?

— Хотел увидиться и поговорить.

— Это хорошо. Старых друзей никогда не надо забывать. Один старый лучше десяти новых. А в нашем возрасте новых и отыскать трудно. Это—скворечник. Вот кто настоящие труженики. В прошлом году было у меня семейство—такие молодцы! Замечательные птицы! А сейчас жидовье захватило, воробьи. Поселились с зимы, я думаю, живите. не жалко, подкармливал их, а они обнаглели—не уходят. Скворцы летят—занято, и мимо. Я их и так, и так. Насыпал травленого зерна, они и передохли, а пока я чухался, все скворцы разлетелись. Стоит пустая сейчас, может, кто поселится. Летает один с соседнего участка, я его и так, и эдак приваживаю, что-то он раздумывает. Залезет, посидит, обратно улетает. Я уж весь скворечник вычистил от воробьев, соломки подстелил... не знаешь, в чем дело?

— Не знаю.

— Птицами не интересовался никогда? Напрасно. Птица—украшение жизни. Там у меня турник. Это площадка для внучат. Как твои, дома?

— Ничего.

— Значит, не очень хорошо? Как Алеша, закончил школу?

— Заканчивает.

— Учится как?

— Хорошо, без троек.

— Молодец, а девочка как?

— В пятом классе, одна четверка.

— Умница, умница. Это она в тебя — такая прележная. Как Катя?

— Хорошо.

— Не болеет?

— Слава богу!

— Это точно. Работает?

— Дома с детьми. Смотреть надо.

— Правильно рассуждаешь. В тебе это всегда было. Один, значит, тянешь?

— Приходится.

— Тяжеловато.

— Нормально.

— Правильно, жаловаться легче. Сейчас вокруг все только и делают, что жалуются. Надо всегда радоваться жизни, в любом случае, а унылых и жалобщиков всегда не любили, во все времена. Хоть они и были правы. Человек жить должен — это от природы. А не загибаться. Гитлер, я слышал, всем пессимистам кастрацию делал, чтоб оздоровить нацию. А там — туалет. Я его утеплил, можно при любом морозе сидеть сколько хочешь, как у немцев. А на лето я решетки поставил, видишь там, для вентиляции, и свет зря не жечь.

— Хорошо. А как ваши поживают?

— У нас такие дела: я живу здесь, в городе почти не бываю и не хочу. Сплошная суета и нервозность. Валентина Михайловна, значит, уехала в санаторий лечиться, мне тоже предлагали. Я раз съездил, даже заболел: пенсионеры — жалуются, ругаются, критикуют, в обмороки падают, водку опять же пьют. Это мне ни к чему, грузинские виды, Сочи. Я русскую землю люблю. Смоленщина, Валдай. Рыбу половить, поохотиться. Больше мне ничего не надо.

— А как дочка?

— Татьяна замужем. Институт закончила, три языка знает, работает по этому делу. И муж ее такой же, за границей сейчас. Родили мне внука.

— Поздравляю.

— Спасибо. Хороший парень. Крепкий, сердитый. Хотели Иваном назвать в честь меня, но вроде несвоевременно. Назвали Сашей. Но я не обижаюсь. Лишь бы они росли здоровые. Это — слива. Сколько она у меня крови взяла. Шесть лет над ней бьюсь, и ничего. Хотел срубить в прошлом году, пожалел. Дал ей еще один год сроку. Если не исправится, придется срубить.

— А как Владлен?

— Сейчас ничего, но он нас помучил пару лет, помучил. Сейчас — хорошо. Квартиру ему сделали трехкомнатную. Хорошая квартира. Обставились, живут.

— Кооперативную?

— Зачем? Дали. Откуда ж деньги? Окончил Академию Жуковского, работает в Москве, в институте, в ящике. Получает прилично, с первой разошелся, с завихрениями была девица, все чего-то хотела необыкновенного, а со второй живут хорошо. Такая умная женщина, молодец, понимает, серьезная. Родила ему двух, двойняшки. Девочки. Прелестные, краснощекие, голосистые. В общем, хорошо. Мы с Валентиной Михайловной рады и довольны. Ну, что, Марта, что? Ах, ты, ласковая, ласковая, ну, давай, давай! Легла уже, бесстыжая! До чего ж ласковая! Но Цыган лучше, настоящий сторожевой пес! Никого не подпустит! Смотри, какой Цыган! А?!

— Отличная собака.

— Ты-то разбираешься. Да, вот так, значит, живем. Пошли сюда. В общем, жизнь ничего, как говорится, лишь бы войны не было и разных пертурбаций, не дергали бы людей, дали бы пожить тихо и спокойно... А это — моя гордость, оранжерея. Заходи.

— Хорошо. Сами делали?

— Как же, сам! Не под силу. Мастеров пригласал.

— Хорошо сделали.

— Хорошо, да не очень. Люди разучились работать. Не умеют и не хотят. Водку жрать и даром деньги получать и власти критиковать, вот что сейчас в моде. Я с ними здесь целые дни возился. Глаз и глаз, иначе они бы мне сделали! Видал, какая красота!

— Да.

— А это, а это...

— Красиво!

— Я цветы всю жизнь любил. И все некогда было заняться. В основном неудобно.

— Я помню.

— Это что, разве на Севере можно разводить цветы? И работа... Кто-нибудь скажет или напишет.

— А чего ж страшного?

— Страшного ничего, но уже отклонение... Наша царица!

— Да, красиво. У вас здесь одни розы?

— Только розы. Ты смотри, Николай Дмитриевич, смотри.

— Красиво.

— Очень. Не понимаешь ты. Вижу сразу, что не разбираешься в красоте цветов, а этому кусту цены нет. Я за него какие деньги уплатил. Все я тебе показал, рассказывал, пошли в дом. Марта! Видал? А это что?..

— Коньяк.

— Коньяк?! Ну-ка, посмотрим. Армянский, ух ты, три звездочки. Небось, дорогой?

— А!

— Значит, уважаешь начальника, привез

угостить, не пожалел. Правильно. Молодец. Сам-то часто употребляешь?

— При встрече.

— Редко, значит. Молодец. А куришь?

— Нет.

— Не начал, значит. Правильно. Заходи. Разувайся. Вот тебе тапки.

Большая часть веранды была заставлена цветами в огромном количестве. Они стояли на полках, стеллажах, столах, на полу. Очень много было кактусов. Еще было три аквариума, два больших и один громадный. По обе стороны двери, во всю стену стояли с одной стороны шкаф, с другой—буфет. Буфет также был заставлен горшками, банками, почему-то тремя одинаковыми сифонами, виселся термос. У самой двери на веранду, на специальных полках была разложена обувь, тоже в большом количестве.

Они переобулись. Марте, которая зашла за ними, хозяйин вытер тряпкой лапы.

— Ну, иди, иди, Марточка, иди, собачка.

— Кактусов сколько, зачем они вам?

— Вот посмотри, видишь, кактус? Безобразен?

— Чего хорошего?

— Я тоже раньше так считал. Гадость. Сорняк. А сейчас... считается за приличное растение. В моду вошел.

— Это где же?

— У нас. Я здесь живу. Видишь, как время повернуло. Во всех домах ставят.

— Что ж красивого?

— Отстал ты от жизни, не понимаешь... А люди считают... Этот видишь? Знаешь, сколько стоит?

— Ну сколько, полтинник.

— Ты мне достань, я тебе рубль дам. Восемь рублей.

— Что вы, Иван Саввич?!

— Вот так. Здесь у меня—не мешай, Марта,—на тысячи полторы. Рассаживаю по горшкам, два года постоят, уже деньги. Мне приятно и людям на пользу, а деньги никогда не помешают. Ухода никакого, хочешь—займись. Я тебе пару штук подарю для зачина.

— Спасибо, Иван Саввич, мне они ни к чему.

— Я заметил, к природе ты равнодушен... а ухаживать просто. Один раз в неделю поливать, видишь, график висит, вторник—двадцать минут времени, а главное, чтоб они все время в одном положении были, это тебе не люди, их вертеть нельзя. Они сразу завянут и погибнут. Видишь, полоса, вот всегда в одну сторону. Смотри, какие пушкосты!

Он стоял среди колючих уродливых кактусов—толстый, добрый, в лыжном костюме, в шерстяных носках, туфли он не стал надевать—седой, краснощекий, с доброй дедовской улыбочкой. И был похож на ста-

рый добрый гриб из доброй сказки для детей, с добрым сказочным концом.

В каждой руке он держал по маленькому горшочку с маленьким пушистым кактусом.

— Ровесники моих близняшек. Это вот—Катенька, а это—Надюша.

— Хорошая память.

— Значит, не хочешь? Отказываешься от подарка? Ну, пойдем.

Прошли в комнаты.

— Здесь кухня. Это лестница наверх. Это чулан. Столовая. Это для детей. Там мы со старухой.

Квартира была роскошная. Городская квартира в хорошем, старом доме. Высокие потолки, отличный паркет, большие окна, дорогая мебель, ковры, дорожки, посуда, немецкий фарфор—память о великой победе над фашистской Германией; тонкие ковры на стенах с оленями, мельницами, замками, охотниками и пастушками—тоже память тех героических лет.

Кузнецову квартира понравилась.

— Очень хорошо. Вы здесь круглый год живете?

— А чего ж? Удобно. Газ есть, печка есть, подвал, электричество. Подведем еще теплоцентраль... третий год бьемся. Ты садись, Николай Дмитриевич, садись. Сейчас посидим, поговорим: народ у нас безынициативный. Трое и толкаем. Физик один, еврей, очень толковый парень, он у нас за главного, и я—третий. А остальные только ждут манки с неба. Больше ничего не умеют делать.

И пока он разговаривал, он быстро и сноровисто накрывал на стол: поставил рюмки, тарелки, графин с водкой, сифон. Хозяин был хозяйственный человек.

Из шкафов и холодильника стали извлекаться разносолы, будто гостя здесь ждали давно и старательно готовились к встрече.

— Дома у тебя хорошо, а на работе?

— На работе—неприятности.

— Ага... Ты по-прежнему на заводе работаешь?

— Там...

— А чего ж ушел из инструкторов? Открывай шпроты. И лимон порежь. Как раз для коньяка.

— Куда мне? Партийная должность—образования нет.

— Зря. Не боги горшки обжигают, есть такая пословица. Надо было нажать кое-где. Что ж ты, капитан, офицер—в работе. Неприлично. Надо уважать свое звание. В старые времена, при царе, это запрещали. Имя офицера берегли.

— Но это ж тогда, при капитализме. Классовая система. А у нас много офицеров работает.

— Много?

— В одном нашем цеху человек двадцать наберется.

— Смотри.
— И генерал есть, кузнец. В кузнечно-прессовом. Хотели его в райкоме приспособить, отказался...

— Генерал? А что ж он там делает? Тоже анекдоты в курилке рассказывает и на власть жалуются? Дожили... Каких же войск?

— Пехота.

— Да, пехота. А у кого воевал?

— У Конева, кажется, у Конева. Я с ним ни разу не говорил, но ребята рассказывали.

— А живого-то видел?

— Видел.

— Видел, значит, интересно... Ну, я хоть полковник, но никуда работать не пошел, нарабатался. Цветы буду разводить. А что за неприятности?

— Короче говоря, упрекнули меня, что на Севере служил...

— Вот как.

— Я по морде дал. Другой—я ему тоже.

— Ага. А третий?

— Третьего не было.

— Значит, обиделся, выходит? Ага...

— Отстранили меня от работы временно, ходил к парторгу, он тоже против, хочет, чтобы я извинился.

— Ага. Не балуйся, я тебе что сказал!..— это собаке.— Ты закусывай, закусывай, Николай Дмитриевич!

— Закуска богатая.

— Не жалуемся. Это мой первый закон: не жаловаться, тем более, не поможет.

— Я тоже не люблю ныть.

— Знаю, Николай Дмитриевич, знаю, знакомы. А кто упрекал, кто?

— Ребята из цеха.

— Ага, рабочий класс, значит.

— Ну да, наши ребята. Приехал посоветоваться.

— Ага.

— Заходил к Пухову.

— Пухов—дурак. Письма пишет?

— Пишет.

— Идиот. От таких все и зло. Язвенников и бездетных никогда нельзя ставить на ответственные посты, особенно в правительстве, весь народ перекалечат. Сколько из-за него, мерзавца, людей пострадало! Опасная личность. Душегуб. И что... он?

— Петрова ругал: «перекинулся»...

— Идиот. Петров—хороший парень. Я Юрку всегда любил, русский парень, не продаст. Умница! Помнишь, что он в Вильнюсе выкинул, золотой парень. Язык, правда, у него болтался слишком, но в наше время это уже не помеха. А карьере он мог сделать, мог... но чего-то растерялся. Давай выпьем! Будь здоров, Николай Дмитриевич, за встречу!

— Ваше здоровье, Иван Саввич!

— Извиниться ты должен? Извинись!

— Почему?

— Закон про дураков знаешь? Я тебе расскажу. Ну, Пухов—это больной человек. В Вене, в сорок пятом, один полковник-танкист, герой, общий любимец, молодой, тридцати не было, остановил машины—барахло вывозили, мебель и там другое, сам понимаешь, не солдаты, и он бы должен понять, раз считался за человека умного и талантливого, как мне после о нем рассказывали. А он по голой интуиции, принципиальность давил, показывал. Раз, другой, а там—недобитые, озверевшие фашистские молодчики случайно его убили. Я этим занимался. Нашли мы двух немцев, они все подписали, и дело закрыли. А полгода назад я видел того, кто убил его, не сам, но, так сказать, был в курсе. Жив-здоров.

— И что вы?

— Ничего. Я дураков никогда не любил, хотя иногда жалел. А офицера жалко, хороший был офицер... Пойди извинись, скажи им, напиши, что надо. Бить морды надо было раньше, теперь нечего руками после драки...

— Не ожидал я от вас такого совета, Иван Саввич, не ожидал. Дело-то правильное, принципиальное.

— Я музыку заведу, Зыкину, не возражаешь?

— Пожалуйста.

— Очень люблю. Большого таланта, силы человек. Русская душа. Как поет... Меня тут тоже раз хотели подцепить. Встретил я одного, у нас отбывал. Одет и выглядит прилично, видать, в людях ходит. Узнал меня, но сделал вид. Думаю, врешь, я тебя научу уважать. Подошел. Поздоровался. Он, мол, не знаю. Я ему прямо: так и так. Расколосся. Не хочет давать руку, не дает. Не хочет разговаривать—разговаривает. А я с ним еще расцеловался специально, хотя терпеть не могу это лизание, которое Никитка ввел, не знаю, почему оно ленинскими нормами называется. Ленин вроде с мужиками не целовался. Интеллигентный человек был. Это тебе не клоун и не усатый...

— Кто?!!

— Я еще в двадцать седьмом году, как его послушал, подумал: этот далеко пойдет, родную мать не пожалеет. Но такого никто не ожидал. Я б его из Кремлевской стены, чтоб и духу не было, а в Гори такой кол вбил на память... Он же всех продал, гад, только о себе и думал. Мы за ним пошли, через отцов-братьев перешагивали, а нам—какая благодарность: унижал, как хотел, издевался... Сколько светлых голов сгубил, подлец! А потом умер, а мы у разбитого корыта. Одних отстранили, других—на пенсию. И через три года письмо читают. Вот тебе и великий вождь. На три года всех порядков хватило. Для чего ж мы столько лет вкалывали, грех на душу брали, по лезвию ножа ходили, народу перебили зря

сколько—ради чего? Чтобы получить эту жалкую пенсию, копейки эти. Когда я уже десять раз мог шею свернуть и где-нибудь под мхом гнить!

— Почет же есть?

— Какой почет? Был я тут в школе в прошлом году. Стал говорить—хихикает молодежь. Я их построил на пять минут и речь на полчаса патристическую, как мы им счастливую жизнь обеспечивали. Я стою—они стоят. Думаю: пусть у меня пузырь лопнет, но я вас, дорогие мои деточки, мальчики и девочки, научу Родину любить. Они меня надолго запомнят. Наливай! Хороший коньяк! Да, промахнулся я. В пятьдесят четвертом уперся, что значит не те годы, нет чутья! Никак не мог представить, что так обернется, и полетел, дурак, и правильно—дураков надо учить. Но—через три года—уже письмо! Кто бы мог представить? Да, великий вождь, великий гений, все расспысалось, а мы, идиоты, с собственным интересом в кармане. Смены не мог даже сообразить как следует, что значит только о себе думал. А эта свинья в пенсне! Аморальный тип! Мы там стройки коммунизма возводим, разрываемся, а он окружил себя в Москве лизоблюдами, тосты на пьянках говорил и баб портил. Легко отделался—расстрелом. Нам бы его дали, он нам все бы подпisał, скотина... И для чего было тогда бить столько народу... Глупо, безхозяйственно. Ладно партийные, этих мне не жалко, они все друг друга из-за слова готовы были удушить. Когда ко мне попадались все эти «за мировую революцию» и «за всеобщую коллективизацию»—я их не жалел. Попили кровушки из народа. А инженеров зачем трогать, специалистов, работников—они же нужны. Пока другого подготовишь, времени, сил, средств сколько затратишь? И тихие они были. Понимали, конечно, и потому молчали, лезть в политику не лезли, разве что не так громко «ура!» кричали. Так на то они и интеллигенция, их тоже надо немножко понять, немножко гонора оставить. Ну, оштрафовал бы—и наказал, и деньги казне. И людей сохранил бы. Они в следующий раз кричали б как следует. Нет, этот размах любил—гулять как следует: режь давай, бей, дави! Инженеров туда, ученых сюда, командиров в ров! И нагулял—насилу от Гитлера отбился. У меня девять человек проходило. Группа. Инженеры, по характеристике хорошие. Пятеро вообще считали, что наша страна—самая лучшая. Это—молодые. Подписали они сразу. Я им сказал: надо. И все. Трое насчет баракла сомневались, что маловато его в магазинах, но не более. Ну, один. Тот все понимал. Все видел, куда дело клонит. Был умный парень. И потому молчал, конечно, и делал вид, что ничего не видит и не слышит. И тем был, конечно, безопасен.

Зачем же их надо было трогать?

— А тронули?

— Еще б! Терроризм. Японские агенты. Хотели обком уничтожить. И область к Японии присоединить.

— И что с ними?

— Сам понимаешь, за такие штуки по головке не гладят.

— А для чего нас оставили?

— Зачем нас трогать. Мы—безопасные, не кусаемся. Кто кусался, голову свернули, а мы, глядишь, пригодимся. Сегодня—на пенсии, а завтра, если что, опять враги народа или космополиты, мы—здесь. А таких кадров нигде в мире они не найдут—молодежь, хоть образованная, но так работа не умеет, у нас опыт. Мы, как говориться, мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Мы и есть этот бронепоезд на запасном пути.

— А за жертвы? За невинную кровь? Ведь мы их ставили беспощадно. Почему нас не поставили?

— За какую кровь?—ласково спросил Иван Саввич.

— Вот вы рассказывали.

— Я тебе ничего не рассказывал. Мы с тобой о цветах и собаках говорили. Чего смотришь? Мы с тобой на четыре глаза, а ты был пьян. Скурвился?! А теперь уходи, нечего тебе здесь воздух портить.

Оба встали.

— Я вижу, как ты лисой ходишь. Коньяк принес, вокруг да около.

Кузнецов обувался.

— Не можешь мне пятьдесят третий простить? Сам дурак. Надо быть похитрее. А грудью лезть—это каждый может.

— Вот как,—сказал Кузнецов,—значит, так дело обстоит.

Иван Саввич шел за ним по дорожке.

— Ты меня не пугай, не советую. Я мирный человек, никого не трогаю. Цветы развожу. А у тебя с биографией не все ладно.

Он вернулся в дом и, когда Кузнецов сел в машину, он кинул ему на сиденье бутылку, завернутую в газету.

— Возьми свой коньяк.

— Здравствуйте, Иван Саввич.

И Кузнецов запомнил, как ласково обернулся Иван Саввич и тихой заботой засияло его лицо.

— Здравствуйте, Ольга Петровна, как девочка?

— Спасибо, стала лучше.

— Главное, малину, малину, как я вам говорил, она сразу на ноги поднимется.

Он торопился в Москву, шел дождь. Дорога была скользкая, но он гнал машину. Диктор сказал по радио: «Завтра наша страна отмечает двадцать первую годовщи-

ну великой Победы нашего народа над фашистской Германией...»

Навстречу бежали плакаты-здравицы: в честь партии, народа; кончалось все молодежью и вооруженными силами. И тут же они повторялись.

Он взял одной рукой бутылку, развернул бумагу, открыл зубами пробку и сделал несколько глотков, потом он правой рукой опустил стекло, выбросил бумагу и швырнул бутылку.

Он стоял на набережной, напротив бассейна.

Сын был в десяти шагах, он подходил. — Здравствуй, папа,— сказал сын,— извини, я опоздал.

— Это я раньше пришел.

Помолчали.

Сын смотрел в сторону, отец рассматривал его.

Другой стал сын, другой. Усталый, осунувшийся, безрадостный. Не его сын, подменили.

Сын сказал:

— Я поздравляю, сегодня твой праздник,— и так слабо, так жалко улыбнулся, что у него, у отца, оборвалось сердце.

А сын сказал, и глаза его не смотрели прямо:

— Прости меня, папа, я был не прав. Извини. Я очень виноват перед тобой.

Он понял—это смерть. Он первый раз заплакал в жизни. И обнял его, чтобы сын не видел слез.

— Алешка, ты что с отцом делаешь. Я честный человек, Алешка.

А тот не понимал и повторял:

— Извини, папа, извини.

Он отпрянул, ему хотелось сказать все-все, и он торопился:

— Алеша, слушай отца. Запомни, сынок, есть одна правда—человеческая, другой нет. Ты можешь стать настоящим человеком. Коммунистом ты должен стать! Чтобы тобой гордился твой отец, мать, сестра, родственники, твои товарищи, твоя будущая жена, дети, и у тебя есть все возможности: ты умный парень, способный, ты мужественный парень, у тебя есть характер, ты добрый парень, ты думаешь и о других, и отец твой был—честный человек.

Он держал сына за плечи и говорил ему все это, боясь и страдая, что хоть одно слово упадет мимо.

— Ты простил отца из-за любви. А отец—тоже любит тебя. И никогда не предаст. Ты всегда должен быть спокоен. А теперь—иди, иди.

Он подтолкнул сына.

Сын пошел, оглянулся.

— Не оглядывайся, не оглядывайся.

Он рванулся, догнал, развернул.

— Поздравь отца, я же—победитель!

И он сам поцеловал сына и толкнул:

— Не оглядывайся.

И сам повернулся и пошел в другую сторону.

Внизу было много воды.

Он стоял на мосту. Долго смотрел на воду. Расстегнул плащ. Снял кепку и бросил ее в воду.

Сразу же несколько прохожих кинулось к перилам смотреть.

Кепка упала на воду и стремительно скрылась под мостом. Течение здесь было сильное.

Они смотрели на него с большим интересом и ожидали, что он еще кинет в воду; он запахнул плащ и побрел опять прочь.

Он стоял под душем, глаза его были закрыты.

Тщательно брил подбородок.

Причесался.

Надел белую рубаху.

Затянул галстук.

Накинул пиджак. На груди бряцали ордена.

Он стоял перед столом, стол был застлан белой скатертью, и на нем стояли две налитые рюмки. Он поднял одну:

— За тебя, Алеша, вечная память!

Выпил свою рюмку и перевернул кверху дном.

Он видел, как немцы разворачивают шлагбаум.

Как летят бомбы.

Как прощаются, улыбаясь, ополченцы.

Как моряки-добровольцы из Севастополя едут в осажденную Одессу.

Битву под Москвой...

Мученик-Ленинград.

Победу Сталинграда.

И Освобождение.

Как идем мы по своей земле.

Как висят на виселицах партизаны.

Как крестит старуха идущих солдат.

И освобожденные города.

И слава павшим героям.

И бегущие за танками женщины, целующие руки солдатам...

И знамя над рейхстагом.

И Победа! Салют!

Он сидел в зале и плакал.

И через весь город, через толпы людей, на оружейном лафете везли прах неизвестного солдата.

Но это было после, потом, уже зимой, в декабре.

Он шел, качаясь и наталкиваясь на людей. Моросил дождь.

У троллейбусной остановки стояла длинная очередь. И в конце — пьяный парень с аккордеоном. Он все время пытался держаться за кого-то и что-то бормотал.

Кузнецов подошел к нему, взял аккордеон. Парень поднял голову и освободил ремни. Все смотрели на них с любопытством. Он расставил ноги, встал поперек тротуара, развернул плечи, потянул меха и без пробы, с размаха, ударил по клавишам.

На позицию девушка
Провожала бойца...
Темной ночью простились
На ступеньках крыльца,
И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке у девушки
Все горел огонек...

Он пел, и аккордеон рыдал у него в руках, а люди шли и лица их были непроницаемы. И они обходили его, пьяного человека, который с дорогой вещью стоял под дождем. И лишь только за его спиной оглядывались на него и проявляли свое отношение.

Подошел троллейбус, и очередь влезла в него, и пассажиры смотрели из окон, и некоторые показывали пальцем — им было очень смешно, а он стоял, прямо, глядя перед собой, стараясь быть гордым и красивым. А за его спиной стоял парень, владелец аккордеона, качаясь и цепляясь за его плечи. И потом он пошел поперек улицы и машины тормозили и круто объезжали, но никто, ни один водитель не высунулся и не сказал ему ни единого слова.

Ударили залпы, небо над городом осветилось, страна отмечала Великую Победу.

Он сидел в ресторане. И зал был переполнен. А он говорил сидящим за столом:

— Я в семнадцать лет танк подбил.

И люди кивали вежливо, и он все понял и встал из-за стола:

— Извините. Извините.

И в проходе он столкнулся с молодым парнем и тоже обнял его за плечи и сказал:

— Ну, поздравь меня, я же — победитель!

И парень сказал:

— Поздравляю.

А он не отпускал его и просил еще:

— Давай поцелуемся?

И парень отодвинул его плечо и сказал:

— Ну ладно, отец, всего тебе хорошего.

И он опять сник, и опять тяжело выговорил:

— Ладно, извини.

Из-за столиков смотрели на него с удив-

лением, и он, не понимая ничего, а только себя, шагнул по залу, нащупывая взгляд или улыбку, и, подсев опять к чужому столику, опять заводил разговор:

— Вы меня извините, день сегодня такой, вы меня извините.

Люди смотрели на его орден и натянуто улыбались, все боялись его обидеть, но у всех были свои заботы.

Женщина спросила:

— Это у вас какой орден, болгарский?

Он был счастлив, что у него что-то спросили, и готов был рассказывать долго и подробно про все что угодно, даже про то, что он сам не знает.

— Это польский. Я полгода в Польше в лесах воевал, нас, группу диверсионную, сбросили.— Он еще подумал и добавил:— Это уже не военная тайна.— И ждал, но больше ничего не спрашивали, и он еще раз сказал:— Орден польский, а эти все наши. Я в сорок первом в семнадцать лет в первом бою танк подбил...— И еще подумал и вспомнил:— Но тогда наград не давали, надо было Москву отстоять!

Женщина улыбалась мягко и смотрела на него ласково и добро, а мужчина налил и поставил перед ним рюмку.

Он поднял ее и ждал, когда они поднимут тоже, но они не поднимали, и мужчина сказал: «Пейте, пейте!»

— А вы?— сказал он.

— Мы после.

Он еще подумал, правильно ли он все понимал, может, неправильно, но все получалось, что правильно.

Он поставил рюмку, встал и, улыбаясь и стараясь быть вежливым, чтоб они не подумали на самом деле, что он какой-нибудь алкоголик, сказал:

— Извините, извините, пожалуйста. Я пьян сегодня, я не обидел вас?

— Нет, нет,— поспешил сказать мужчина.— Ничего.— Но он не предложил ему сесть обратно.

И он поклонился и выговорил:

— Приятно было с вами познакомиться.

Где-то засмеялись, и он долго смотрел в ту сторону, раздумывая, пойти ли набить морду или пойти извиниться, но так ничего и не придумал.

Он прошел по залу, но никто его не приглашал, никто его не обнимал и не предлагал спеть песню.

Потом он увидел компанию ребят и девушку среди них, и они ему очень понравились. Он подошел к ним и подсел без разрешения, потому что он боялся, что если спросит его, ему могут отказать, а ему очень хотелось посидеть с ними, просто больше нечего было делать в этом ресторане.

Он подсел и, чтобы сделать им приятное, он сказал:

— Когда мне было семнадцать лет, я танк подбил!

И они все заулыбались, а один сказал:

— Орденов много у вас.

— Ордена—это не главное,—сказал он.— Не на ордена надо смотреть, а на человека.

— А чего ж тогда носишь?—сказал тот, что сидел рядом.

Он подумал и согласился: «Правильно» и стал снимать, отцеплять колодку.

Девушка стала его отговаривать.

— Вы оставьте, сегодня такой день! Давайте я вам приколю обратно!

Но он отколол, достал носовой платок, высморкался в него заодно, аккуратно завернул награды и спрятал в пиджак.

— Дело не в этом,—сказал он,—не это главное.

— А что главное?—опять спросил тот же парень.

И он объяснил:

— Главное—это совесть! Когда она в порядке, ничего не страшно, и людей любишь.—И он улыбнулся им доброй улыбкой.

Они молчали, и он, опасаясь, что они будут так молчать долго, сказал:

— Давайте споем!

— Запевай,—сказали ему.

И один добавил:

— Только не очень громко и не матерную.

Он посмотрел в его сторону и решил не обижаться. Он задумался и долго не мог придумать, что петь, а время шло и надо было начинать, но петь нужно было что-то общее, чтобы и им было интересно. Он придумал и запел: «Гори, гори, моя звезда...»

Он пел очень старательно, культурно, чтобы им понравилось, и они его попросили бы потом: «Спой еще что-нибудь, пожалуйста! Очень здорово вы, или ты, поете!» И он сказал бы: «Ну а чего не спеть? Хотите солдатскую?» И спел бы солдатскую.

Они не подпевали, а он забыл слова. Он и песню запел, чтобы сделать им приятное, чтобы они подхватили, чтобы они пели, а он только помог им, дал возможность. И вот теперь они молчали, а он вспоминал слова.

Так они сидели молча, и сосед тронул его за плечо.

— Папаша,—сказал сосед.— Может, до той пора идти?

— Нет, не пора,—сказал он.

— Нам надо посидеть, поговорить.

Он соображал, о чем они говорят, и посмотрел на девушку, но она отвела глаза и молчала. И он еще немного посидел, потом встал:

— До свидания, ребята! Ну, если что, вы уж покажете?!

— Покажем, покажем...

Он пошел мимо столиков и видел, что все боятся, что он к ним подсядет. Все выпивали и втихую тискали своих женщин. Это ему было противно.

Он толкнул стул и опять стал раскланиваться и извиняться, когда за его спиной кто-то крикнул громко на весь зал:

— Сколько можно? Да выведите его, наконец! Где администрация?!

Он хотел обернуться, посмотреть, кто это так кричит, но тут стали кричать по всему ресторану и все о том же, что его надо вышвырнуть отсюда, и он понял, что его здесь, оказывается, не любят. Да и кому любить?

Он осмотрелся на крики и вдруг понял наконец! Наконец кончились сложные разговоры в потемках, кончились намеки и сложности, которые он всегда презирал и считал не мужским делом, все стало простым и ясным: он и они, как на фронте—мы и немцы, и он был хороший фронтовик, герой, а они были гады, которые пришли сюда щупать баб и жрать водку. И он повеселел от ненависти к ним.

— Выведите!—крикнул он и почувствовал, что он здоровый парень, что он разведчик, что он взорвал восемь эшелонов и шесть раз прыгал в тыл к немцам.— Выведите! Ну, ты, ты! Идите сюда! Выведите! Что орешь, иди сюда! Ну, кто?

Но никто не шел к нему, никто не расстегивал рубаху, все требовали администрацию. Мужчины замолчали от его слов, но теперь подняли крик женщины.

А он уже отошел и стал спиной к окну чтоб никто не прыгнул сзади. И снял пиджак, и взял было за ремень, но это был штатский ремешочек, и он приготовился так, чтобы опереться руками, ведь он был все-таки выпивши, и расшвыривать их ногами и бить насквозь в живот и ниже.

А они, видя это, совсем сошли с ума и орали: «Милицию!»

— А, не можете без милиции? Не можете? А зачем вам демократия, шлюх под столом щипать? Труссы!

И тут появился молокосос в форме и попробовал его испугать:

— А ну прекратите!

— Стоять!—гаркнул он.—Смирно!

И тот вытянулся и растерялся совсем, а он стал смеяться над ними всеми.

Пацан попятился и пошел, видимо, за помощью, а он крикнул:

— Ну, где вы? Где вы, мужики? С одним хулиганом без помощи обойтись не можете? Драть вас всех, быдло! Стричь! Кольцо в ноздрю! И тачку! Шлюх вам, а не женщин! Труссы!

И опять они, сволочи и трусы, только роптали. Был бы он там.

— А где же интеллигенция? Молодежь

где? Надежда нации? Не стыдно? Кого плодить будете, трусов?

И тут встали его ребята. И слава богу, хоть они!

— Давай,—позвал он их.—Давай!

Но кроме них никто не поднялся.

Он улыбался спокойно и, когда они подошли близко, он рванулся и бил! Рвал! Ногами! Руками! Головой! И ему наконец за всю неделю стало легче!

Они скрутили его, подняли. У очкарика были разбиты стекла, лицо порезано, и кровь текла по лицу. Еще двое слизывали губы. Он осмотрел их, свои трофеи, он был в порядке! И драться уже не хотелось. Все!..

У него самого лицо было разбито, когда он падал, вырываясь, на пол, и теперь оно напухало на глазах.

Какой-то мужик вскочил из-за стола и, подбежав вплотную, ударил ему снизу, так что у него отпрыгнула голова. У него сразу хлынула кровь на рубашку, а он никак не мог ответить: руки его держали, и ноги тоже были заблокированы.

— Сволочь!—крикнул мужик.

Он сразу раскрыл глаза и увидел, как тот, его сосед, держит мужика за руку:

— Вы что?

Тот стучевался и боком вернулся на свое место, а сосед сказал своим:

— Этого типа надо засечь.

Теперь, когда его волокли по проходу и вышвыривали отсюда, где ему не было места, опять кричали мужики:

— В милицию его! Пусть проспится!

И один толстомордый, по возрасту его ровесник и фронтовиком должен был быть, сидел рядом с молодой девчонкой и кричал:— Выведите его отсюда!

— Иди сюда! Ты, толстый! Иди! Иди, я тебе плюну!

Но его выволакивали, выбрасывали отсюда.

— Ребята,—сказал он своим ребятам,—простите меня. У меня сын такой, как вы. Точно! Мы, дураки, деремся между собой, бьем морду, а они смеются над нами! Это ж муравьи, это эшпманы, они всю Россию засосут! Мы перебьем друг друга, а они наш хлеб жрать будут, наших женщин портить, детей наших воспитывать, гниды! Простите меня, ребята!

Они вывели его на лестницу, здесь уже подоспел милиционер. Девушка вытирала очкарику лицо, и тот прикрывал глаз.

— Глаз цел? Цел глаз?—спросил он.

— Цел,—сказал очкарик.

— Остальное заживет, не страшно. Извиня.

— Ладно. Драться трезвым надо.

— Вы мои дети! Я для этого дрался, чтоб вы были такими. И Алеша, мой друг, погиб за это, а не за этих сук!

— Ладно,—сказал его сосед.—Ты хороший мужик, только не надо драться пьяным!

— Прости меня!

— Я тебя прощаю!

— Мы тебе все прощаем,—сказал очкарик.—Ты только держись! Держись!

Принесли его пиджак, накиннули на плечи. Девушка вытерла лицо у очкарика.

— Алена!—сказал сосед.

Она подошла к Кузнецову, достала свой платок, смочила в духах и осторожно стала стирать кровь.

Сначала он держался, потом—заплакал.

Сосед подошел, и девушка отошла, и он вытирал ему лицо, и он прижался к его плечу, чтобы никто не видел его слез и держался за него, а сосед гладил его по спине.

— Ничего, ничего! Ты же фронтовик, отец наш!

Потом он услышал, как молокосос сказал:

— Идемте, идемте. Нечего здесь стоять! Там разберемся!

Он поднял голову и посмотрел на него, и тот сразу испугался и предупредил ребят, будто они были его подчиненными:

— Вы его держите!

— Держите? Кого? Что, взяли? Приручили? Врешь, не возьмешь!

Он рванулся по лестнице вверх.

— Там—иностранцы!—крикнул молокосос фистулой.—Держите!

Какая-то плоская рожа была на его пути, и он уже предвкушал, как он даст по ее округлости, он был уверен, что это враг, но она проворно отскочила к стенке.

— Держите его!—крикнула она.

Он забежал наверх, там была сетка, а за ней склад грязных скатертей. Он рванул на себя сетку и обернулся.

Его обложили. Ждали, когда он спустится вниз.

Он рванул еще раз сетку.

— Спускайтесь!—крикнули ему. Они подкрадывались к нему.

Он рванулся, вскочил на перила, закачался: «Не возьмешь!» и кинулся вниз.

Он видел серый квадрат, который сразу разросся и заполнил весь мир. И крики, которые вдруг рассыпались и затихли.

И последнее, что он подумал, что вспомнил. Не мать, не жену—вспомнил сына.

И увидел это четко и ясно, как на экране телевизора.

Увидел, как идут они с сыном среди моря демонстрантов на Первое мая 1952 года. И были флаги, были портреты вождя, несли карикатуру Кукрыниксов, где Тито стоял с топором и получал деньги за это. И все было ясно, просто и понятно. И сын был веселый, и сидел на плече, и размахивал флажком, а оркестры играли: «Москва моя,

страна моя!..» И все улыбались, и всем было хорошо, и никто не сомневался. И холуи кричали в динамики звонкими голосами: «Да здравствует наш Дорогой и Любимый...»

И радостные и счастливые рты и руки: «Ур-ра!»

И панорама по Мавзолею. И люди, в одинаковых плащах и шляпах, скромные, усталые от трудов.

И Сталин, в белом кителе, с детьми и с усами, добрыми и любимыми, голубь мира нашего народа и всего прогрессивного...

И площадь внизу, наполненная любовью и доверием!

Кузнецов хотел крикнуть, предупредить! Но не было уже времени!

ПРИ ПОКОЙНИКЕ НЕ БЫЛО НИКАКИХ ДОКУМЕНТОВ, ПОЭТОМУ НЕ ЗНАЛИ, БРОСИЛСЯ ЛИ ОН ПО ПЬЯНОМУ ДЕЛУ ИЛИ ЕГО ЗАТРАВИЛА ГРУППА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ. МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ДО ВЫЯСНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ЖЕРТВЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ЗАДЕРЖАЛИ.

Он лежал внизу на кафеле, и из-под него расплзлось темное пятно.

Набежали люди, его оттащили. Пришла женщина в синем стираном халате, посыпала опилками пол, собрала в совок и ушла.

ОН УМЕР, НО ДУША ЕГО ЕЩЕ ЖИЛА И ДОЛГО ЕЩЕ БРОДИЛА ПО ГОРОДУ И ВСЕ ИСКАЛА И СТАРАЛАСЬ ПОНЯТЬ, ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО!

И среди столичной толпы улицы Горького, мимо «Подарков», шел окровавленный Кузнецов и смотрел на витрины, на людей, и люди тоже смотрели на него и сторонились.

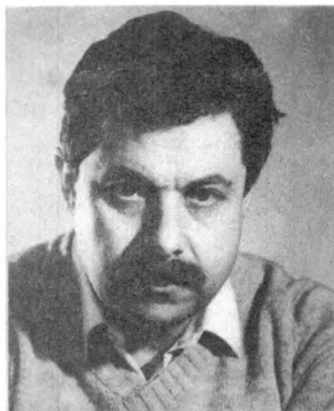
И он стоял и оглядывал город. И панорама: по улице Горького, Манежу и наезд на Александровский сад, туда, где пламя над Неизвестным.

И оцепеневший Кузнецов.

И сразу на его месте — его сын. Крепкий. Вбитый!

ОН УМЕР, НО БЫЛ ЖИВ ЕГО СЫН, И ЕМУ БЫЛО СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ, И ОН ХОТЕЛ ПОНЯТЬ, ЧТО ПРОИЗОШЛО С ЕГО ОТЦОМ.

1966—1968 гг.



АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ЧЕРВИНСКИЙ (родился в 1938 году) окончил Московский архитектурный институт и несколько лет работал архитектором. С 1965 года начал писать киносценарии. Он автор более 20 литературных сценариев художественных фильмов, в том числе: «Мужчины», «Исполняющий обязанности», «Верой и правдой», «Молодые», «Блондинка за углом», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (в соавторстве с Э. Кеосаяном), «Тема» (в соавторстве с Г. Панфиловым) и др. Его пьесы «Счастье мое», «Из пламя и света», «Надежда», «Крестики-нолики» поставлены во многих театрах страны.

Сценарий «Из пламя и света» написан Александром Червинским в 1976 году.

АЛЕКСАНДР ЧЕРВИНСКИЙ ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА

15 июля 1841 года великий русский поэт Лермонтов был убит в Пятигорске отставным майором Мартыновым.

За всё, за всё тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За мечь врагов и клевету друзей,
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был—
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

13 мая в пять часов утра я вошел в общую комнату Георгиевской станции. Алексей и наш случайный попутчик офицер Магденко уже сидели у самовара.

Я сказал Алексею:

— Монго, а не послать ли нам все ко всем чертям?

— Господь с тобой,—отвечал Монго и опустил выпуклые веки.

Он моложе меня, но у нас игра, что он—старший и всегда знает, как быть. Он—большой, а я—маленький. Он—лев.

— Я не понимаю вашего влечения к трудностям боевой жизни,—неожиданно вступил в разговор Магденко.—Подумайте, ка-

кие удовольствия вас ожидают в Пятигорске, в хорошей квартире, с удобствами и разными затеями.

Окно было в синей раме. За окном лил дождь, на стекле звенели мухи.

— Это никак невозможно,—опять сказал Алексей, отвинчивая розовыми пальцами серебряную пробку.

— А почему?—спросил я быстро.—Там комендант прежний—Ильяшенков. Кинемся в ноги...

— Помилуй, мне поручено отвезти тебя в отряд. Вот подорожная, а там—инструкция.

Я вышел из комнаты.

Во дворе наши люди уже запрягали.

Я вернулся.

— Едем?

— Сам подумай,—вздыхнул Монго.

— А вот—пожить и не думать!

— Успеете под пули,—сказал жалобно молодой Магденко.

Тут я вынул из кошелька полтинник.

— Вот, бросаю. Если упадет кверху ор-

лом — едем в Темир-Хан-Шуру, если решеткой — в Пятигорск. Согласен?

Стольпин молча кивнул. Русский человек — на то и знал правила, чтоб им не следовать.

Я бросил полтинник. Он упал вверх орлом. В армию...

— В Пятигорск! В Пятигорск! — закричал я и кинулся объявить людям.

Они вбежали и упали на колени перед Монгой, благодарили. Нелегка пришлось бы им жизнь в отряде.

— Так загадали же наоборот? — удивился Магденко.

— Нет, все верно, — важно сказал Монго. — Судьба.

Я люблю ехать. Мне кажется — там, куда едешь, все будет иначе.

За дождем не видно было гор.

— Монго, через сорок верст Пятигорск — солнце!

Мы ехали в коляске Магденки, я и он на задней скамейке, а Монго — перед нами, и дождь бил в лицо нам, а не ему; так было хорошо, он понимал комфорт больше меня и всегда был барин.

Магденко ждал, чтоб началась полезная беседа, для того нас к себе и пригласил.

— Позавчера в семи верстах отсюда зарезали проезжего унтер-офицера, — сказал Магденко.

— Вы думаете, это знак? — спросил я.

— Какой знак?

Я никогда ни с кем не бываю вполне откровенен, разве что со случайными людьми.

— Часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычному глазу трудно ошибиться, — сказал я. — Не кажется ли вам, что и события, подробности нашего пути подают такие же знаки неизбежности?

— Я не об этом, — с жаром отвечал Магденко. — Дороги опасны, но как они дурны! В дорогах словно изображается общее положение дел в России! У графа Сологуба в сочинении об этом сказано замечательно смело. У меня записано... да я и так помню: «...скупно ездить по святой Руси, нечего греха таить, куда как скупно! Горе вам, горе, горе, горе! Дорога делается все хуже... Грязно, скупно, досадно!».

У меня тяжелый, неприятный взгляд, его не все выдерживают. Нет, он не боялся.

— Вы думаете, у Сологуба намек? — спросил я заговорщически.

— Вы даже фыркнул.

— Вы не согласны с общим положением дел в России? — спросил я.

— Мишель, оставь, — предупредил Монго.

— Я читаю, думаю, — сказал Магденко,

радуясь умному разговору, — стараюсь иметь свое мнение.

— А что вы думаете о государе?

Он струсил.

— Вот я думаю, что он на всех на нас сидит орлом. Это мое мнение, а ваше?

— Такое жестокое мнение мне кажется преувеличенным, — пробормотал Магденко.

— «Мне не нужна полиция. Вы — моя полиция», — вспомнил я.

— Простите?

— Это его величество — к дворянам, — сказал я. — Вы из Сологуба читаете, а я из него... Монго, дьявол, сера! Сквозь дождь пахнет!..

— Чем пахнет? — растерялся Магденко.

— Дерьмом, — отвечал сквозь дремоту Монго.

— Серными водами пахнуло, господин помещик! — засмеялся я. — Пятигорском, Востоком, приключениями!

— Вы все шутите, — сказал Магденко, сбитый с толку. — Я не помещик, а ремонтер Борисоглебского уланского полка.

— Спасибо, господин ремонтер!

Я пожал ему руку.

— Вы нас увезли в Пятигорск, от смерти спасли!

Мы въехали в город, свернули с Казачьей улицы на бульвар. Впереди — близко — стоял Машук; и точно, светило солнце!

Беззаботная водяная публика шествовала на гору — к колодцам.

Ветер, прогнавший бурю, прошумел липами на бульваре.

В Тарханах всегда ветер.

2 января 1810 года дед Михаил Васильевич устроил маскарад и спектакль. Играли «Гамлета», и сам дед выступал в роли 1-го могильщика. Все это делалось как бы в честь пятнадцатилетней Машеньки, будущей моей матери. Она, испуганная, была в центре шумного веселья пензенских помещиков. Но в самом деле причина стараний деда была другая, и вся щедрость его натуры человека екатерининского времени была вызвана страстями отнюдь не отцовской любви.

Праздник был не по средствам широкий.

Гостей было много — даже для просторного дома: гостили в те времена с детьми, с приживалками, учителями и шутами. Деревянные лавки, сбитые нарочно для представления, были выложены бархатом, и десятки лакеев — переодетых на этот случай дворовых и мужиков — столбами стояли в каждом простенке. Занавес был украшен наскоро золотым шитьем. Могильная земля в пятом действии была настоящая тарханская угольно-черная земля.

В духоте, в копоти сотен домашних свечей гости слушали в гробовом молчании, в

жадном и подлом любопытстве угадывая особый смысл, вложенный дедом в слова роли.

В семье было неблагополучно, и спектакль получался двойной.

Измученная, совершенно одинокая в этой толпе бабушка прижимала к себе дочь, а у ног ее лежал дедов, выписанный из Москвы карлик и смеялся над ней.

Истинная жизнь человека есть собрание событий хоть и известных другим людям, но таких, которым другие не придают важного значения. Представление других о человеке — всегда только желание видеть его хорошим или плохим, добрым или злым, достойным или недостойным, открытым сердцем или эгоистом. Но в нас все перемешано, и наша нравственная борьба, которую мы ведем всю жизнь, которая и есть наша жизнь, всегда своя, особая, неповторимая. Движушим нас событием может быть даже не то, что было с нами, но даже случившееся до нашего рождения.

— «Разве такую можно погребать христианским погребением, которая ищет своего же спасения?» — спрашивал дед с особенной страстью.

— «Я тебе говорю, что можно, — бормотал в ответ 2-ой могильщик, крепостной Максим, камердинер деда, — и поэтому копей ей могилу живее; следовательно рассматривал и признал христианское погребение».

— «Как же это может быть?! — крикнул дед. — Если она утопилась не в самозащите?!».

— «Да так уж признали!»...

— «Требуется необходимое нападение! Иначе нельзя! Ибо в этом вся суть: ежели я топлюсь умышленно?.. Погоди. Вот здесь тебе вода... — Дед перескакивал в тексте. — Вот здесь тебе вода! Хорошо. Вот здесь тебе человек; хорошо. Ежели человек идет к этой воде и топится, то — хочет, не хочет — а он идет. Заметь себе это! Но ежели вода идет к нему и топит его? Кто неповинен в своей смерти, тот своей жизни не сокращает!»

— «Хочешь знать правду? Не будь она знатная дама, ее бы не хоронили христианским погребением», — сказал Максим, стараясь держаться от деда подальше, даже вовсе покидая могилу Офелии, которую копал.

— «То-то и есть! И очень жаль, что знатные люди имеют на этом свете больше власти топиться и вешаться, чем их собратья христиане. Ну-ка, мой заступ. Нет стариннее дворян, чем садовники, землекопы и могильщики: они продолжают дело Адама!»

Дед схватил Максима, притянул его к себе и прошипел в ухо:

— Где Мансырова?

— Четвертого гонца посылали — нет ответа, — оправдывался шепотом Максим.

На первых скамьях слышали и передавали.

Бабушка сидела неподвижно. Машенька глядела на ее лицо и плакала — тихо, громко не смела.

— «Кто строит прочнее каменщика, корабельного мастера и плотника?» — спрашивал могильщик-дед.

— «Виселичный мастер. Потому что его сооружение переживет тысячу постояльцев», — отвечал могильщик-камердинер.

— «Твое слово мне нравится. Виселица — это хорошо. Это хорошо для тех, кто поступает дурно. А вот ты поступаешь дурно, говоря, что виселица прочнее церкви. Отсюда — виселица была бы хороша для тебя»... Привези мне сюда Мансырову. Она же обещала быть!»

— Так стараемся, Михайло Васильевич... «Кто строит прочнее каменщика, корабельного мастера и плотника?»

— «Могильщик! — вскрикнул дед. — Дома, которые он строит, простоят до судного дня». Поезжай сам и привези!

— Жалко! — одними губами сказал Максим. — Барыню жалко... Люди слышат.

— Занавес задвигайте! — приказал дед. — Кончена пьеса!

Занавес скрыл их, только голоса звучали на радость всей Пензенской губернии.

— Сам поезжай, Максим, уговори! Скажи — все отдам, жизни не пожалую!

Слуги выносили скамейки, гости поздравляли Елизавету Алексеевну.

— Михайло Васильевич — замечательный талант. Ему бы Гамлета играть, а не могильщика.

— Стар он Гамлета играть, — резко отвечала бабушка.

Максим в зипуне поверх костюма могильщика пошел через двор к конюшням, скрылся в метели.

Ветер свистел в ледяных ветвях яблонь.

В зале уже танцевали. Музыка была своя, играли нестройно, но громко.

Домашние чувствовали беду, все валилось из рук. Переодетые лакеями мужики роняли бокалы с лимонадом, наступали гостям на платья. И гости были, как ряженые, — исправно играли роли гостей, а сами ждали возвращения Максима. Об его поездке уже знали все. Только хозяева отбросили всякое притворство; дед желал видеть свою любезную, бабушка ненавидела его.

Нигде так не соблюдают приличия, как в провинции. Все продолжали танцевать, когда вернулся Максим, но все увидели снег в его бороде и усах.

— Был в Онучине? — не таясь спросил дед.

Максим наклонился к его уху:

— К Мансыровой приехал из службы ее

муж. Видеть мне ее не пришлось. В доме
огни уже потушены, они легли спать. Так
что ждать ее на маскарад никак нельзя.

— Легли спать?—переспросил дед.

— Судя по всему, легли-с.

— Кресла мне,—сказал дед.

Максим подал кресла.

Дед сел и позвал:

— Лизанька!

Бабушка подошла как механическая
кукла.

Дед посадил ее справа от себя, а Машеньку
слева и сказал:

— Ну, любезная моя Лизанька, ты у меня
будешь вдовушкой, а ты, Машенька, будешь
сироткой.

После этого Михаил Васильевич встал,
вышел из залы под презрительным взглядом
бабушки, подозревавшей очередное
фиглярство, достал в буфетной из шкапа
пузырек с каким-то зельем, залпом выпил и
вернулся в маскарад.

Он рухнул на пороге ничком, и изо рта у
него пошла обильная пена.

Музыка смолкла, и дамы завизжали с
ужасом и сладостным ощущением в глубине
души ожидаемой романтической развязки.

Бабушка опустилась перед дедом на колени,
лила молоко в стиснутые зубы, Машенька
былась в истерике, а гости кинулись вон
из дома, как от чумы.

Открыли окна пустить воздух, и ветер
гулял по зале. Гости бежали. Сани исчезали
в метели.

Елизавете Алексеевне сделалось дурно.
Ей терли виски уксусом. Она открыла глаза
и сказала:

— Собаке собачья смерть.

Упала на труп, обняла мужа и зарыдала.

На воздушном океане
Без руля и без ветрил
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неувловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья,
И прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участия
И беспечна как они!..

Освещенная солнцем лысая голова Машука
была близка. Маленький Пятигорск сверкал
изумрудной листвою и белыми стенами
своих глиняных домишек. Мы, мокрые до
нитки, обгоняли толпу, двигавшуюся к источникам.

Я толкал коленом Монго. Он был невозмутим
и только чуть кивнул, но взгляд его скользил
внимательно, ноздри подрагивали, как у
охотничьей собаки.

— Монго, посмотри, они привыкли к этой
райской жизни.

— Они спокойны,—сказал Монго,—нас
не ждали.

— Но мы приехали!

— Господа—вот и мы!—закричал вдруг
Монго к ужасу Магденки, совсем не ожидавшего
такого от его великолепия.

Он большой, я—маленький. Очень смешно,
меня знают в этом городе.

Вот папаша уже одернул заглядевшуюся
дочку, зашептал на ухо жене.

Что может быть приятнее дурной славы?

Я выпрыгнул на ходу из коляски. Монго
удержал твердой рукой Магденку, пыгтавшегося
спасти меня.

— Здравствуйте, тетушка!—воскликнул
я даме, где-то я ее видел и наверняка она
родственница, все—родственники, но рядом
стояла такая племянница—просто прелесть!
Я поцеловал тетушке руку.

— Мишель! Я так рада вас видеть. Катенька,
познакомься. Это твой кузен Мишель!

И вправду—родственница.

Катенька—совсем девочка, не умеет
лгать, очень удивилась, когда я прыгнул.
Черненькая, смотрит, не мигая. Я к ней—и
прошептал:

— Думаете, с себя ли я писал Печорина?

— А?..

— Как хорошо, что вы здесь, Мишель.
Мы все одни...—кокетничает тетушка.

— Я вам не дам скучать. По-
родственному. До свидания.

В волосах у Катеньки золотое бандо.

Когда я уже снова в коляске, она оглядывается,
и тетушка делает ей замечание.

— Не суетись,—сказал Монго отеческим
тоном.—Мы безо всяких прав, а ты уже
шалишь. Нас арестовать могут. Мы дезертиры.

— Скорей к Найтаки,—сказал я.

— Ванна, чистое белье, боже мой,—
вздыхнул Монго.

— Дамы!

— Эдакое восточное,—сказал Монго мечтательно.—Гречанка...

— Немедленно.

— Ах, господа офицеры,—засмутился
Магденко.

— Но сперва ванна,—сказал Монго.

— А гречанка?

— Потом.

— А если она будет молить, упадет в
ноги?

— Ванна,—сказал Монго,—впрочем,
увидим.

В воздухе был аромат надежд.

— У Найтаки девицы—на любой вкус,— шепнул я ремонтеру.

Он закрыл глаза.

Гостиница Найтаки—один из редких в городе каменных домов—слева.

Наш обоз с грохотом вкатил на мощный двор. Найтаки встречал нас и узнал. По мере приближения к нам маска скорби на его лице менялась выражением удовольствия—это страх перед возможными неприятностями побеждала страсть наживы.

— Какая радость, господа, вот неожиданное удовольствие,—говорил он и пожимал нам руки с фамильярностью общего друга и наперсника тайн.

— Ах вы несносные шутники,—говорил Магденко Алексею, наблюдавшему выгрузку нашего имущества,—встреча с вами—для меня праздник. Я живу в глуши, но стараюсь быть на высоте современной мысли, я читаю, думаю. И вдруг беседа с известным сочинителем, притом смелым, опальным, и ничего, кроме насмешек. Хоть бы вещь какую из последних узнать. К нему же не подступишься!

— Я вам могу прочесть,—сказал Монго и, не ожидая ответа, оставил на него выпуклые барские глаза и сказал:—«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. Быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей».

Я прыгнул и упал спиной на постель. Белье белое, как снег, халат у меня темно-зеленый, пояс с золотыми желудями на корнях.

Я закрыл глаза. Оркестр на бульваре играл «Вальс Авроры».

Было так хорошо, как не было никогда. Я встал и пошел к Монго.

Монго на дворе ждал у деревянного корыта.

Казак взял щипцами раскаленное железное ядро, опустил в воду. Вода вскипела вокруг ядра. Казак ушел. Монго накапал в воду французские эссенции из флаконов и полез в корыто.

Я люблю смотреть на его туалет—это святодействие.

Он так внимателен, так серьезно трогает, оглядывает, очищает себя, как драгоценность. Он сушит усы, расправляет их и завертывает шелковой бумагой.

Два лакея внесли в его комнату подносы с зеленью, мясом и вином. Отсюда тоже слышны были с бульвара голоса дочек степных помещиков и «Вальс Авроры».

На стекле звенела муха. С горы ветер донес еле слышный звук, тоскливый голос золотой арфы.

— Монго, у тебя бывает так, что кажется, будто то, что случается, уже случилось однажды, словно ты второй раз проживаешь одну и ту же постыльную и совсем никому не нужную жизнь?

— У всех такое бывает. Это нервное, болезненное явление,—ответал Монго.—А ненужная жизнь—абсурд. Жизнь нам дает господь. Значит, она нужна.

— От судьбы не убежишь, да, Монго?

— От судьбы—нет, а от неприятностей убежать можно. Если только самому их не искать. Ты приехал расстаться. Так не мучай себя. И меня оставь в покое. Умственная работа в такую жару—неприлична. Моветон.

Его французский был не очень хорош.

— Монго, ты прав!—вскричал я.—Ты всегда прав, отчего ты меня не удерживаешь, ты же друг мне. Руководи мною, Монго!

— Изволь. Вот—ты просил вина, а сам не пьешь.

— Господи, как ты всегда прав!

Я налил полный стакан и выпил его.

— Какое прелестное вино! Монго, ты замечает, с каждым годом вино здесь делается все вкуснее, а женщины прекраснее!

Я выпил еще стакан, и тут открылась дверь, и явился Мартынов, веселый Мартышка.

Но он был совсем не весел. Бакенбарды и большие усы, спускавшиеся по углам рта, придавали его физиономии мрачный и внушительный вид. Костюм его был самый фантастический—белая черкеска с серебряными, очень большими и, наверное, дорогими газырями, невероятно узкая, затянута талия и у пояса громадный кинжал.

Мы обнялись.

Вернее, он пошел на нас с распростертыми объятиями, и уклониться было никак невозможно.

— В городе уже знают, что вы здесь, и трепещут,—сказал Мартынов с грустным и одновременно презрительным выражением.—Слышу разговор на бульваре. Один объявляет: «Киргыз приехал». Второй: «Да кто ж это?»—«Вы не знаете? Это наш Мишель Лермонтов—киргыз».—«А кто это—Лермонтов?»—«Тот, что «Смерть поэта» написал».—«Вы тогда достали список?»

— Монго, даже у тебя такой черкески нет,—сказал я и погладил Мартышкины газыри.—Мартыш, ты изменился, стал печален и божественно красив.

— Не зови меня больше так, Мишель,—попросил нахмурившийся Мартышка,—мне это теперь нейдет.

— Как тебя не звать?

— Мартышем. Не надо. Время теперь совсем другое.

— Я тебя буду иначе звать. Я придумаю.

Что у тебя на животе висит?

— Кинжал, Миша. Вещь для мужчины не лишняя.

И поднял над бровями горькую складку. Он был совсем болван. Дружественный болван.

Я не злюсь на заурядность. Она мне обидна. Я издеваюсь, чтобы разбудить. Вдруг выскочит человеческое? Вдруг?

— Миша, прервати,— предупредил Монго.

Да куда уж!

— Господи, Мартынов, ты мне скажи, что в городе: есть дамы?

— О-о!— простонал Мартышка и поднял очи горе.

— Рассказывай!

— Во-первых, «грации».

— Кто?!

— «Грации»,— повторил Мартышка, совершенно лишенный чувства смешного.— Девуцы Верзилины. Три очаровательные девушки. Могу сегодня же вас представить, мы у них комнаты снимаем с Глебовым.

— Почему «грации»?!

— Мы так здесь их зовем. Так и говорим: «храм граций». Это дом Верзилиных. «Где был?»— «У граций». «С кем танцуешь мазурку?»— «С младшей грацией». Ну и другие есть.

— Слушай, Мартыш! Извини— Мартынов! А что, можно кого-нибудь из них...

— Можно.

Мартынов пил, положив на колени свой чудовищный кинжал.

— Так уж легко?

— Женщины— *pas* problemes,— сказал презрительно Мартышка.

— Ты знаешь секрет успеха?

— Какой еще секрет? Им всем надо одно и то же.

— А что именно?

— Большой кинжал,— усмехнулся Мартышка.

— А у тебя— большой?

Я даже не ожидал, что в Пятигорске меня ждет такая замечательная фигура— Мартышка!

— Не жалуясь,— сказал Мартышка.

— Ты просто молодец! И будет тебе такое прозвище! Большой...

— Я прошу тебя,— остановил меня Мартышка.

Ему было приятно.

— А отчего ты не генерал? С таким огромным кинжалом? Извини. И не генерал? Просто майор.

— Не сошелся с начальством. У меня, видишь ли, свои взгляды.

— На общее положение дел в России?

— Вот именно,— веско сказал Мартыш.

— У тебя свое, особое мнение?

— Да, как у всякого мыслящего человека.

— Да ты революционер! Карбонарий!

— С этим не надо шутить,— мягко сказал Мартышка.

— Лучше— карбонарий. *Montagnard*. Горец. Это тебе больше подходит. К костюму. *Montagnard* с огромным...

— Мишель!

— ... кинжалом,— закончил я.— По-французски даже рифма получается. *Montagnard au grand poignard*. Горец с огромным...

Только теперь он начал обижаться.

— ... кинжалом.

— И этот человек написал «А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов!»— обратился Мартынов к Монге.

Монго молча развел руками.

— Мартынов,— сказал я,— если это тебя мучит, я никогда никому не скажу, что у тебя большой кинжал.

— Уже надоело,— сказал Мартышка.

— Но, согласишься, складно плучилось: *montagnard au grand poignard*, ты сам сочинитель, ну, разве не хорошо?

Услыхав, что я помню о его стихах, он смягчился. В мягкости его были панибратство и наглость.

— Во всяком случае, изволь не называть меня так при дамах,— попросил он.

— А что в этом дурного. Горы, оружие.

— Я же буду знать, какой ты вкладываешь смысл.

— Я не буду вкладывать, я так скажу. Без смысла.

— Не во мне дело, пусть я глуп,— сказал Мартышка,— но к людям, Миша, надо быть добрей! И уж если желаешь быть судьей, так суди сильных мира сего и оставь в покое простых смертных. Ты сам не без греха. Ты русский поэт— и по-русски выражаешься с ошибками!

— Прав Монго. Не будем в жару об умном,— прервал я его.

— Правда глаза колет! Нет, ты послушай, как это у тебя:

Есть речи— значение
Темно иль ничтожно!—
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлики,
В них трепет свиданья.

Это куда ни шло, а дальше:

Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово...

Так по-русски не говорят. Надо «из пламени», а не «из пламя». И почему «не встретит ответа»?..

На бульваре зажгли огни. Их мерцание в темной массе деревьев, голоса невидимых в сумерках людей, женский смех, теплый неподвижный воздух, аромат призрачно белеющих цветов—это было как театральная декорация, и так хотелось быть там и остаться навсегда, в созданной игрой света несуществующей прекрасной жизни.

— Нельзя судить людей, не любя их,—говорил Мартышка,—твоя недоброга от скуки и пресыщения. Не такой уж ты аристократ. Откуда твое пресыщение? Остановись, Миша, или тебя ждет погибель.

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране.
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мой расскажет думы?
Я—или Бог—или никто!..

Снова ветер подул с горы, заволновались купы деревьев на бульваре и задвигались в траве отблески огней.

Женщина, лица которой мы не можем разглядеть в сумерках, представляется нам прекрасной. Таковы свойства нашего воображения. Двенадцать лет назад в ночном саду грубые рубашки дворовых девок казались мне одеянками фей. Я шел за ними в темную аллею. В Тарханах всегда ветер. Яблони шелестели, ветлы трепетали на валу, этот шепот дразнил меня, я был влюблен во всех разом.

Мне было четырнадцать лет.

Луна осветила сад. Волшебные девы исчезли. Я стоял один.

Я мал ростом, широк в плечах и нехорош собой. Я уверен, что не могу быть любим. Я хочу быть, как все. Одиночество моей души ужасно. Мир, в котором я живу, мне чужой. Я подозреваю, что в моем рождении есть тайна, и, если б я был рожден в другом месте и в другое время, я мог бы быть счастлив.

Мир чужой, но Тарханы—тоже мой мир—родные мне.

Старые яблони, чахлые ветлы, ландыши, светящиеся в траве, сливы в ночной росе говорят на моем языке. Нигде на свете нет такой свежей зелени на такой черной земле. Только здесь так неподвижны пруды, так громадны дубы и вязы, так черны дороги, уходящие в неведомые земли за холмы, одетые лесом.

В Тарханах всегда ветер. Даже в раскаленный полдень ветлы шелестели на валу за усадьбой и яблони качали тяжелыми ветвями, отсчитывая наше неторопливое время.

Горячий воздух дрожал над просторным пыльным двором перед нашим деревянным домом. Сон и лень овладевали множеством людей и животных, населявших усадьбу.

Все разделено—кресла с бронзой, вынесенные для гостя, и сосновые лавки, породистые борзые и дворняги с раздутыми животами, гуси и павлины, аглицкие сюртуки и паневы, телеги и коляски, все отдельно—и все вместе под небом тарханского двора.

Ветви под тяжестью плодов клонились к земле. Рубиновые, золотые, лиловые плоды, яблоки, сливы, груши, горячие, покрытые пушком свежей спелости.

Ветер—и яблоки со стуком ложились в траву.

Марфушка шла далеко впереди с корзиной в тонкой руке, она шла в «дальний» сад, и я шел за ней, не таясь, и мне казалось, что все смотрят на меня и думают, какой я неуклюжий и некрасивый.

Я слышал только громкий, сверлящий, все заглушающий звук кузнечиков в сухой траве.

Марфушка была дочка буфетчика. Я боялся заговорить с ней. Желание и стыд боролись во мне, потому что любовь моя была чиста.

Мы были одни в саду среди старых яблонь. Я шел совсем близко к ней. Она знала, но не оглядывалась. Я казался себе нелепым уродом в своем сюртучке, панталонах и сапогах рядом с ней, неслышно скользившей в одной домотканой рубахе, пронизанной солнцем. Теперь она точно—слыхала мои шаги, но не оборачивалась нарочно. «Марфуша!»—окликнул я. Она сделала вид, что не слышит, только качнула черной головой. Безумная надежда проснулась во мне, и хоть я знал наверное, что счастья мне не суждено, но прыгнул на Марфушку сзади и неловко обхватил руками. Она остановилась покорно и только вздохнула.

«Марфуша! Марфуша!»—повторил я, одною рукою нежно, но упорно поворачивая к себе ее лицо, потому что мне в моем безумстве одновременно важно было знать, не смеется ли она надо мной. Она чуть улыбалась, но, кажется, это была не насмешка! Ресницы ее были опущены. «Марфуша!»—опять повторил я. Полотно рубахи скользнуло с ее плеча под моей рукой. Смуглое плечо и лицо были покрыты пушком, как сливы в нашем саду. Все мое внимание было приковано к открывшемуся плечу, я прижался к нему губами. Марфушка выскользнула и опустилась в траву, так же глядя на меня с полуулыбкой, сбивавшей меня с толку. Пачкая панталоны в

черной земле, я стоял на коленях и снова целовал горячее плечо, а Марфушка все молчала и смотрела в светлое небо. «Марфушка, ты придешь ко мне? Ты придешь?» — спрашивал я задыхаясь, назначая ей свидание, когда все должно было свершиться, не зная, что вот сейчас и есть то самое свидание, когда все должно свершиться.

Она не понимала, о чем я спрашиваю, и сама уже целовала меня, смущенно и радостно. Я был — барин. «Когда ты придешь ко мне?» «Куда?» — шепнула она. «Ко мне, ночью!» Мне, дураку, важно было, что ночью. «А зачем?» — спросила с прелестной простотой Марфушка. И, действительно, зачем? Мы были одни в громадном саду, и это была моя истинная первая любовь, когда я любил не мечту мою, а живую теплую Марфушку, пахнущую яблоками, как само лето в Тарханах. «Я люблю тебя! — объяснял я. — Ты приходи ко мне!» — «Я приду». Слова мне мешали, не надо было их говорить, а говорил.

Ночью я ждал ее в своей комнате. Я разделся и присел на кровать. Время будто остановилось. Я подошел к окну и прижался горячим лбом к стеклу. В черноте ночи мне виден был только месяц и неподвижная бахрама висевших вокруг него облаков. Внезапно мне показалось, что убранство комнаты может обидеть Марфушку напоминанием о разнице нашего положения. Я убрал со стола толстые лексиконы и упрятал их под кровать. Глобус все выкатывался из-за ширмы, пока я не поместил его в ночной горшок.

Мною овладело необычайное волнение. Каждый звук заставлял меня вздрагивать, но это был лишь треск старой мебели и хрипение часов.

Пол моей комнаты затянут был сукном. Я с раннего детства любил чертить на нем мелом, и сукно хранило полустертые строки и фигуры. Теперь я сидел на полу, в лунном свете вновь и вновь рисовал профиль моей возлюбленной Марфушки и целовал рисунок.

Чувство мое достигло предела. Когда на лестнице раздались еле слышные шаги — она поднималась на цыпочках, — я уже боялся ее появления. Руки мои стали холодны как лед, и я торопливо грел их дыханием.

Она явилась в чепце, в накинутом шерстяном платке.

— Я люблю тебя! — прошептал я и поцеловал, боясь коснуться ее своими отвратительно холодными руками. — Сними же платок...

Она покорно сбросила его, стащила чепец, волосы рассыпались по круглым плечам. Она глядела на меня так просто и доверчиво, что страх, казалось, прошел.

Я как безумный стал обнимать ее и

шептать, как она дорога мне. Марфушка цеплялась за шаткую спинку кровати.

— Погодите же, погодите, — сказала она рассудительно, легко отстранила меня, мигом разделась и легла. Мягкость пуховика ошеломила ее.

— Как у вас хорошо! — прошептала Марфушка.

Она была так прекрасна, что мне опять казалось кощунством дотронуться до нее.

— Идите ко мне! — позвала Марфушка.

— Да, да, я сейчас, — говорил я, склоняясь к ней.

Она потянула меня к себе обеими руками, говорила какие-то отрывистые слова, и звуки были яснее слов. Теперь я уже верил, что она любит меня, но эта уверенность, вместо того, чтобы придать силы, повергла меня в полную растерянность. Я слишком ждал ее.

— Я люблю тебя, люблю! — повторял я, яростно лаская ее и от этого теряясь еще больше.

Она поняла.

— Барин, лягте тихонько, погодите, — шептала она и гладила мою несчастную голову. — Гляньте, какой хороший месяц...

— Ты ко мне завтра придешь?!

— Приду.

— Ты ко мне всегда приходи...

Вдруг с треском отворилась дверь, бледный луч ночника озарил живой скелет мужчины.

Растрепанный, босиком, в одной рубашке, на пороге моей комнаты стоял мосье Капэ! Земной шар выкатился из горшка к его ногам.

— Eh, bien, monsieur, que vois je? — строго осведомился француз.

— Ah, c'est vous?..

— Pourquoi ce bruit? Que faites vous donc?

— Je fout...

Я вскочил с кровати и одним тузом вышвырнул француза вон.

Марфушка плакала и торопливо одевалась. Я удерживал ее, но она убежала, я кинулся было вслед за ней, но явился снова Капэ, одетый в халат, и, решительный, толкнул меня в комнату и запер снаружи дверь на ключ.

Светало.

Я бил в дверь кулаками. Кожа на пальцах моих была уже содрана от ненстых ударов.

— Миша, как ты мог! — говорила за дверью бабушка.

— Палачи! — кричал я. — Я убегу! Я люблю ее! Я женюсь на ней!

— Господь с тобой, Миша, что ты такое говоришь?

— Вот плоды вашего потворства! — слышался голос француза. — Идите, успокойтесь, Елизавета Алексеевна, я сам справлюсь с нашим бунтовщиком.

— Мишенька, ты должен просить прощения у мосье Капэ! Да успокойся же ради Христа, ты не спал всю ночь!

— Елизавета Алексеевна, любовь — не жизнь. Уснет. Ефрим, помоги барыне спуститься.

Бабушка удалилась.

— Отоприте! — кричал я.

— Если вы дадите слово чести не покидать дом, — предупредил мосье Капэ.

Ключ заскрипел, и француз вошел с видом жертвы.

— Вы шпион! — выкрикнул я.

— Бейте же меня, — отвечал он с презрением, — я подставлю вам другую щеку, вернее, другую половину зада, ибо били вы меня, слава богу, не в лицо.

— Я не хочу говорить с вами!

— Да, ваша сила не в словах, Мишель. Вы влюблены.

— Еще одно слово!..

— Я не намерен обижать ни вас, ни бедную девушку, — остановил меня француз, — однако, если влюблены, какова ваша цель, кроме самой обыкновенной?

— Вам не понять!

— Отчего же? Вы намерены образовать ее, возвысить ее до себя. Не так ли?

— Я это сделаю!

— И будете жить с ней как с женой?

— Да!

— Повторяю: как с женой. Пока она вам не надоест. Вот русский философ! Страсть рождает благие порывы и плодит несчастных. При нашем рождении была основана новая деревня — Михайловка. Благороднейший порыв бесконечно мною уважаемой бабушки. И что это за деревня сегодня? Заглазное имяние. Место ссылки непокорных и испорченных рабов! А ведь первое движение было — любовь!

— Ах, если б не вы! — воскликнул я.

— Если б не я, девушка продолжала бы бывать у вас, привыкла бы к роскоши и неге, и тем ужасней было бы ее позднее пробуждение к суровостям жизни супруги вечно пьяного мужика.

— Я буду молить бабушку!

— Поздно. Судьба вашей возлюбленной решена. Впрочем, у вас еще есть возможности, мой юный философ, в доме много слуганок.

Он взял со стола листок с моими стихами.

— Не трогайте! — сказал я.

— Поэту нужен читатель, — отвечал он спокойно и прочел:

Как бы сражаясь с судьбою,
Мятежной страстию полна,
Душа, терзанью предана,
Живет утратою самою,
Узнав лишь тень утраты сей,
Я ждал ее еще мятежней,
Еще печальней, безнадежней,
Как лишь начало страшных дней...

Какая зрелость мысли — и какое ребячество в поступках!

Он улыбнулся, сцепив на костлявом колене прозрачные пальцы.

— Что будет с Марфушей? — спросил я.

— Ее выдают замуж — в деревню, которая носит ваше имя. Можете взглянуть, но помните — вы дали слово оставаться в доме!

Из окна, выходящего во двор, я видел телегу. Мужик с косматой бородой подал узелок уже сидевшей на телеге Марфушке. Она подняла лицо к моим окнам, но под платком я не узнал милые черты.

— Вы сейчас думаете, кто виноват, — сказал француз. — А никто не виноват...

Мужик ударил лошадь кнутом. Колеса застучали.

Я зарыдал и убежал к себе.

Толстая девка принесла на подносе чай.

— Барин, — сказала она жалостно, — не убивайтесь. Хотите, я к вам нынче приду?

Я ударил по подносу ногой. Чашка разбилась на потолке.

«Оклик часовых перемежался с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрипом нагайской арбы и заунывным татарским припевом».

Музыка на бульваре смолкла. В 11 часов город уже спал.

Мартынов пил, драпируясь в белую бурку, как римлянин в свою тогу. Он отяжелел от вина, и губы его кривились в горькой усмешке. Вид его был значительный.

— Как же мне называть тебя? — спросил я.

— У меня есть христианское имя Николай.

Бурка его была настоящая, андийская, с черной каймой внизу. Нужно большое пронырство, чтоб такую достать.

— Мы, кавказцы, народ простой, — сказал Мартышка. — Раз мы с тобой кунаки — ничего не пожалею. В обиду не дам. Я ведь тут в Пятигорске первый...

— Неужто?

— Я приехал первый, — поправился Мартышка. — Здесь меня уважают как изгнанника... Знаешь, Мишель, ты ведь тоже изгнанник.

— Спасибо. Ты мне делаешь честь. Я просто заехал по дороге в армию. Я служу и выполняю приказы.

— Нет, ты изгнанник! А изгнанников здесь любят. Хотя, конечно, причина твоего изгнания — не та... Тебя наказали за дуэль?

— За дуэль.

— Ну кто теперь дерется на дуэлях? — улыбнулся он.

— Да. Запрещено и опасно.

— Не в этом дело. Драться глупо, — объяснил Мартышка, — смешно и стыдно

из-за бабы подставить себя под пулю. Я бы не стал. К тому же я ужасно щекотлив. Когда противник меня коллет, я хохочу и держусь за живот. А стреляю я из рук вон плохо.

— Пушкин дрался,—сказал я.

— Дуэль Пушкина есть акт самоубийства,—заявил Мартышка.—Пушкин понимал, что муза покидает его, и нарочно подвергал жизнь опасности. Байрон—то же самое—искал смерти. Смерть украшает жизнеописание поэта. Но Дантес—подлец. Тут я согласен. Я был кавалергард, а кавалергарды все за Дантеса, но я порицаю. Русский бы Пушкина не убил! Это только француз мог. Да?

— Тебе пора спать,—сказал я.

Мартышка помрачнел и вздохнул:

— Я давно забыл, что такое сон.

— Вы у нас ночевать останетесь,—предложил долго молчавший Монго.—Запросто.

— Как? Лишней кровати нет,—сказал польщенный Мартышка.

— По-кавказски, на бурке,—сказал Монго с английским своим спокойствием.

— Нет, я пойду домой,—решил Мартышка.—Глебов волноваться будет. Я к вам утром приду. В половине шестого.

— Pardon?—поднял брови Монго.

— Вместе пойдем воду пить.

— Нет, увольте,—сказал Монго.—Я встаю поздно. И вообще я эту мерзость пить не намерен.

— Мишель, я тогда зайду к тебе.

— Не надо.

— Ну что ж.—Он нахлобучил папаху на глаза.

— Видишь ли, Мартынов, я задумал роман из русской истории, а у меня такое правило: я создаю в жизни анекдоты своих будущих сочинений, а потом пишу.

— Из истории?

— Люди были всегда одинаковы. И без таких, как ты, жизнь всегда была скучна.

— Я, по-твоему, дурак.

— Ты montagnard, но вся суть в подробностях. Идея же такова: лож бывает доброй, а правда злой. Доброе победит злое, но лож убьет правду, ты понимаешь?

Он ничего не понял.

— Героем твоим я быть не намерен,—усмехнулся Мартышка.—Я люблю тебя и вижу в тебе вещи, другим безразличные. Люди вообще безразличны друг к другу...

— Вовсе нет!

— Ты хороший человек,—продолжал Мартышка.—Но свет тебя окончательно испортил. Как ты мнишь себя самого?

— Я—мечтающий об отставке поручик Тенгинского пехотного полка.

— Ты видишь себя вершителем судеб. Пока я рядом с тобой, я намерен влиять на твою холодность,—сказал Мартышка,—

хотя бы для того, чтобы отвлечь от затей, всегда связанных с оскорблением личности.

— Вот—уже есть завязка романа,—объявил я.

— Тебе придется меня терпеть,—покорно сказал Мартышка.—Сейчас начало сезона. Из знакомых—только я и Глебов.

Он вышел.

— Возможно, он умен и добр,—сказал Монго,—но у него вовсе нет вкуса.

Пьяный лакей пришел из ресторана убрать остатки нашего ужина.

Монго курил свой любимый турецкий табак из пятифутового черешневого чубука с константинопольским янтарем. На коленях его лежал том любимого Бальзака. Он был денди с головы до пят.

— Здесь лучше, чем в Темир-Хан-Шуре,—сказал я.

— Везде днем мухи, а ночью клопы,—отвечал Монго.

Мы с Мартыновым поднимались к Елизаветинскому источнику.

Все было, как в прежние годы. Те же семейства степных помещиков, те же старомодные сюртуки мужей и изысканные наряды жен и дочерей.

Казалось, вся Россия собралась сюда в надежде исцеления. И, как всегда, внутреннее напряжение, какое-то неудобство сковывало лица, словно больные стеснялись того, что они больны, а здоровые—своего здоровья. Во всех была неуверенность.

Дамы опускали стаканы в колодец на белом шнурочке. Штатские принимали академические позы. Казак с нагайкой через плечо бросал стакан и пил теплую вонючую воду, чтоб потом громко объявить: «Черт возьми, какая гадость!»

На крутой скале в павильоне Эоловой арфы любители видов наводили телескоп на Эльбрус.

— Лермонтов, ты слушаешь и наблюдаешь не за тем, что я говорю тебе, а за мною,—болтал Мартынов,—и я всегда остаюсь для тебя чужим, не имеющим права ничего изменить в твоём существовании! Лермонтов, ответь мне, я прав?

— Прав,—сказал я.

Он громко говорил «Лермонтов», наверное, для того, чтобы окружающие знали, как он коротко со мною знаком.

В этот момент я увидел у колодца вечерашнюю тетюшку и belle cousine.

Я сунул в руку Мартышке свой стакан и бросился к Катеньке.

Она заметила меня и смутилась.

Мартынов громко потребовал:

— Лермонтов, представь меня!

— Мой друг, товарищ, господин де Пуаньяр,—сказал я.

— Мартынов,—поправил Мартышка.

Катеньке он, конечно, нравился.

Тетушкина фамилия—Обыденная.

— Катенька, обратите внимание, какой у мсье Мартынова большой кинжал,—сказал я.

— Замечательно хороший кинжал!—сказала серьезно добрая Катенька.

— Nicolas,—попросил я Мартышку самым любезным образом,—оставь меня ненадолго с кузиной. У нас родственный разговор.

Он отошел к Обыденной и что-то говорил ей.

— Друг мой, тебе не жарко в бурке?—спрашивала она.

Катенька смотрела на меня исподлобья.

— О чем вы задумались, кузина?—спросил я.

Она пожала плечами.

— Говорят, я плох с женщинами,—усмехнулся я.—Может быть, оттого, что я слишком много жду от вас вначале. Открытый взгляд, простые слова совершенно меня покоряют. Я уже верю, что вы разделяете мои мысли, чувства. Я стремлюсь сразу определить наши отношения и скоро начинаю врать, оттого, что действительность не дает полноты моей правды. Но ложь моя состоит из кусков правды! Я только располагаю их так, чтобы вышел роман...

Катенька ничего не поняла.

— Здесь у колодца ваш Печорин встретил Мери,—сказала она.—Тетушка сказала, что вы и есть Печорин, погубитель девиц.

— И вы меня боитесь?

— Что вы! Я вам рада. Здесь так скучно.

— И мне встреча с вами приятна,—пустился я врать.—Как все, что привязывает к жизни в эти смутные дни.

— А что у вас стряслось, кузен?—спросила она.

— За несколько дней до отъезда из Петербурга я посетил у Пяти углов Александра Македонского.

— Кого?!

— Так называют Александру Филипповну. Это ворожея и гадалка, очень известная в столице особа, замечательная тем, что она предсказала Пушкину смерть от «белого человека».

— Дантес—кавалергард, белый мундир!—воскликнула Катенька.

Она уже слушала с полным участием и вниманием.

— Да. Ее предсказание сбылось. Пушкина не стало... Я спросил ее, буду ли выпущен в отставку и останусь ли в Петербурге. В ответ я услышал, что ожидает меня другая отставка, «после коей уж ни о чем просить не станешь».

— Так и сказала?—прошептала Катенька.

— Слово в слово.

— Но ведь это значит...

— Да. И вот пришел приказ ехать. Первая часть предсказания исполнилась. Теперь жду исполнения второй части. Смерти. Впрочем, смерть меня не пугает. Государь меня не любит, великий князь ненавидит, судьба меня гонит. Жизнь мне, откровенно говоря, ужасно надоела.

Тетушка возвращалась с Мартышкой.

В глазах у Катеньки блеснули слезы. Я добился своего. Для первого свидания успех огромный.

— Как можно думать о смерти? Жить так весело!—воскликнула Катенька.

Как все хорошо пошло после монетки! Я умирать совсем не собирался, особенно в Пятигорске.

— Только пусть мое признание будет нашей тайной,—сказал я Катеньке.—Вы мне удивительно милы—вот я решил поделиться.

Я словно в рассеянности притронулся к золотому обручу в ее волосах.

— Вы никому не скажете, обещаете?—сказал я.

— Да,—кивнула бедная Катенька.

— Вы очень похожи на девушку, которую я когда-то любил,—сказал я.

— На Вареньку Лопухину? Тетка говорила...

— Вы доставите мне огромную радость, если иногда позволите говорить с вами о ней.

— Разве мы похожи?—спросила Катенька.—Она беленькая, а я черная.

— В вас есть внутреннее сходство,—сказал я и взял ее за руку.

Порыв ветра закрутил пыльные смерчи на тропинках Машука.

Земле я отдал дань земную
Любви, надежд, добра и зла;
Готов начать я жизнь другую.
Молчу и жду: пора пришла;
Я в мире не оставлю брата,
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя!

Как ранний плод, лишенный сока,
Она увяла в бурях рока
Под знойным небом бытия...

Периоды нашей жизни отличаются так, как отличаются наши непостоянные представления о счастье.

В юности я был одержим желанием быть «как все». На плоском берегу Финского залива, где одинаковость рождала насилие, я старался быть впереди всех в счастливой заурядности.

Бледное ночное небо и скучные дворцы Петербурга равнодушно смотрели в окна Юнкерского училища.

В 1834 году я командовал «Нумидийским эскадром».

Ночью в дортуаре легкой кавалерии мои великовозрастные товарищи тайком пробирались в мою камеру.

Все сядились верхом друг на друга, образуя конницу, совершенно мне подчиненную. Всадник и лошадь были укрыты простыней. Каждый всадник держал в руке стакан воды.

— Нумидийский эскадрон! С правой ноги в галоп, марш!— командовал я.

Эскадрон неслышно скользил по коридорам школы.

Новички, обреченные жертвы, спали.

Эскадрон выстраивался в каре у постели несчастного.

Я трубил атаку и срывал одеяло.

Каждый выливал на спящего свой стакан воды.

Вымоченный с ног до головы, не имеющий белья для перемены, он корчился в ледяных простынях и не смел даже кричать.

Таков был порядок.

Я командовал, эскадрон выстраивался и прежним порядком скакал назад.

Пушка в крепости била полночь.

Наша торжественная жестокость так гармонировала со спящим городом!

Аристократические воспитанники скакали в рядах «Нумидийского эскадрона» в глубокой тишине. Лошади—самые рослые и красивые—кавалергарды. Всадники—уланы и драгуны. Будущие гвардейцы кавалерийских полков его императорского величества.

Придет время—и каждый новичок станет лошадью или всадником.

Жертва рыдала в ожидании своего часа.

Я смеялся.

У меня неприятный смех—будто водят рукою по стеклу.

Мы встретились с Монгой у госпиталя.

Госпиталь был переполнен.

У дверей стояли в ожидании приема больные, жившие в городе на частных квартирах.

— Лермонтов, проходи вперед!—громко велел Мартышка.—Глебов с утра в очереди, он предупредил, что вы будете.

Лекари ходили взад и вперед с бумагами, солдаты госпитальной комнаты—с лоханями, полными окровавленных повязок. В коридоре на железных кроватях лежали больные, которым не хватало места.

Окна были закрыты, чтобы спастись от мух, но мух было множество, поэтому стоявшие в ожидании курили, отпугивая мух трубочным дымом. За дверью стонал раненый, ему меняли повязки. Нас легко пускали вперед—зря суетился Мартышка. В армии не торопятся, тем более в госпитале, в очереди на перевязку.

— Глебов, вот и мы!—объявил Мартышка.

Глебов играл в шахматы с раненым, сидя на его кровати в том месте, где у раненого должны были быть ноги.

Он встал, смущенно улыбаясь. Рука его висела, подвязанная черным платком.

— Здравствуй, Баронесса,—сказал я.

Мы поцеловались.

Безногий, ловко подтянувшись рукой на спинке кровати, поставил шахматы на подоконник.

— Подумать только,—вдохнул Мартышка,—Миша, вы были с Глебовым в одном сражении. Он ранен, а ты невредим. Господь сберег тебя, а ты—на дуэль! Разве не глупо?

— Ты давно в Пятигорске?—спросил я Глебова.

Ему было двадцать два, но выглядел он моложе.

— Я уже год лечусь,—сказал он тихо.—Одиннадцатого июля будет год. Ты помнишь одиннадцатое июля?

— Помню.

Безногий все время был в действии: убил муху специально заготовленной хлопущкой, поправил тряпочку, закрывавшую хлеб, взял с подоконника журнал, вздел очки, улыбнулся мне.

— Он тоже—там, одиннадцатого июля на Валерике,—сказал Глебов про безногого.

— Валерик—по-татарски «речка смерти»,—сказал безногий и кивнул мне приветливо.

— А ты здоров?—спросил меня Глебов.

— Здоров.

— И слава богу!—воскликнул безногий.

— Лермонтов совсем не здоров,—вмешался Мартынов.—Он в пути захворал сильнейшей лихорадкой и теперь не в состоянии вернуться в полк. Он нуждается в лечении.

— Раз нуждается—здоров,—сказал офицер, раненный в голову, и выпустил клубы трубочного дыма.—Вот он,—показал на безногого,—уже не нуждается.

— Сколько бессмысленных страданий,—тихо сказал Мартынов.

— Страдания посылает нам господь за грехи,—сказал безногий.

Он не стал читать журнал, а аккуратно сложил его, видимо, решив принять участие в общем разговоре.

— В нашем деле,—сказал он,—не лечение требуется, а бумага. Вся сила в бумаге. А нас—вон сколько. Ординатору некогда писать, оттого он нам лекарства дает и мучает перевязками. А была бы бумага—пожалуйста вам пенсион и тихую жизнь вдали от вершин Кавказа.

— Вы, если явились за пенсионом,—сказал мне раненный в голову,—так надо

было ногу чеченцам из-за камушка высу-
нуть.

— Мне не пенсион,— сказал я.— Так —
пожить.

— Так пожить — даст. Тут весь город так
живет. Только бумагу надо заранее сочи-
нить,— быстро и ласково говорил безно-
гий,— потому как ординатору некогда дум-
ать. Мы по форме сочиним-с, мы тут
умеем по форме. Большой опыт есть-с.

— А он возьмет и не подпишет твою
бумагу,— сказал офицер.— Какой ему резон
всякую дрянь подписывать?

— Если дать, подпишет.

— Если дать — точно подпишет,—
согласился раненный в голову.

— А у меня и бумага есть и перо,—
сказал с готовностью безногий и в старой
картонке, обвязанной конфетной ленточкой,
нашел и то и другое. Чернильницу, медную,
старинную, он прятал под подушкой. Видно
было, что он быстро привыкал к новому
состоянию и в аккуратном размещении бед-
ного своего имущества обретал смысл суще-
ствования. Все было под рукой и шло в
дело. Под подоконником висел образок и
лампадка. Там же была подвязана дощечка,
на ней кастрюлька, картуз табаку и еще
всякие мелочи, большей частью самодель-
ные, создававшие ему мирок спокойствия и
уверенности.

Так и жил он — в коридоре, в очереди на
перевязку.

— У меня все наготове,— подмигнул он
мне, поймав мой взгляд,— главное —
порядок. Порядок и бумага-с. В любом
страдании готов приносить пользу царю и
отечеству-с. Как изволите называться?

Я молчал.

— Вы глухой, господин поручик? —
спросил безногий.— Тогда проще-с.

— Лермонтов, Михаил Юрьевич,— сказал
Мартынов.

— Отлично-с! — сказал безногий и, при-
строив лист на журнале, стал писать, повто-
ряя вслух: — «Свидетельство. Тенгинского
пехотного полка поручик Михаил Юрьев
сын Лермонтов одержим...» Чем одержим?

— Просто «одержим», — сказал Монго.

— Просто — да не по форме. Мы так
напишем: «...одержим золотухой и цингот-
нымхудосочием...»

— Тьфу, гадость какая! — сплюнул офи-
цер, раненный в голову.

— Бумага — чем гаже, тем похожей,—
кивнул с удовлетворением безногий.—
«...худосочием, сопровождаемым припухло-
стью и болью десен, а также изъязвлением
языка...»

— ...и прочих членов,— сказал я.

— Нельзя, чтоб усматривалась насмеш-
ка,— возразил безногий и с удовольствием
написал: — «...изъязвлением языка и ломо-
тоу ног, от каких болезней господин Лер-

монтов приступил к лечению минеральными
водами...»

За дверью лекаря плакал раненный.

— «Остановленное употребление вод, и
следование в путь...» — писал безногий.

— ...навлечет неминуемую смерть! —
подсказал я.

— Не по форме. «...может навлечь самые
пагубные последствия для его здоровья».

Безногий гений достал из своей коробоч-
ки песочницу и высушил бумагу.

— Миша, ты с такой бумагой сто лет в
Пятигорске проживешь,— сказал Глебов.

— Алексей Аркадьев сын Столыпин одер-
жим... — начал Монго, подсаживаясь на кро-
вать безногого.

И они принялись сочинять.

В комендантском управлении были те же
жара и мухи. Несколько чиновников боро-
лись со сном, Арзалекая себя очинкой пер-
ьев и перекладыванием с места на место
всяких бумаг.

Один из них, пожилой кавказец, встал со
своего места и молча обнял меня. При этом
он особым образом похлопал меня по спине,
выражая участие и сострадание.

Потом он пожал руку Монге.

— Василий Иванович Чилаев,—
представил я его.— Я в прошлый раз жил у
него на квартире. Алексей Аркадьевич Сто-
лыпин.

Чилаев сокрушенно кивнул Монге и вновь
обратился ко мне:

— Как я рад видеть тебя, дорогой, а
лучше б я тебя здесь не видел!

— Что так, любезнейший Василий Ивано-
вич?

— Моншерамі,— отвечал Чилаев со сво-
им великолепным горским акцентом,—
лучше бы ты его убил, прости меня госпо-
ди, хоть не зря бы страдал.

Он перекрестился.

— Кого убил бы? — спросил я.

— Баранта этого, французского послан-
ника.

— Он не посланник, он сын посланника.

— Слушай, что делается! — взмахнул Чи-
лаев обеими руками.— Человек дерется на
дуэли с иностранцем, защищает честь рус-
ского мундира, а его за это — в ссылку?! Где
справедливость, спрашиваю?!

Некоторые чиновники сделали вид, что не
слышат, другие, наоборот, демонстративно
отодвинули бумаги и повернулись к нам,
всем видом показывая, что разделяют тре-
вогу Чилаева за мою судьбу.

— Так не в ссылку же — в отряд,— сказал
я,— офицер. Служу.

— Слушай, возьмем только нашу ули-
цу,— продолжал возмущаться Чилаев,— кто
у нас живет? Мартынов,— он загнул па-
лец,— страдалец.

— Василий Иванович!—предупредил пирсарь и показал на дверь коменданта.

— Почему этот цветущий город превращается в трагический приют изгнания, скажи мне, дорогой!—продолжал громко Чилаев, не обращая внимания на предупреждения.

Видно было, что он сильно скучал и рад случаю говорить о необычном, выходящем за пределы однообразных буден.

— Господин Чилаев,—вмешался Монго,—вы нам можете найти квартиру?

— Плохо...

— Я о квартирах.

— И с квартирами тоже плохо. Для вас, конечно, отщется. Я вам надворный флигель сдам. Дворец. Только для тебя, Михаил Юрьевич!

— Вы построили флигель?

— Почему строил? Был.

— Это тот ли сарай?..

— Зачем сарай? Четыре комнаты, печка!

— Мазанка с соломенной крышей?

— Ты в Пятигорске, дорогой,—сказал Чилаев.—Чуланы, садовые беседки люди сдают. Калмыки кибитки сдают, слушай! А у меня надворный флигель!

Теперь, когда он говорил о деле, голос его звучал тише, но искренней.

— Ломберный стол есть,—сказал Чилаев.—Зеркало. Машук рядом.

Плац-адъютант Сидери доложил полковнику Ильяшенкову о нашем приезде в город.

Старик схватился за голову обеими руками и, вскочив с кресла, живо проговорил:

— Опять он к нам пожаловал!.. Зачем это?

— Приехал на воды,—ответил плац-адъютант.

— Шалить и бедокурить! А мы отвечаем потом! Да у нас и мест нет в госпитале, нельзя ли его спроводить обратно в Георгиевск... А?.. Я не знаю, что нам с ними делать!

— Не принять нельзя.

Сидери был моложе, и Ильяшенков боялся, что он лучше понимает веяния времени.

— У бабки его самые высокие связи,—сказал Сидери.—Кто их там, в Петербурге, разберет?..

Плац-адъютант открыл дверь кабинета и торжественно пригласил:

— Поручик Лермонтов, капитан Столыпин.

— Здравствуйте,—приветствовал нас нахмуренный представитель власти.—Зачем пожаловали?

— Болезнь загнала,—начал я.

— Позвольте!—перебил меня Ильяшенков и обратился к Монге:—Вы—старший. Отвечайте.

— Вот свидетельства и рапорты,—сказал Монго.

Мы подали бумаги.

Комендант прочел и затосковал.

— Только с уговором, господа, не шалить и не бедокурить! В противном случае...—Он посмотрел на Сидери и закончил:—Вьшло в полки. Так и знайте.

— Большим не до шалостей, господин полковник,—сказал Монго.

— Бедокурить не будем,—добавил я,—а повеселиться немножко позвольте, господин полковник,—иначе мы можем умереть от скуки и вам же придется нас хоронить.

— Тыфу, тыфу!—отплюнулся Ильяшенков.—Что это вы говорите! Хоронить людей я теперь не могу! Вот если б вы, который-нибудь, женились здесь, тогда бы я с удовольствием пошел к вам на свадьбу.

— Жениться? Тыфу, тыфу!—воскликнул я с притворным ужасом.—Что это вы говорите, господин полковник, да я лучше умру!

— Ну вот! Я так и знал,—расстроился Ильяшенков.—Вы неисправимы. Сами на себя беду накликаете. Идите и устраивайтесь. Там что бог даст, то и будет.

Мы вернулись в канцелярию. Чиновники глядели на нас в ожидании скандала.

— Комендант был очень учтив,—сообщил Сидери,—господам офицерам разрешено остаться в городе.

— Поздравляю,—сказал Мартышка.

Всем было бы интереснее, если б нас выслали вон с фельдъегерем.

— Можем идти осматривать флигель,—сказал Чилаев.

Стол его был давно убран и бумаги спрятаны в ожидании приятной возможности покинуть присутствие.

— Только надо заехать в гостиницу переодеться,—сказал Монго.—Что за приятность в жару разъезжать по городу в парадной форме?

На улице было пусто. Наступил час, когда в Пятигорске заняться решительно нечем. В ожидании обеда многие обитатели города сидели у окон и разглядывали редких прохожих. Прохожие, в свою очередь, смотрели на окна. Должно быть, самые фантастические мысли рождались в это медленно текущее время.

Мартынов придержал меня за локоть; когда Монго и Чилаев ушли вперед, он сообщил:

— Чилаеву не верь. Он агент третьего отделения.

Как раз в этот момент Чилаев хлопнул себя по лбу и воскликнул:

— Ах, моншерами, совсем забыл.

Он подошел ко мне.

— Конь продается, замечательный. Ве-

тер! Ураган. «Черкес» зовут. Есть одна подробность...

Он засмутился и поглядел на Мартышку. Мартышка деликатно отошел в сторону.

— Моншеррами, я должен тебя предупредить,—быстро заговорил Чилаев.— Мартынов тебя познакомит с семейством Верзилиных. Тебе и так достаточно неприятностей. У тамошних стен есть уши...

Мы свернули с бульвара и поднимались теперь по Дворянской улице. С обеих сторон стояли одноэтажные домики с глиняными стенами и синими рамами окон. Почти из каждого окна со стаканом кофе и булкой в руках или просто так, в полной праздности, кто-нибудь смотрел на нас. Может быть, Мартынов сказал правду, или Чилаев прав, может быть, и оба они правы. Может быть, и не было ничего.

Впереди виден был Машук, нависавший над городом.

Мы повернули налево, на Верхний переулок.

— Вот они,—шепнул Мартынов.

Справа из окон углового дома смотрели женские лица с обычным дообеденным сонным выражением.

— Кто?

— Верзилины. Грации,—сказал Мартышка и сгорбился, играя своей буркой.

Налево, на другой стороне переулка, в окне тоже маячило сонное девичье лицо. Я узнал Катю.

Мартынов подошел к окну Верзилиных и что-то говорил. Я опять услышал громко сказанную свою фамилию.

— Лермонтов, Столыпин, подойдите!—позвал Мартышка.

Катя смотрела из своего окна.

Я пошел знакомиться с грациями.

— Эмилия Александровна, Надежда Петровна,—назвал их Мартышка,—поручик Лермонтов, капитан Столыпин...

Старшая, Эмилия, была хороша, но уже увядшая, немолодая девушка, младшая—розовая кукла. В глубине комнаты сидела в креслах с работой в руках третья, но ее не сочли нужным представить.

— Вы угадали, мсье Лермонтов, мы все здесь бесконечно провинциальны.—сказала Эмилия, поймав мой взгляд.

Сразу стало ясно, как у них распределяются роли. Старшая была хозяйкой «салона», Надежда—воплощением юной шаловливости, а та, что сидела в глубине непредставленною,—символом домашнего уюта и доброты.

Подошел Глебов и влюбленными глазами уставился на рыжую Надю.

— Мишель, ты любитель прозвищ,—сказал Мартышка,—так знай же, как зовут в Пятигорске мадмуазель Эмилию...

Катя в своем окне ела булку.

— Господин поручик нас боится,—

сказала Эмилия и прищурилась так, как щурятся все женщины, знающие о себе, что они остроумны.—Он ждет, что мы заставим его писать нам в альбом.

— Ее зовут «Роза Кавказа»!—не унимался Мартышка.

— Я вас боюсь, но причина другая,—сказал я.

— А знаешь, кто дал это прозвище?—настаивал Мартышка.

— Отчего вы боитесь?—спрашивала она.

— Пушкин дал прозвище!—воскликнул Мартышка.—Сам Пушкин!

— Я боюсь вашей брошки,—отвечал я и показал на камею, приколотую у выреза ее платья.

— Пушкин, когда был в Пятигорске!—провозглашал Мартышка.

— А что вас пугает в моей брошке?..

Она оттянула камею и, собрав губы в некрасивые складки, взглянула на нее сверху вниз.

Камея изображала Диану со стрелами и луком.

— Богиня-охотница,—сказал я.—Я боюсь воинственных женщин.

— Мишель, ты слышишь, что я тебе говорю?—спрашивал уже обиженный Мартышка.—Пушкин двенадцать лет назад...

— Ах, Мартынов, что вы вечно с вашим Пушкиным!—резко оборвала его Эмилия.— Это же глупо, наконец! Что за мужчины нынче? Даже комплименты чужие. Кавалеров настоящих вовсе нет. Так и приходится защищать самих себя. Отсюда—и Диана,—она прикоснулась к своей Диане.—Живем с оружием в руках.

— Стрелы—оружие не защиты, а нападения,—поправил я ее.

— Пусть так! Я девушка воинственная. Я люблю скачку, опасности...

На поясе ее висел кинжал.

Ей давно пора было замуж.

— А охоту вы любите?—спросил я.

— На что вы намекаете?—прищурилась она, соображая, что происходит—или я наглец, или в Петербурге новая манера беседовать с дамами.—Знаете, я обижусь и в гости не позовем!

— Извините, мадмуазель Верзилия,—сказал я покорно.

Рыжая Надя громко засмеялась, прикрываясь платочком.

— Мадмуазель Эмилия! Эмилия Александровна, простите меня великодушно. Это я с дороги... Я болен...

— У него изъязвление языка,—сказал Монго.

У нее слезы выступили на глазах.

— Так я и знал, так и знал,—повторял Мартышка,—он в сущности добрый человек, он просто крайне невыдержан...

— Теперь вы нас в гости не пригласите?—сказал я.

— Приходите! Приходите непременно! — пропищала кукла Надя.

— Видите,— сказала Эмилия,— у нас сточлинные господа в почете. Все стершим. Принимаем без разбору. Приходите.

— А танцевать со мною будете? — спросил я.

Она прищурилась и молчала.

— А вы? — спросил я безмолвное существо, сидевшее в глубине комнаты.

— Я замужем,— ответило коротко существо.

Я посмотрел на Надю, но поймал такой выразительный взгляд Глебова, что сразу отступился. Баронесса был влюблен.

Катя в своем окне подносила к губам чашку.

Ударил церковный колокол.

Катя поставила чашку и перекрестилась.

Ветер прошелестел в черешнях за каменным забором.

— Это хоронят штабс-капитана, зарезанного черкесами,— сказал Чилаев.

— Их поймали? — спросила рыжая грация.

Чилаев развел руками.

— За что они его? — спросила Эмилия.

— Ни за что. Так. Проезжий человек. Никто его не знал. Встретили — зарезали.

— Какое зверство! Да это невозможно — так просто. Должна быть причина! Нужно учинить расследование,— ужасалась Эмилия.— Коменданта это не волнует! Он больше занят доносами на ссыльных!

— Эмилия! — тихонько сказала кукла Надя и прижала пальчик к губам.

— Дикий край,— сказал Мартынов.

— Только ли Кавказ! — добавила Эмилия.

— Мы говорим о Кавказе,— сказал Чилаев, помня про соседские окна.

— Мы горстка людей в царстве чудовищ,— сказал Мартынов.— Это просто чудо, что мы нашли друг друга, Мишель, это чудо! Да, ты злой, Монго — кокетка, я... думайте обо мне, что хотите! Глуп, заносчив, все, что угодно, но на преступление, на убийство из-за угла мы не способны и мы все-таки не зря живем на свете, Миша, не зря, в нас есть понимание каких-то вечных ценностей, которого нет у других, мы знаем, что есть страдание и что есть веселье, мы никогда не перейдем черту, отделяющую человека от зверя...

Он так разгорячился, так громко говорил, что дамы почувствовали неудобство.

— Мартынов, объясни, пожалуйста, кто это «мы»? — спросил я.

— Ты прекрасно знаешь — кто! Мы — это те, кто понимает, кто находит друг друга в толпе, кто словно знает секрет жизни, и если бы все были «мы» — один бог знает, какая была бы замечательная жизнь.

— Все — «мы», и у каждого по огромному кинжалу,— не удержался я.

— Миша, я же тебя просил! — сказал он со страданием.

— Друг мой, да вы масон,— сказал ему Монго.

— Ай, смейтесь, если вам угодно,— отмахнулся он своими красивыми руками,— а думаете вы то же самое!

Ударил колокол.

Верхний переулочек упирался в степь. Мы свернули направо и пошли вдоль Кладбищенской улицы. Эта улица имеет только одну сторону. Справа — забор из каменных замшелых плит, слева — степь, покрытая сухим кустарником и обломками скал.

Навстречу двигались люди, возвращавшиеся с похорон.

Сперва нам встретился адъютант коменданта Сидери, бывший на похоронах по долгу службы. Потом священник Эрастов и его хорошенькая жена, которую он боялся оставлять дома. Их кухарка — с корзиной, — наверное, зашла на обратном пути на рынок. Потом несколько отставных солдат и старух из «капитанской» слободки. Потом похоронные дроги и собаки. Все улыбались и кивали нам. Эрастов подобрал подол ряссы и пошел так, чтобы загордиться собой красавицу-жену. Я знал всех с прошлого приезда. Пятигорск маленький город, все знают друг друга, все перепутано.

Дом Чилаева угловой — последний в городе. Если стоять к нему спиной — не видно ни домов, ни людей. Степь, за степью Бешту, справа, совсем близко, Машук.

— Здесь, в этом доме, в прошлый приезд жил Михаил Юрьевич Лермонтов,— говорил за моей спиной Чилаев Монге.— Из этих окон он любовался видами природы, этот дом он описал как дом Печорина. Помнишь, дорогой? «Ветви цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками»... А теперь пройдем в надворный флигель.

Они ушли. Я остался один. Мне показалось, что я умер, а Чилаев зарабатывает деньги, показывая приезжим места, где свершалась моя трагедия.

Когда я догнал их во дворе, они уже входили во «флигель».

Наружность домика была самая непривлекательная. Во двор выходили три окна, все три различной меры и вида. Над окнами низко нависала тростниковая кровля.

— Из прихожей мы попадаем в приемную,— говорил внутри домика Чилаев.— А через эту дверь — в зало.

Я обошел мазанку кругом и влез через перила на балкон.

Балкон выходил в сад, разделенный низким каменным забором.

За забором в прозрачной вишневой роще

гуляла женщина в белом платье, с книгой в руках.

В раскрытые окна слышен был голос Чилаева:

— Вот печь. Два кабинета.

Женщина, не отрывая глаз от книги, приближалась к забору. Это была Эмилия.

Я тихонько постучал пальцем по перилам. Она сделала вид, что не слышит.

Я хлопнул в ладоши. Она подняла лицо, в растерянности повертев головой, увидела меня и изобразила удивление.

Я стал делать ей знаки. Она с любопытством приглядывалась, пока не поняла, что я знаками предлагаю ей перелезть через забор и идти ко мне на балкон.

Возмутилась и исчезла.

— Мы нарушили ваши заветные думы?— тихо спросил стоявший в дверях Чилаев.

— Ну что, Лермонтов, хорошо?— спросил Монго.

— Ничего,— отвечал я небрежно,— здесь будет удобно... Дай задаток.

— Прошу прощения,— застеснялся Чилаев,— я хотел бы получить всю сумму целиком, исключительно вследствие желания не доставлять вам в дальнейшем беспокойства.

— Сколько?— спросил Монго.

— Сто рублей серебром.

Столыпин вынул бумажник и заплатил.

— Прикажете расписку?— спросил Чилаев.

— Обязательно!— строго ответил Монго.

Чилаев ушел в комнаты.

— Грации скучны так, что мухи дохнут,— сказал я.— А может быть, лучшую мы еще не видели?

— Четвертая— воспитанница Кнольт, невеста плац-адъютанта Сидери,— сказал Монго,— плохи наши дела.

Вернулся хозяин:

— Вы просили расписку.

— Мерси,— поклонился важно Монго, скатал расписку в шарик и кинул на пол.

Чилаев вздохнул и удалился.

— Пора в гостиницу за вещами,— сказал Монго.

Я не ответил. Он ушел один.

В комнатах зажигали свечи.

Монго командовал слугами, вносящими наши сундуки.

Я словно проснулся.

Монго взял у меня из рук листок с чилаевским счетом. Я всегда пишу на обрывках и теряю.

Пока он читал, я кинул перо в окно. Оно пролетело стрелкой и повисло на ветках. Вишни на дереве были еще маленькие и зеленые.

Я вышел во двор. В саду светились окна верзилинского дома.

Элова арфа пела свою тоскливую песню.

Монго читал мои стихи.

Когда Монго что-то волнует, маска его лица делается вовсе непроницаемой. За всю жизнь мы не сказали друг другу двух слов с полной откровенностью.

Он дочитал до конца и, конечно же, не сказал мне ничего.

У лампы вился желтый мотылек.

— Пойдем в «храм граций»?— предложил я.

— Да, только переоденусь,— сказал он.

За это я его и люблю.

10 июля 1840 года, предав пламени деревню Гехи и истребив близлежащие засеянные поля, мы расположились возле деревни для ночлега.

Казаки и мирные татары славно джигитовали в поле, выгапывая посевы. Эхо вторило их пронзительному крикам. На месте деревни в грудах догорающих углей чернели обгорелые печи. Собаки выли, прячась на опушке леса.

Я взял свои шахматы и искал партнера. — Лермонтов, я к вашим услугам!— окликнули меня.

Выговор и манеры Лихарева были безупречны и выдавали жителя Петербурга. Это не вязалось с изможденным лицом и солдатским мундиром.

Мы расставили фигуры.

Мимо нас конвоиры провели провинившегося солдата. Барабанщики и унтер, несший уставные шпирютены, означали предстоящую экзекуцию.

Далеко над лесом подымались столбы дыма.

— Вон и маяки,— показал на них Лихарев.— Славный будет завтра денек.

Вокруг нас ставили палатки, стягивали сапоги с убитых, варили кашу.

Лихарев думал над ходом. Голубые глаза его и улыбка выражали доброту души несравненную.

На краю поляны раздевался наказуемый. Унтер раскладывал шпирютены.

Спокойствие моего партнера бесило меня.

— Скажите, Лихарев,— не удержался я.— Если бы пятнадцать лет назад вы знали, что вам предстоит каторга, а потом солдатская шинель, вы все равно вышли бы на Сенатскую площадь?

— Непременно,— улыбнулся он.

— И действительность не изменила ваших идеалов?

— Только подтвердила.

Грянули барабаны. Закричал наказуемый.

— Вы и подтверждаете,— продолжал Лихарев.— Ваши стихи. И то, что вы в армии. Значит, по-прежнему армия воспитывает лучших русских людей.

— Из Петербурга, говорят, два пути,— быстро сказал я.— Один— в Париж, дру-

гой—на Кавказ. Один—бежать, другой—служить. И не мы себе выбираем путь!

— Зато больше половины офицеров—ссылные,—сказал он.—Подумайте, ведь опасно собирать нас в одном месте, да еще в большинстве?

Трещали барабаны на месте экзекуции. Татары, топтавшие посевы, теперь расстелили у реки свои коврики и творили вечерний намаз.

— Никакой опасности нет,—крикнул я.— Мы являем чудеса храбрости, и это храбрость убийц. Кровь льется нашими руками—руками, как вы выражаетесь, «лучших русских людей». Вы ждете от нас развития ваших идей свободы, нового направления, нового хода мысли? А у нас нет никакого направления! Мы просто собираемся, кутим, делаем карьеру, увлекаем женщин!..

— Вы-то не так приземлены,—улыбался он своей замечательной улыбкой, которая вызывала во мне одновременно и нежность к нему и раздражение.

— Именно так! Идеалы ваши не приходят ни в какое соответствие с действительностью. Мы лишь болтаем и предаем друг друга так же, как болтали и предавали с незапамятных времен!

Улыбка исчезла с его лица. Я уже не мог остановиться.

— Вы хотите видеть продолжение себя? Продолжения нет. Когда ваша жена не последовала за вами в Сибирь, как последовали другие жены декабристов, вы, конечно, решили, что тут ваша отдельная беда, никак не беда идеи, но в том-то и трагедия и закономерность, что идея существует сама по себе, а жизнь каждого из нас ужасна и бессмысленна.

— Вы не имеете права на такую жестокость,—сказал он тихо.

Наказуемый кричал под шпицрутенами.

— Имею право,—сказал я,—потому что завидую вам, завидую Сенатской площади, завидую вашим виселицам и каторге. Вы жили, а мы прозябаем. Время остановилось, идея умерла.

На следующее утро, 11 июля, мы вступили в Гехинский лес.

Отряд наш был огромен и растянут на версту. Я был в авангарде, где двигались три батальона Куринского егерского полка, две роты сапер и сотня донских. Впереди колыхались сплошной массой черные шапки еще восьми сотен донских казаков князя Белосельского-Белозерского.

Со звоном проезжали орудия.

Жара была невыносима, воздух тяжел от испарений.

Я отогнул воротник.

Над допотопным лесом, то столбом, то расстилаясь облаками, дымилась зловещие маяки. Только эти дымы говорили о том,

что нас ждет. Кроме топота, звона и тяжелого дыхания, никакие звуки не нарушали тишину леса. Противник себя не обнаруживал.

Авангард вышел на поляну, вслед за ним потянулась главная колонна с обозом.

По мере приближения арьергарда в левой цепи стали раздаваться выстрелы.

Командир авангарда Фрейтаг подал мне знак, и я поскакал назад узнать, что стряслось.

Монго, ехавший рядом с колонной, церемонно мне поклонился. В зубах его торчала сигара.

Много знакомых лиц было в рядах всадников.

Взволнованный Глебов помахал мне рукой, печальный Трубецкой проводил кислой улыбкой.

Перестрелка в арьергарде усилилась.

Когда я оказался в хвосте колонны, арьергард был уже в жарком огне. Неприятель напал с трех сторон. Пули сыпались отовсюду, даже с вершин деревьев.

Кликали лекарей.

Из кустов за ноги тащили раненых.

— Орудия! Нас отрежут!—крикнул мне полковник Врангель, командовавший арьергардом. Он был растерян.

Я поскакал обратно и свернул в лес, уступая дорогу батальону куринцев, мчавшихся на помощь арьергарду.

Лес был затянут синим пороховым дымом, ружейные выстрелы сливались в сплошной грохот. Вокруг меня застрельщики левой цепи отступали к дороге под натиском врага. Через мгновение показались толпы чеченцев, с дикой отвагой бежавших на нас из глубины леса.

— Вы здесь, мой мрачный философ!

Это был Лихарев. Мундир его был окровавлен. Лицо его было искажено гримасой безумного вдохновения.

— За мной, братцы!—крикнул он срывающимся голосом, повернулся и пошел навстречу чеченцам, перепрыгивая через корни деревьев.

Отступавшие солдаты останавливались и поворачивали за ним.

Сам не знаю как, я поскакал тоже. В руке моей была сабля, я рубил, кричал. Он увлек и меня.

В это мгновение наши ударили картечью.

Я лежал рядом с Лихаревым, спасаясь от своих пуль.

— Рабы не могут побеждать, а мы побеждаем,—сказал он отрывисто.— В нас внутри свобода. И, ежели действительно рассуждать философски, идея умереть не может.

Мы встали и пошли вперед. Вокруг свистели пули.

— Где, например, сейчас ваша холодность?—говорил он увлеченно.— Вы взволнованы, вы рядом со мной. Идея переходит

из одной формы в другую, но путь ее необратим, так трактует великий Гегель.

— Гегель умер от холеры десять лет назад,— сказал я.

— Погодите,— остановился Лихарев.— Давайте отрешимся от наших домашних дел. Вы согласны, что идея есть суть мирового процесса?

Он был очень хорош, он действительно не слышал и не замечал чеченских выстрелов.

— Если я и верю,— отвечал я,— то это лишь доказывает мою слепоту, потому что истинный смысл вещей еще более отдаляется от моего представления об истине.

Кажется, солдаты опять отступили, потому что мы остались вдвоем.

— Это уж вы цитируете старика Канта,— усмехнулся Лихарев.— Впрочем, все равно. Даже если вещи — только ваши представления о них, то представления ваши, смею вас уверить, совершенно совпадают с моими. С нашими. Какие бы поэмы вы ни принимали, вы, Лермонтов,— один из нас! Может быть, последний из нас. Спорить-то нам не о чем, милый мой, вы правы. Бог один знает, сколько лет пройдет, когда в России снова явятся люди...

Он резко дернулся.

Пятно крови расплылось на его груди, он стал падать на меня. Я подхватил его, но не удержал. Он был убит пулей навывлет.

Чеченцы бежали на меня со всех сторон...

Войска заняли прежний боевой порядок и стали медленно продвигаться вперед.

Я скакал к голове колонны.

Впереди лес темными клиньями подходил с обеих сторон к дороге.

В полуденном небе сверкал остроконечный Казбек.

Я догнал Монго и ехал рядом с ним.

— Дорога ведет к речке,— сказал Монго.

Он очень старался, чтоб столбик пепла не упал с сигары.

— Речка остроумно называется Валерик,— сказал Монго.— по-татарски «речка смерти».

Никакой реки не было видно.

Все снова было тихо, только дыхание, топот и звон. Ни одного выстрела не раздавалось с неприятельской стороны.

Мы приблизились к лесу вплотную.

Две штурмовые колонны двинулись направо и налево в лес, чтоб обеспечить наше дальнейшее продвижение.

Стали снимать с передков артиллерию.

В это мгновение невидимый враг открыл убийственный огонь со всех сторон.

Я помчался вперед с главной штурмовой колонной. Под копытами лошадей были тела — солдаты, убитые первым залпом.

Показались завалы из бревен, похожие скорее на крепости, а не на временные сооружения дикарей, и река перед ними.

Это была даже не река, а ручей, но протекал он в глубоких, совершенно отвесных берегах и образовывал как бы крепостной ров, пересекавший наш путь.

Лошади были бесполезны. Мы прыгали в реку с обрыва и шли вперед по груди в воде. Самые ловкие и отважные уже лезли на вражеские срубы. Выстрелы скоро прекратились, и винтовка уступила место кинжалу и штыку.

Воды не было видно от сотен людей, коловших, рубивших, топивших друг друга, бивших прикладами, душивших за горло, стаскивавших обратно в кровавый котел тех, кто пытался спастись на скалах.

Резались молча, грудь в грудь.

То было не сражение, а бойня, ярость и воля превратились в усталость, шли часы, а кровавой нашей работе не было конца.

Мертвые ложились в струи потока и затрудняли его движение.

Ущелье дымилося кровью.

Я бросил кинжал и стоял, задыхаясь, вцепившись в чей-то скользкий мундир, чтоб не упасть. Потом я понял, что держусь за труп. Нет — он открыл глаза.

Подхватив его под руки, забыв о ножах черкес, чудом не достигавших меня, я поволок его к берегу.

— Пить! — прошептал он.

Камни срывались под ногами, берег был крут, но я все-таки выгашил его на узкую площадку, выступ скалы, подымавшийся над потолком.

— Пить,— повторил он.

Я полез обратно в речку, отталкивая руки солдат, протянутые ко мне за помощью.

Поток стал глубже, оттого, что ниже по течению тела запрудили его совершенно.

Я зачерпнул воду в фуражку и вскарабкался на скалу к подпрапорщику.

— Пить! — стонал умирающий.

Изо всего мира ему нужен был один глоток воды.

Я поднес фуражку к его губам. Он глянул и отшатнулся.

Только тогда я понял, что принес ему не воду, а кровь.

Над нами громоздились скалы, прекрасные как в первый день творения, еще выше — вековой недвижный лес, а над всем этим — ясное небо и снежные горы.

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?

Играют волны — ветер свищет,

И мачта гнется и скрипит...

Увы, — он счастья не ищет

И не от счастья бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой...

А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Жизнь вошла в свою колею. Я стал весел и болтлив. 9 июня в гостиной Верзилиных девицы убегали от меня с визгом, а я быстро ловил их, потому что глаза мои были завязаны шарфом Эмилии так, что все было видно.

Эмилия спряталась от меня в коридоре, но я настиг ее там и обхватил руками, словно в увлечении игрой. Она окаменела в моих объятиях, но освободиться не пыталась.

— Эмилия Александровна,— быстро зашептал я,— три недели мы играем в кошки-мышки, я в полной зависимости от вашего слова, улыбки, но даже раба награждают...

Ее лицо было близко, я видел морщинки у прищуренных глаз, складки у подбородка и много пудры, а остановиться уже нельзя было.

— Когда же награда?—врал я.

— Вы все видите,— сказала она,— вам не скучно все видеть?

Я поцеловал ее.

— Что за радость вам смеяться надо мною?— сказала она.— Вы когда в отряд едете?

— Неужто вам жаль будет, если меня убьют?

— Мы все в вас влюблены. Вы это хотите слышать? И мужчины, и дамы. Мартынов прямо без ума. Идемте, неприлично тут вдвоем стоять.

Мы вернулись в комнату.

Глебов с Надей выскочили из своей передней с лесенкой. Надя опять трогала пальцами волосы.

— Надя, тебе Мишель сейчас в альбом писать будет!— сказала Эмилия.

Явился альбом.

— Повязку не снимайте!— приказала Эмилия.— У вас такие ужасные глаза. Хоть минуту отдохнем.

Растрепанная Надя смеялась. Глебов смущенно щипал усы.

Я писал с завязанными глазами. Свечи и лица сквозь шарф светились пестрыми ореолами.

Эмилия прочла через мое плечо:

Надежда Петровна,
Зачем так неровно
Разобран ваш ряд,
И букли назад,
И локон небрежный
Над шейкою нежной...

— О, господи!— вскрикнула Надя, прижав ладони к помятым Глебовым рыжим волосам, и убежала.

— Теперь девочку смутили. Зачем все видеть и говорить?— сказала Эмилия.

— Я ничего не вижу! Ничего не вижу!— закричал я и, раскинув руки, роняя свечи, побежал по комнате.

Монго, сидевший у рояля, заиграл наш «Вальс Авроры».

Девицы пищали в темноте.

Открылась дверь, в светлой передней с лесенкой стоял Мартышка.

Я налетел на него и ухватился за его кинжал:

— Кто это? Караул! Чеченцы!

— Миша, это я,— сказал Мартышка.

— Я ничего не вижу!

— Что с ним?— спросил Мартынов.

— Он сам с собой играет в кошки-мышки,— ответила из темноты Эмилия.

— Зажгите свечи,— сказал суетливо Мартышка.— Миша, погоди. Господа, знаете, кто приехал?

— Я ничего не вижу!— кричал я.

— Столыпин! Сделай с ним что-нибудь,— попросил Мартышка в раздражении.— Послушайте: князь Васильчиков приехал! Он снял комнату у Чилаева и сейчас будет здесь!

— А кто это?— хладнокровно спросил Монго.

— Васильчиков!!!

— Забыл,— вздохнул Монго,— все забыть. Это действие местных вод. Не хотел же пить.

— Смейся, смейся!— нервно говорил Мартышка.— Не каждый день бывает! Васильчиков, председатель Государственного совета и комитета министров Российской империи, первый друг государя!

Девицы поспешно поднимали свечи и зажигали их.

— Российской империи!— повторил я с удовольствием.

— Я твою иронию понимаю,— спохватился Мартышка,— но согласись, интересно же...

— Комитет министров!

— Не сам, сын его,— сказал Мартышка,— сын приехал.

— Сам сын!!!

— Он замечательный молодой человек,— оправдывался Мартышка,— вы его полюбите... Лермонтов, ты его знаешь!.. Вы встречались. Вот человек, достойный твоего ума, тебе хорошо с ним будет, увидишь!

— Я ничего не вижу!!!

— Не кричи, сними повязку. Господа, представляете, он не хочет иметь с отцом ничего общего. У него свои убеждения, свой путь. Не берет у отца буквально ни копейки. Служит. За убеждения сослан на Кавказ. Отец чуть не на коленях стоял, предлагал прощение государя. Александр от помощи отца отказался.

— Я слыхала,— вдруг произнесла верная Груша,— к ним государь запросто обедать ходит...

— Не к нему же, к отцу!— поправил Мартышка.

— И они— к государю тоже,— закончила Груша,— во дворец...

— Там кормят— так себе,— изрек Монго,— я бывал.

— При чем тут обеды?— рассердился Мартышка.

— Обильно, но невкусно,— сказал Монго.

У него была такая физиономия, что я от смеха с трудом держался на ногах.

— Александр Васильчиков год провел в ссылке на Кавказе! Об этом надо помнить!— вскричал Мартышка.

— Там, пока из кухни донесут, все остывает,— продолжал Монго.

Теперь уже все смеялись, кроме Мартышки.

— Год ссылки, а вы смеетесь!

— Мартынов, он же не под пулями был, а в канцелярии,— сказал Глебов.— Он заранее знал, что через год вернется к рара.

— Да вы представьте его трагедию!— вскричал Мартышка.— Станьте на его место! В голове мечты о свободе, а родной отец— любимый раб тирана! Поймите же, Александр Васильчиков— мученик!

— Мученик фавора,— сказал я.

— Он умен, интересен, всегда в центре общества,— настаивал Мартышка.

— Повара там воруют, как везде,— сказал Монго,— у нищи вкус скучный, трактирный. Не понимаю, Мартынов, чего ты ждешь от этих обедов? Поверь, ничего особенного!

— Ваша ирония глупа!— простонал Мартышка, заглушаемый всеобщим хохотом.— Намеки оскорбительны! Мне не нужны их обеды, поймите— люди есть везде! Всюду пробуждается мысль, в самых высоких сферах... А ты, Лермонтов, завязал глаза, чтоб не видеть, замкнулся в ложном пессимизме...

— Я ничего не вижу!

— Ты хоть не нападай на него. Он человек умный, образованный, и ему хочется блеснуть. Мы— первые на его пути из изгнания домой. Да он фрака год не надевал! Юноше его привычек— легко ли?

— Ты же не снимаешь никогда свой колоссальный *roignard*,— сказал я невинным тоном,— тебе разве легко?

— Я просил не сместь при дамах!!!— прокричал Мартышка, и лицо его налилось кровью.— И в последний раз предупреждаю!

Дверь в переднюю с лесенкой открылась, и появился тощий князь Васильчиков.

— Заходите, князь, милости просим,— пригласил Мартышка, забыв, что не он здесь хозяин.

— Будьте как дома,— повторила смеясь Эмилия,— в Пятигорске принято без церемоний, у нас запросто!

Монго заиграл «Вальс Авроры».

— Вот уж подлинно с корабля на бал,— сказал Васильчиков заготовленную фразу.

Получилось неловко. Я сразу подхватил Эмилию, всех дам мигом разобрали, закужили в танце. Васильчикову никто не ответил. Только Мартышка взял его под руку, повел к дивану и уселся с ним рядом.

Васильчиков был мальчик 22 лет, очень высокого роста, с длинным и строгим лицом. Говорил он неожиданным при таком сложении могучим басом.

Мы танцевали, но все наше внимание было приковано к дивану, где ерзал Мартышка, сгорая желанием устроить всеобщий мир. В нем чрезвычайно развито было чувство ответственности. Девицы ждали продолжения спектакля. Обстановка была такая, что любое слово должно было неминуемо вызвать смех.

— Князь,— начал Мартышка.

Монго заиграл тише.

— Что вы чувствуете на пути домой после долгого отсутствия?— спросил Мартышка.

— Я очень счастлив, друг мой,— отвечал басом Васильчиков.

Надя пискнула.

Васильчиков поглядел на нее с недоумением и продолжал громко и складно:

— Счастлив, как всякий русский, долго бывший на чужбине. Только вдали от дома и полюбишь Русь со всеми ее бедами, болезнями, с грязью и нищетой, всю целиком и без разбору. Как у Пушкина— «мой идеал теперь хозяйка, да шей горшок, да сам большой...»

— Вот, Мартынов,— «горшок шей»,— сказал Монго.

Девушки захохотали как от щекотки.

— *Je ne comprend pas*,— сказал внушительным басом молодой мученик.— Что вы нашли смешного? Я говорю серьезные вещи.

— И посуда совсем обыкновенная,— продолжал Монго.— Хорошую прячут к праз, никам. Слыхали— «горшок».

— Мне сдается, *il y a les mots*, над которыми смеяться совсем нельзя, непатриотично, наконец!— гудел растерянный Васильчиков.

Он был умный мальчик.

— У меня живот заболел от смеха,— сказала Груша.

— Лермонтов, все ты виноват!— вскричал Мартынов.— Князь, я должен объяснить.

— Ничего не вижу!— сказал я.

— Я не привык,— объяснил Васильчиков.— Если я здесь лишний...

— Да вы тут как родной!— крикнул Мартышка.— Слова даже не при чем, тут свой стиль, кружок, вы вольетесь, и все станет хорошо! Вы тут найдете сердечное понимание и чувство— как нигде! И все разделяют

и знают самую глубину... Только давайте безо всякого, надо запросто.

— Я готов запросто, — согласился князь. — Я люблю. Я все эти светские условности...

Он закончил одними губами, отвернувшись от дам. Такого рода слова ему не шли, получилось неприлично.

— Боже! — сказал Монго.

— Вот и хорошо! — подхватил Мартышка. — Если уж мы в своем кругу нападать начнем, куда тогда деваться? Такие люди собрались! Такие люди! Продолжайте, князь, вы так интересно говорили об идеалах народности и простоты...

— Да, да! — подхватил я. — Вы нам скажите, князь, что вам больше нравится: кнут или смертная казнь?

— Почему вы вдруг об этом? — удивился он.

— Вы на Кавказе законность насаждали — и неминуемо должны знать, как правильно наказывать. Потому что нет закона без наказания. Что же идеальное в смысле народности: пороть или вешать?

— Мне отвратительно и то и другое, — отвечал он, — но я не понимаю, какое отношение имеет эта тема к разговору?

— Чтоб жить с идеалами, надо выбирать! — разъяснил я. — Что вы выбрали бы в случае необходимости?

— Смертной казни у нас не существует, — пробормотал он.

— Кнут! — воскликнул я. — Кнут народный!

— Мишель, вы совсем запутались, — сказала Эмилия. — Чего вдруг про кнут? Вам лишь бы в пику сказать. Ничего на ум не пришло — так нате вам кнут!

Наверное, я действительно сказал глупость.

— Господа, мне неловко. Я, кажется, внес какую-то смуту, — извинился Васильчиков. — Простите. Я точно не в себе. С дороги.

— Уже первый час, — сказал Монго и встал.

Мы вышли в сад. Все небо было усыпано звездами.

«Если мне нет оправдания, то молодость и пылкость послужат хотя бы объяснением, ибо страсть сильнее холодного рассудка».

24 февраля 1837 года я сидел под арестом в камере на верхнем этаже Главного штаба. Часовой звенел в коридоре прикладом, неизвестный сосед пел за стеной.

В розовом свете угасающей зари я писал печной сажой на клочках серой бумаги, в которой приносили мне хлеб.

Романтических чернил моих было предостаточно, стоило лишь взобраться на стул и открыть вьюшку. Когда я открывал ее,

голос соседа слышался громче, слов нельзя было разобрать, но звуки русской песни были ясны, лились чередой. Я стоял на стуле, прильнув к печке, когда ключ заскрежетал в замке, дверь открылась и в камеру вошел незнакомый господин.

Я ждал допроса и с гордой усмешкой глядел на него с моего возвышения.

Одет он был в штатское платье, лицо его, красное от мороза, выражало нравственное и физическое здоровье. Он поклонился мне и жестом показал, чтобы я не торопился слезать, подошел к печке, погрел щеку, потом другую, проследовал к столу, понюхал из стоявшей там бутылки, тронул мои бумажки.

Звуки русской тоски за стеной падали, как слезы. Красный сумрак сгущался.

— Давно ли вы здесь? — спросил гость с приятельской небрежностью.

Я прыгнул со стула. Он подул на сиденье и сел.

— Мерси.

Я ждал.

— С самого начала знайте — я ваш друг и полностью разделяю горе и порыв, который привел вас сюда. Смерть Пушкина — беда для всех, и ваши стихи так точно выразили...

— Я от стихов не отрекусь! — прервал я его.

— Ради бога, не отрекайтесь! — воскликнул он и прижал ладонь к губам, оглянулся на дверь. — Успех огромный! — продолжал он, понизив голос. — Десятки тысяч списков ходят по Петербургу. Всякий любитель словесности счастлив добыть копию. Я с трудом достал через самого Жуковского. Ну, как вам живется в славе?

Видно было, что он привык водиться с баловнями фортуны.

— Вот моя слава, — объявил я, указывая на стены камеры.

— Зато о вас говорят! Могу донести, что Жуковский признал не только зачатки, но и все проявление могучего таланта. Полагают уже, что вы — смена Пушкину!

— Другого Пушкина быть не может, — сказал я с лишней бравадой.

— Избави бог, — согласился гость. — Солнце русской поэзии одно. Но, кроме солнца, пусть горят и другие светила. Мы ждем от вас многого.

Склонив голову набок, он с улыбкой любовался моим смущением.

— Вот какие новости принес я вам в ваше уединение, — сказал он и с той же улыбкой спросил: — Отчего вы не спрашиваете, кто я?

— Кто вы?

— Я старший медик гвардейского корпуса. Его императорское величество распорядились, чтобы я посетил вас и удостоверился, не помешаны ли вы.

Теперь он любовался моим испугом.

— Помешан? — переспросил я.

Он молчал.

— Отчего вдруг — помешан? Что в стихах такого?!

— Вы встревожились? — рассмеялся он. — Поверьте, я исполняю приказ с удовольствием, поскольку это повод познакомиться с вами. Сколько вам лет?

— Двадцать два... Если я помешан, то в стихах какое-то безобразие, гадость какая-то сверх всякой меры, в чем, скажите!

— Ни в чем. Успокойтесь, не то я расскажу, в какой позе застал вас мой визит.

— Я сажу добывал, — объяснил я торопливо.

— Сажу? Зачем сажу?

— Я ею пишу, мне чернил не дают!..

— Ну да, конечно, сажу, — он рассматривал мои клочки серой бумаги.

Взгляд его был другой, цепкий. В нем словно сидели два человека: любитель словесности и доносчик, и он очень заботился, чтобы оба развились в полной мере. Видно было, что он обоих любил.

— Стихи ваши отличные, — сказал он. — Но государя можно понять, стихи странные, недобрые. Государь справедлив, а у вас получается, будто мы все виноваты, что Пушкина нет.

— Так и следует понимать, — сказал я твердо.

— В нашей поэзии необходим точный расчет, — улыбался он. — Жуковский — замечательный поэт, всеми уважаем, любим — и никаких неприятностей. Вижу, вижу, это не для вас! Чем вы были больны, когда писали «Смерть поэта», вы же не служили в эти дни?

— Я был простужен.

— Так мне и сказали... Ах, как это приятно!

Он придвинул серый листок и прочел:

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит...

В конце особенно:

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле
И в небесах я вижу бога!..

Он умолк. Два его любимые человека боролись в нем.

В камере было уже темно. Часовой внес свечу.

— Это не буквально? — спросил медик.

— Что?

— То, что вы видите бога?

— Буквально.

Он улыбнулся и погрозил мне пальцем.

Петербург спал в сугробах. Меня везли в коляске под присмотром жандармского офицера.

— Здесь Пушкин жил, сочинитель, — сообщил мне жандарм на набережной Мойки. — Едем мягко, чувствуете? Здесь солома лежит, постелили, когда он кончался, — для тишины. Солома осталась — а он где?

Маленький особняк третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии был совсем рядом с Пушкиным.

Я вошел, всеми силами стараясь хранить достоинство, даже слишком прямо вздернув подбородок.

В скромной комнате офицер оставил меня.

Чиновники перекладывали бумаги. Знакомый старый генерал холодно кивнул мне и продолжал втолковывать сонному лакею:

— Потом поедешь в ресторацию за паштетамы, хозяин знает. Отвезешь домой, пусть делают прибавление к обеду, будут гости...

На меня никто не обращал внимания. Я был готов к разносу, к обвинениям, но только не к обыденности этой комнаты с бумажным шорохом и домашним разговором. Моя храбрость никем не была замечена, она была тут смешна. Я видел, что им скучно заниматься мною, — и это пугало сильнее всяких обвинений. Старик отпустил лакея и со вздохом обратился ко мне.

— Ну как с тобой быть? — начал он лениво и сразу умолк, занявшись только что принесенными бумагами.

Я ждал.

— Я с тобой попросту, на «ты». Не обижаешься? — спросил он наконец.

Я решил не отвечать, чтоб разозлить его, но он и не думал злиться.

— Знаешь, почему ты здесь?

— За стихи!

— Ах, нет, — поморщился генерал, — стихи твои так дурны, что не заслуживают ареста. Твоя слава от зимы, от скуки. Публика рада развлечению...

Он углубился в чтение бумаг. Я почувствовал смутное беспокойство. Он словно забыл обо мне, потом вдруг отложил бумаги и сказал, улыбнувшись:

— Стихи должны рождаться от страсти. Тогда хороши. Ты раньше печатался?

— Восточная повесть «Хаджи-Абрек» была напечатана, — сказал я, теряясь. — А драма «Маскарад» не была поставлена по причине — так мне сказали — слишком резких страстей. И потому, что добродетель недостаточно вознаграждена.

— Доброта цензора — наша беда, — усмехнулся старик. — Нет чтоб сразу и честно указать на бездарность автора. Мудрит, чтобы не обидеть. А лучше вовремя остановить, чтоб не доводить искателя славы до крайности. Ты здесь не за стихи, а за

поведение, недостойное офицера. Стихи — дрянь, но в них — чуть ли не призыв к революции!

— Ваше превосходительство, я никак не предполагал, — бормотал я.

— В твоём возрасте, — остановил он меня, — надо баб любить, а не марать бумагу. Пушкин-то по части баб был отчаянный молодец! «Я помню чудное мгновенье»!.. А?

Чиновники тихо рассмеялись.

— Пушкин был — мужчина! — генерал постучал кулаком по столу. — А ты — сопляк, мальчишка.

Он скривился от отвращения ко мне и продолжал:

— Твои «надменные потомки известной подлости» — это все слова. Слова! Желание поразить. От кого ты Пушкина защищаешь? От нас? Не надо. Мы его сами защитим. Он — наш. И к славе его не примажешься. Хотел славы — искал бы ее в сражениях, а не в гостиных петербургских сплетнях. Ты был гвардейский офицер — слуга его величества...

— Ваше превосходительство, — уже оправдываясь я, — я только излил на бумагу сердечную горечь...

— Не хотел быть офицером — пойдешь в солдаты, — прервал он меня.

Слова эти были сказаны спокойно и тихо. Никто из чиновников даже не обернулся взглянуть, как я приму известие.

Мне было двадцать два года, жизнь была кончена.

— Отправись на четверть века белую лямку тянуть, — говорил старик. — Обрадуешь бабку. Тебя бабка воспитывала?

Я хотел отвечать, но язык не повиновался мне.

— Бабка-то не порола, — сказал генерал и зевнул, — а в солдатах попробуешь и шпицрутеннов.

— Ваше превосходительство... — прошептал я.

— Довольно, — отмахнулся он.

Его древние светлые глаза смотрели на меня безо всякого интереса. Он, видно, с трудом понимал, что я еще здесь, сижу перед ним и надо со мной говорить.

Чиновник, склонившийся над его плечом, указывал в бумаги.

— Государь, — сказал генерал и пожевал губами, — в своей великой милости прощает тебя. В солдаты тебя на сей раз не сдадут. Ты переведен в полк на Кавказ тем же чином. Понюхаешь пороху. Ступай.

Меня простили. Жалкая улыбка благодарности явилась на моих губах, я не мог остановить ее.

Я шел по набережной среди сугробов. Шинель моя была расстегнута. Под ногами

моими была солома, перемешанная с навозом у дома Пушкина.

Я взял снегу из сугроба и тер лицо. Снег был ломкий, как стекло. Лоб мой горел, стыд переполнял меня, но слезы не шли.

Две тысячи цветных бумажных фонарей висели связками в комнатах «надворного флигеля». Посреди гостиной я строил громадную люстру из трех ярусов обручей, увитых цветами и ползучими растениями. Глебов, управляясь одной рукой, рубил в саду виноградные лозы, мы с Монго плели гирлянды. Мученик фавора резал цветную бумагу.

На подоконнике, храня неподвижность простреленной горцами шеи, восседал, завернувшись в персидскую шаль, красивый и пьяный Сергей Трубецкой и вещал:

— Жизнь — это пир. Пир этот надо продолжить как можно долее и закончить, когда вино все будет выпито.

— Пить надо умеючи, — возражал толстый князь Голицын, презрительно наблюдавший наши труды. — Вы, Трубецкой, самовольно покинули отряд, живете в городе без разрешения и можете быть отданы под суд!

— Ваше сиятельство, господин полковник, — отвечал Трубецкой. — Вы здесь не командир, а частное лицо, а я пью исключительно для поправления здоровья — воды! Поскольку год со времен славной речки Валерик не могу повернуть голову вбок и вижу только то, что впереди, то есть ничего хорошего не вижу.

— Господа, если уж вы сбежали из отряда, — настаивал Голицын, — воспользуйтесь своим временем со вкусом! Может быть, я плохо команду артиллерией, но в устройствах развлечений я знаю толк. Неприлично устраивать бал в гроте на бульваре и угощать женщин хорошего общества трактирным ужином после танцев с кем ни попало на открытом воздухе!

— Я деньги по подписке собрал, — сказал плохо слушающий Трубецкой. — Все будет отлично. И буфет.

— Вы — офицеры! — торжественно провозглашал Голицын. — Вы будете вспоминать этот бал в боевых походах, возможно, для кого-нибудь из вас он будет последний.

— Для Мартынова, — сказал я. — Он хочет к чеченцам бежать. В горы.

— Что?! — взревел Мартышка.

— Ага, он уже кистом добыл, — согласился Трубецкой.

— Он совсем готов — на волю, — закончил я.

— Бо-оже мой! — схватился за голову Мартышка.

— Господа, оставьте, что за шутки! — возмутился полковник.

— Голицын,—обратился я к нему развязно,—здесь не Петербург. Что неприлично в столице, совершенно на месте на водах с разnochерстным обществом.

— Точно,—согласился Трубецкой.—В Петербурге Амели Крюденер государю не дала, а Монге дала, поэтому Монго там не на месте, а здесь на месте.

— Сережа,—сказал ему заботливо Мартынов.—Выйдем со мной в сад.

Он решил не обижаться.

— Не хочу,—отшатнулся Трубецкой.—Ты меня разрежешь!

— В последний раз вам советую,—сказал Голицын.—Устроим бал не в гроте, а в казенном ботаническом саду за городом. Зачем танцевать под носом у публики и раздражать обывателей?

— В ботаническом саду—далеко,—сказал я.—Будет затруднительно уставших после танцев дам препроводить в город. И пока сюда доедем—остынут!

— Я вижу, Лермонтов, вы не отличаете дам общества от баб из капитанской слободки!—расстроился Голицын.—Да-а. Здешних дикарей надо учить... Или вы темноты боитесь—возвращаться?

— Полковник!—взвился Мартышка.—Вы в свое время Лермонтова к золотой полусабле за храбрость представляли, тем более странно звучит ваш тон!

Мартышка очень хотел со мной дружить.

— Лермонтов, он тебя защищает,—сказал Трубецкой.

— Да, защищаю!—сказал Мартышка с вызовом.

— С вами не договоришься,—махнул рукой Голицын и ушел.

Мартышка победно глядел ему вслед—я не мог удержаться от смеха.

— Мне кажется, Мартынов вполне благородно вступился,—сказал басом Васильчиков,—смеяться тут не над чем.

— Пустяки, князь,—сказал Мартышка, сел на диван и открыл лежавший там альбом.

Я толкнул Монго и показал на Мартынова. Монго живо встал, сел рядом с ним и положил руку на альбом:

— Я прошу тебя не смотреть.

— В чем дело?—насторожился Мартышка.—Что вы от меня скрываете?

Вошел Глебов с охапкой виноградных лоз, увидел, что происходит, и позвал:

— Мартынов, помоги мне.

Мартышка не поддался.

— Я видел—там рисунки,—сказал он.

— Ничего особенного, это наш журнал,—сказал Монго.—Мы здесь изображаем все, что с нами происходит, в карикатурах.

— Пусть смотрит, если хочет,—сказал я. Мне стало интересно, насколько его хватит.

Он раскрыл альбом.

— Монго, это же ты,—рассмеялся он,—похож!

— Я,—отвечал Монго.—И не обижаюсь. А это, вроде кошки, вцепился в моего коня—это Мишель. Он тоже не обижается.

Он говорил терпеливо, как с ребенком.

— А это кто?—спросил Мартынов и умолк.

Он листал альбом медленно и вымученно улыбался, потом улыбка исчезла, лицо его стало неподвижно.

— Замечательно ловко Лермонтов тебя изображает,—говорил Трубецкой, повернувшись всем корпусом, чтобы заглянуть в альбом.—Одним росчерком пера—и выделяет только кинжал.

— Дальше смотреть не надо,—посоветовал Монго.

Но Мартынов смотрел.

— Мартынов, ты наш спаситель,—прогудел в тишине Васильчиков.—Мишенью для шуток Лермонтова мог стать любой из нас. А правда, почему именно Мартынов?

— Столыпин,—попросил Мартынов тихо.—Я прошу тебя, выйдем со мной, пожалуйста...

Монго, обернувшись ко мне, сделал гримасу. Они вышли.

— Мне жаль его, он добрый мальчик,—сказал Васильчиков.

— Он—обезьяна,—сказал я и прошел в свою комнату.

Там была дверь в комнату Монго, она была затворена, но голоса Мартынова и Алексея были отчетливо слышны.

Я ел черешни и слушал.

— Он ненавидит меня,—говорил Мартышка.—За что? В чем моя вина перед ним? Я уважаю и люблю его, я не заслужил! Шутки его так утомительны, злы, издевательство так однообразно! Почему он выбрал меня?!

— Не знаю,—отвечал ровный голос Монго.

— Вы с ним близки. Он говорил тебе?

— Нет.

— Я доведен до крайности!—выкрикнул Мартынов.

Послышались отрывистые, квакающие звуки. Он плакал.

— Ну, зачем так?—сказал Монго.—Нехорошо. Ты не красная девица.

Шурша платком, Мартышка сморкался.

— Может быть, сменить это платье, снять проклятый кинжал?—спросил он.

— Еще хуже будет,—сказал Монго.

— Я не понимаю, за что?!—всхлипывал Мартынов.

Мне стало жаль его, я открыл дверь.

Он увидел меня. В глазах его были ужас и страдание.

— Ты подслушивал?—прошептал он.

— Да.

Он вдруг улыбнулся и заговорил быстро, не скрывая слез:

— Миша, ты пойми, ты счастливый человек... У тебя талант, ты словами можешь выразить самую последнюю степень отчаяния, ты пишешь, что о смерти мечтаешь, но не в душе хоронишь, а пишешь, находишь прекрасные слова, и само горе превращается в изящные строки, и тебе легче... В народе счастье называют «талант». Да, я завидую тебе! Я так же бесконечно одинок, как ты, Миша, все люди одиноки, но твое одиночество дарит тебе вдохновение — высшее счастье от бога, а наше одиночество — смешно!

Лучше б он молчал.

— Вдохновение — бред и раздражение пленной мысли! — сказал я. — Счастье только — любить.

Он разозлил меня.

— И это ты говоришь — любить! — воскликнул Марьтшка. — Да как мне можно понять тебя?!

— Дикарь, когда хочет понять, — съедает, — отвечал я. — Чтоб понять меня, тебе придется меня съесть.

— Я никогда не пойму, Миша!

— А вдруг поймешь, вдруг?

Как прекрасны были дамы при свете фонарей, при пестром, тусклом их свете!

Бальная музыка стояла в аллее, хор военной музыки — в скалах над гротом. Небо было так чисто, ни один листок не шевелился на деревьях. Свод маленького грота мы убрали цветными шальями, с круглым зеркалом в центре, люстра моя сверкала. Красное сукно тянулось лентой до палатки, назначенной быть уборной для дам. Она также была украшена шальями и снабжена всем необходимым для самой взыскательной красавицы.

В гроте было тесно, мы танцевали на площадке перед ним. Из темноты — единственной границы нашей залы — неприглашенные наблюдали наше веселье на бульваре в центре города со смесью презрения и зависти.

Глебов кружился только со своей Надей, я пригласил Эмилию. Она раскраснелась, опыленная праздником, щурилась, это необыкновенно к ней шло. Вся неопределенность ее двадцати пяти лет, скука, усталость, чужие умные слова — все было забыто в танце, она была легка, свежа. Надя все исчезала с Глебовым и возвращалась с расширенными зрачками, поправляя прическу тонкими пальчиками, даже третья грация, верная Груша, танцевала с чужими и клонила на чужие эпoletы прелестное лицо. Музыка «Вальса Авроры», фонари, платья дам, аромат их дыхания, все было так хорошо, чисто, понятно... Вдруг?

— Вдруг, Коля? — шепнул я, пролетая мимо него.

Он явился на бал в своей белой черкеске с серебряными газырями, но на поясе висел не один кинжал, а два. По тому, как надменно он поглядывал на меня, я понял, что второй кинжал был вызовом. Он удивительно умел делать все невпопад.

Конфеты, мороженое и фрукты подавали беспрестанно, я необыкновенно много танцевал, да и все общество было как-то особенно настроено к веселью. Роскошный буфет, шампанское во льду и удивительные, присланные Найтаки волюда, в которых распяты перепела и стоявшие на хвостах раки венчали пирамиды французских яств, возбуждали аппетит дам и жажду мужчин. Свободное явление чувств на глазах у степенных помещиков немало способствовало нашим развлечениям.

Катенька была замечательно хороша, я танцевал уже с ней. Ее смуглое детское личико выражало неподдельный восторг, словно это был первый бал в ее жизни.

— Сегодня особенно как-то светло, — говорила она мне, — и это все вы придумали, кузен, я знаю! Как вам, должно быть, не хватает сейчас ее!..

— Кого?!

— Вы же хотели вспоминать ее со мной, помните?

Она говорила о Вареньке.

— Какая она была?

— На лбу ее было родимое пятнышко, — вспомнил я. — Мы ее дразнили: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка!»

— А почему вы не женились на ней?

— Ну что я могу вам ответить?

— Как хорошо, что вы не ухаживаете за мной, — улыбалась Катенька. — Мы можем совсем свободно говорить. Я могу вам признаться, что вы сегодня необыкновенно хороши, я вас очень люблю.

— За что меня любить?

— Знаете, я ваших стихов совсем не понимаю, — сообщила радостно Катенька. — Я здесь все, что достала, прочла. Я не понимаю, но чувствую...

Она сидела на лавке, крытой ковром, и ела мороженое, слизывая понемножку языком.

— Вы все время решаете, ненавидеть людей или презирать их, — объяснила она. — Вы презираете оттого, что любите, да?

— Их? — спросил я, указывая на чету степных помещиков, любовавшихся бесплатным зрелищем.

— «У Вареньки родинка, Варенька уродинка!» — улыбнулась Катенька. — Вы все неправду пишете. Вы их не ненавидите и не презираете. Вы без них жить не можете!

От простоты ее слов я сам себе стал смешон, мне сделалось еще веселее.

— То о смерти, то о ненависти — вы все

придумываете,—втолковывала мне Катенька.

Я тронул пальцем золотое бандо в черной головке.

— И Вареньку свою вы придумали,— сказала Катенька.

— Варенька была.

— Была, но вы все равно придумали. И гадалку придумали. Она предсказала вам не смерть, а любовь. Они всегда предсказывают любовь...

— Смерть. Впрочем—это одно и то же.

— Будет вам про страшное думать! Глядите, Мартышка глупый второй кинжал нацепил!

Мартынов пил в буфете.

Вершины деревьев чуть проступили во тьме, первый отблеск утренней зари упал на бульвар. Праздник наш продолжался всю ночь.

Музыка играла уже нестройно.

Белые пятна разбредавшихся групп оживляли сумрак бульвара—уходили с фонарями в руках.

Я провожал Катеньку.

— Завтра я уезжаю в Железноводск и стану бывать здесь редко,—говорил я.

— Зачем так?

— Там работать спокойнее, я снял там квартиру. Вы приедете ко мне в гости?

— Если Обыденная захочет.

Я не видел лица ее в темноте, она вдруг притихла. Голоса перекликались в аллеях, музыка смолкла. Катенька была проста, открыта, я подумал, что в ней, может быть, мое спасение, и испугался.

— Катя, душенька!—кликнули сзади.

Я с трудом различил в темноте группу лиц. Молоденький офицер с фонарем в руке догнал нас.

— Катя! Вы не сдержали обещания,— сказал он запыхавшись.— Вы не танцевали со мной, *regrettez moi* хоть проводить вас! Смелость его была подогрета шампанским.

— Я провожу кузину,—сказал я и взял Катеньку за руку.

— А, это же вы! Пардон,—пробормотал он и вернулся в темноту к своим.

Когда он приблизился к ним с фонарем, я узнал Васильчикова и Мартынова. С ними шел еврей из оркестра и играл им на скрипке.

— Как глупо,—сказала Катенька.— Идемте скорей.

Я удержал ее. Мы остановились и сошли с аллеи в сторону. Разговор сзади был самый мирный и сонный.

— Ты, Лисаневич, ... удивительный,— гудел Васильчиков.— Тебя в нос щелкнули, а ты—спасибо.

— А как я должен поступить?—спросил офицерик.

— Куражиться!—отвечал Васильчиков.— После бала самое время заботиться о чести.

— Что я, сатисфакции потребую у дамы?

— У дамы—нет, у спутника ее...

— А спутник чем виноват?

— Ты шампанское пил? Куражься!

— И ты пил!

— Дуэли—аристократическая пошлость,—сказал Васильчиков.— Я не дерусь. Но пять раз был арбитром.

— Секундантом?—переспросил Мартынов.

— Да, арбитром. При моих родственниках мне только на дуэлях драться. Отец—председатель Государственного совета, дядя—московский генерал-губернатор, зять—придворный. Государь за дуэли преследует. Мне иногда даже хочется стрелять, посмотреть, что станет с моими милыми родственниками!

В его иронии был оттенок гордости.

— Вот ты и стреляйся,—нетвердо выговорил офицерик.

— Мы говорим о нем не как о поэте, а как о частном лице,—рассуждал Васильчиков.— Как поэт он много обещает, тут обижаться глупо. Вот, например, что я прочел,—мелом было написано на карточном столе: «Наш князь Васильчиков по батюшке, шеф простофиль, глупцов по дядюшке, идя в кадрили шутов по зятюшке, в речь вводит стиль донцов по матушке». Прелестно, да?

Мы стояли за деревьями. Ослепленные светом своего фонаря, разговаривающие не видели нас и прошли мимо.

— Но в поведении его есть черты,— продолжал Васильчиков,— которые трудно соглашаются с понятием о гиганте поэзии.

— В человеке все смешано,—сказал задумчиво Мартынов.— И поэзия, и частная жизнь.

— И в поэзии он путаник,— гудел Васильчиков.— «По матушке»—смешно, остальное зло и неверно. Я далек от своих родственников... А частную жизнь должно всегда отделять.

Длинная тень его доставала до моих ног.

— Всегда должно отделять,—повторил он.

— Должно,—сказал Мартынов.— Это верно. Должно!

Свет их фонаря пропал. Скрипач ушел за ними, играя на своей скрипке.

Я все еще держал Катину руку. Мы стояли тесно друг к другу в нашем убежище.

— Катенька!—просил я.

Она в ожидании подняла ко мне лицо.

— Ты ко мне приедешь?

Я спрашивал, как давно, в детстве, откладывая радость на потом.

— Не знаю,— сказала она.

Мы были одни в спящем Пятигорске. Машук, рождаясь из темноты, казался громадным.

— Я буду так ждать тебя, ты приедешь?

— А зачем?

— Ты обязательно приезжай!

— Спокойной ночи, кузен, спасибо...

Почему-то мне, дураку, важно было, чтоб не теперь, а потом.

Смятый бумажный фонарь валялся у нашей двери. Я тихо вошел в дом.

Монго храпел на своем диване одетый, но усы были завернуты шелковой бумагой. Я на цыпочках пробрался к себе, сел к столу, вырвал из тетради страничку со стихами и раскурил его трубку. Спать не хотелось. Я оставил трубку и вышел во двор.

Еще не рассвело. Все оцепенело в предутренней тишине.

Я побрел через сад к воротам. Звон моих шагов по плитам дорожки был оглушительным. Я сошел на траву. Теперь я словно слился с темнотой и тишиной сада и города; темнота была белесая, туманная, стволы и сеть неподвижных веток являлись из небытия, только когда я почти касался их. Человек, сидевший на скамейке у ворот, предстал передо мной так же неожиданно.

Это был Мартынов. Мне хотелось быть одному, но я не мог выйти со двора, минув его.

С глупой своей буркой на плечах он сидел один в темноте, голова его чуть двигалась, пальцы чертили в воздухе: он мысленно с кем-то разговаривал. Мне опять стало жаль его.

Он вздрогнул, почувствовав меня, обернулся и молчал, не зная, как себя со мной вести.

Из темноты донесся плачущий голос золовой арфы.

— Что ты?— спросил Мартынов тихо и недоверчиво.

— Не спится,— усмехнулся я.

— Мне тоже,— с облегчением зашептал он.— Знаешь, я лег, час проспал и вскочил...

Он меня боялся.

— Вчера было так хорошо,— сказал он.— Ночь замечательная. Будто праздник продолжается, да?

— Ты не сердись на меня,— попросил я.— Не обижайся. Я скоро еду в отряд, а там, бог знает, может, никогда не увидимся.

Я протянул ему руку, он подал мне свою.

— Пойду,— сказал я и показал неопределенно— в туман.

— Я с тобой?— спросил Мартынов.

Мы вышли на улицу, у которой одна сторона была— наш забор, а другая— степь, камни и горы, пошли мимо темных

окоп Верзилиных и Кати, по Дворянской, вверх по бульвару.

Мартынов шел не рядом со мной, а отставая немного, то вовсе пропадав в темноте, то нагоняя меня, он шагнул к другой стороне улицы, словно повторяя мое движение по городу, повторяя мое одиночество среди спящих белых домов, повторяя мое молчание. Ему казалось, что, повторяя, он вдруг станет видеть, чувствовать, как я, и, наконец, поймет.

Мы прошли город и подымались по узким кремнистым тропинкам в гору к источникам. Деревья рисовались здесь четче, тьма расступалась впереди и, наоборот, стучалась за нашей спиной вниз, в городе. Вокруг по-прежнему не было ни души. Стоны золовой арфы слышались здесь громче. Мы миновали камни и колонны Елизаветинской галереи и подымались все выше. Здесь уже было утро, небо было светло, ночь осталась внизу.

Белая фигура мелькнула впереди— казачка, подобрав подол, гремя пятками по осыпавшимся камням, метнулась в орешник. Мартынов возбужденно дышал за моей спиной.

Нас обступила роща, пронизанная солнечными лучами, клены, акации и каштаны смыкали над нами своды, тропинка петляла, раздваивалась, темная глубина рощи наполнилась звуками. Шепоты, шорохи, смех слышались со всех сторон, и внезапно, со следующим поворотом тропинки, лес расступился, сквозь редкие деревья открылись обнаженный склон и долина, и далекие горы. В кустах пискнул женский голос, на мгновение явилась белая грудь, розовая улыбка, рубашка на траве— и все пропало, но впереди таким же белым и розовым сверкало утро над темной долиной.

Я обернулся к Мартынову, он догнал меня и встал рядом. Пейзаж, открывшийся перед нами, был грандиозен: проснувшиеся светлые горы и спящая глубоко внизу черная земля с блестящей лентой Подкумка. На сером каменном склоне у наших ног естественным и величественным дополнением панорамы была чаша общей ванны— выложенный камнем бассейн целебной воды.

В священной тишине утра здесь совершался обряд купания. Мужики и бабы, казаки, калмыки, чеченцы, раздевшись в редком орешнике, без разбору лет, общественного положения и пола, с библейской простотой и торжественностью погрязались во влагу, нагретую для них природой.

Свет сходил с гор в долину, и тьма сжималась в городских кварталах на дне ее.

— Ты часто приходишь сюда утром?— спросил Мартынов.

Голос его прерывался от волнения.

Я молча кивнул.

— Господи, какая красота!—воскликнул Мартынов и сбросил бурку на камни.— Рассвет и люди, утро как обещание лучшего завтрашнего дня, нет—сегодняшнего... Ты как думаешь сейчас? Мы одинаково думаем? Да?

— Да.

— Ты меня привел, чтобы я увидел, как ты?—спрашивал он.—Я вижу! Вижу, как ты. Не дано же тебе видеть больше? Больше и невозможно, да? А ты говорил, что я не смогу понять тебя!..

Я побежал вниз, раздеваясь на ходу. Мартынов запрыгал за мною.

— Все вместе, да, Миша? Все вместе?—говорил он, бросаясь за мной в воду.—И об этом будет твой новый роман?

Он видел всех, я видел каждого.

Рядом со мной в горячую воду опускался лакей, подававший нам у Найтаки, кухарка отца Эрастова, плац-адъютант Сидери, желтая немка Раиса.

Я брызгал в лицо Мартынову, он хохотал.

— Не плещись, я ужасно щекотлив!—смеялся он.

Потом я поднимался вверх по каменистому склону, щебень осыпался под ногами. Мокрый, ничего не понявший Мартышка кричал:

— Миша, это утро всего меня перевернуло! Ах, как я все понял! Друг мой, Миша, ты такой же, как все, ты так же прост и мал. Васильчиков глуп: говорит, что должно отделять. Нет—твоя поэзия, ты сам и мир божий—это все одно! Наша малость и великие горы—одно! А, значит, и я, Николай Мартынов, так же велик и прекрасен, как ты, как весь мир, да, Миша? Наше ничтожество и есть наше величие!

Зачем я его привел сюда?

— Ты меня совсем загравил!—кричал Мартышка.—А сегодня показал—и разбудил. Я замучился, страдал, верил, что я черт знает что, а я—такой, как ты. Я не должен стесняться себя, Миша. Я прекрасен.

— Это у тебя утренняя аффектация,—объяснил я ему.—Так бывает, если выпьешь и не проспнешься как следует.

— Нет уж, довольно!—захохотал он и со счастливой фамильярностью ударил меня по плечу.—Я больше тебя не боюсь. Теперь ты меня не собьешь! Люди равны и прекрасны, да, Миша? Мы с тобой равны!

Прекрасное действовало на него, как электричество действует на труп—тело конвульсивно дергалось. Выжимая мокрую рубаху, надевая черкеску и папаху, он прыгал и плясал на камнях и кричал:

— Я прекрасен!

Горное эхо повторяло его вопли.

Он прыгнул ко мне, вцепился в мои плечи обеими руками и прокричал мне в лицо с особенной страстью:

— Никогда больше не дразни меня, Миша, слышишь? Никогда!

Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман

кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

И звезда с звездой говорит.

В небесах торжественно и чудно!

Спит земля в сиянии голубом...

Что же мне так больно и так трудно?

Жду ль чего? жалею ли о чем?..

«Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить ежминутно очертания предметов, которые ежминутно становятся все яснее и яснее»...

13 июля я прискакал из Железноводска в Пятигорск и поднял Черкеса на дыбы у окон Верзилиных. Надя захлопала в ладоши.

В маленькой передней с лесенкой звенели на стекле мухи.

В гостиной гудел голос Васильчикова:

— Я, слава богу, хорошо знаю государя. Государь вовсе не злой человек, он любит Россию и служит ей с удивительным упорством, но он совсем не понимает ее...

Я вошел.

— Государь по-детски неопытен в оценке людей,—говорил Васильчиков.—Его награды потеряли цену, чины и ордена сыплются в безмерном количестве на людей ничтожных!

Мартынов стоял у рояля со значительным видом.

— Лермонтов, вы кстати приехали,—обратился ко мне Васильчиков.—У нас горе. Мартынов получил известие, что его лишили обещанной награды за осеннюю экспедицию.

— Почему горе?—удивился я.—Мартынов, я тебя поздравляю! Тебя лишили награды, выходит, что тобой недовольны. Очевидно, они знают твои идеи и понимают, что ты настоящий montagnard.

Мартынов тупо молчал, не зная, как принять мои слова на этот раз.

— Montagnard,—пояснил я всем,—означает то же, что карбонарий. Друг народа.

Я сел рядом с Эмилией.

Васильчиков строго посмотрел на меня и сказал басом:

— Мы думаем, как развлечь нашего героя. Отправимся к Найтаки или будем веселиться здесь?

Мечта мученика фавора исполнилась. В мое отсутствие он возглавил общество. Все были довольны. Мартышка дулся от гордо-

сти. Эмилия все смотрела на него и шурилась.

— Эмилия Александровна,— шепнул я,— неужто стрела попала в цель?

— Простите?— обернулась она ко мне надменно.

— Берегитесь его,— сказал я тихо.— Он прекрасен.

— Если б я была мужчина,— прошипела она,— я б вас даже не на дуэль вызвала, а просто убила бы из-за угла.— И добавила громко:— Вы знаете Пушкина?

— Знакомая фамилия,— сказал я.

Майор Левушка Пушкин из-за ее плеча скорчил мне рожу. Они были похожи с Александром Сергеевичем как две капли воды.

— Это Лев Сергеевич, младший брат поэта,— сказала Эмилия.

— Пойдем в казино?— спросил князь.

— У Найтаки сегодня ужин офицеров, отъезжающих в армию,— сказал робко незнакомый мальчик.

— Юнкер Бенкендорф,— представила его Эмилия.

— И Бенкендорф с нами?— сказал я.

— Господин Бенкендорф— дальний родственник графа Бенкендорфа,— уточнила Эмилия.

— Останемся здесь, ваше сиятельство!— обратился я к Васильчикову.— Чего нам не хватает— даже Пушкин с Бенкендорфом на месте!

— Погоди, Лермонтов!— остановил меня Васильчиков.— Пусть решает наш герой.

— Я уже решил,— сказал Мартынов.— Не имеет значения, где быть, главное, как понимаешь себя сам, да, Лермонтов?

Он был настроен воинственно. Эмилия все шурилась.

— Танцуем, господа!— провозгласил Васильчиков и неуклюже взмахнул длинными руками.

Трубецкой, трезвый и злой, играл вальс.

— Мадмуазель Эмилия,— поклонился я.— Прошу вас на один тур вальса, последний в моей жизни.

— Так и быть, в последний раз пойдемте, если вы дадите слово не сердить меня больше.

Мы провальсировали круг и вернулись на наш диван.

Мартышка шел к нам пригласить Эмилию. Серьезность его была трогательна.

— Будьте осторожны,— улыбнулся я.— К нам приближается *montagnard au grand roignard*.

Как раз в этот момент Трубецкой ударил последний аккорд и слово *roignard* прозвучало по всей зале.

Мартынов подошел и сказал:

— Сколько раз я просил тебя оставить свои шутки при дамах!

Он так быстро отвернулся, что я не успел ответить.

— Язык мой— враг мой,— заметила Эмилия.

— Это ничего,— сказал я,— завтра мы будем добрыми друзьями.

Когда стали расходиться, в маленькой передней, где те же мухи звенели на стекле, Мартынов взял меня за руку.

Монго и Трубецкой ушли вперед.

— Я много раз просил тебя удержаться от насмешек на мой счет,— сказал Мартынов.

— Твои проповеди мне не нравятся,— сказал я.— Вместо пустых угроз ты бы лучше делал, если бы действовал.

В открытую дверь гостиной виден был угол рояля. Выглянули и пропали рыжая Надя с Глебовым.

— Я готов действовать,— сказал Мартышка.

— Не собираешься ли ты рассердиться серьезно и вызвать меня?— спросил я.

— Да, я тебя вызываю.

Мухи звенели на стекле.

Я подождал, думая, что он разразится обычным многословием, но он молчал.

— Когда же ты хочешь со мной стрелять?— спросил я.

— Послезавтра. Пятнадцатого.

Утром четырнадцатого, наклонившись над письменным столом, я срывал последние черешни за окном «надворного флигеля».

В комнате Монго слышались голоса. Я пошел к нему. Там были Глебов с подвязанной рукой и Трубецкой. Когда я появился, они замолчали и смотрели на меня с виноватым видом.

— Доброе утро, господа инвалиды,— приветствовал я их.

— Этот болван всерьез хочет с тобой драться,— сообщил Трубецкой и понюхал флакон с духами Монго.— Вот Глебов— уже его секундант.

— Я сперва отказался,— застенчиво улыбнулся Глебов.— Тогда он обратился к Васильчикову, тот сразу согласился, и получилось, что я поступил неблагородно, а мы живем с ним вместе, и я согласился.

— Моветон,— поморщился Монго, развращивая усы.— Дуэль на водах. Начальство узнает, зрители набегут. Сцены из «Героя нашего времени». В роли Грушницкого г-н Мартынов, в роли Печорина— автор.

Глебов вздохнул и нахмурился.

— Милый Глебов,— сказал я,— сродник Фёбов, улыбнись! Но на Наде, Христа ради, не женись!

— Мы старались уговорить его,— сказал Трубецкой.— Это невозможно. Что у вас случилось?

— Ничего нового,— сказал я.— Я по-прежнему зол, он — глуп.

— Он стрелять не умеет,— сказал Глебов.— Он глупый, но добрый, Мишель, ты бы перед ним извинился, а?

— Я готов.

— Надо его острогом пугать,— предложил Монго.— Его за дуэль в острог посадят с ворами. Он в отставке.

— Не посадят,— сказал Трубецкой,— Васильчиков-папа вытянет. Мученик пять раз секундантом безнаказанно был.

— Доставлю ему удовольствие,— сказал я.— Если ему нейдет собластить честь, обменяемся с ним двумя пулями.

Мальчики почувствовали облегчение, осталось обсудить детали.

— Кто секунданты с твоей стороны? — спросил Глебов.

— Мы с Монгой,— сказал Трубецкой.

— Нельзя,— возразил я.— Ты здесь без прав живешь, а Монго уже был моим секундантом. Засудят.

— Никто не узнает,— усмехнулся Трубецкой.— Все кончится дружеским ужином. Я сегодня шампанское закажу. Пистолеты есть?

— У нас нет,— сказал Глебов.

— У Монги есть,— вспомнил я.

— Не дам,— сказал вдруг Монго.— Я коменданту донесу.

— Прекрати!— крикнул я.— Хорош ты в роли доносчика! Я его уговорю перед барьером, он трус.

— Он требует жесткие условия,— сказал Глебов.— Стреляться в пятнадцати шагах до трех раз, ты принимаешь?

— Да, мне все равно.

— Завтра в половине седьмого пополудни на склоне Машука у Перкальской скалы,— сказал Глебов.— Мы с Васильчиковым приедем на дрожках Мартынова, остальные верхом, врозь, чтоб не привлекать внимания. Да, надо врача уговорить...

— Ах, оставь!— воскликнул Трубецкой.— Зачем врач? Ты еще телегу найми труп везти. Эта дуэль — пикник с шампанским, не более того, так Мартышку настраивай!

— А сейчас мне пора в Железноводск,— сказал я.— Ко мне туда завтра дама придет.

— Ты успеешь? — спросил Глебов.— К половине седьмого?

— Успею. Это по дороге.

Монго вылез из кровати, достал из сундука ящик и подал Глебову со словами:

— Ты вези. Мне противно.

Глебов поднял крышку. В ящике была пара кухенрейтеров.

На Английской набережной у дома Лавалей горели костры, фантастические силуэты

кучеров двигались у огня, тени швейцаров с булавами были огромны.

В душном зале стройные шеренги рекомендованных масок и дозволенно голых женских рук двигались в машинном регламенте. Огромность бала была неправдоподобна.

Зимой сорокового года Петербург был похож на город призраков. «Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены, извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней. Туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-зеленый цвет».

Седой старичок с блестящей от масла головкой, с бледным длинным лицом и глазами, обведенными красной каймой, вел меня бесконечным рядом комнат. Здесь была изнанка бала, поражающая нереальностью: комнаты шуб и спящих стоя лакеев, комнаты сотен блюд, ждущих ужина призраков, комнаты зеленого сукна, комнаты ширм уборных, комнаты сваленной горами мебели.

Музыка и жужжание бала доносились глухо, здесь было пыльно и тревожно. Слуги пробегали с бешеными глазами. На подоконнике у открытого окна таял снег, лужа растекалась на узорном полу.

— «И скучно и грустно, и некому руку подать!» — сказал мой провожатый, оборачиваясь ко мне с вольтеровской улыбкой.— Неточно! Вам грустно — просите, чтобы вам подали руку. А ваша рука никому не нужна. Все у вас неточно!

На горбу его плеч болтался обязательный на балах кусок шелковой материи — карикатура на венецианский плащ. Такая же тряпка — домино — висела и на моих плечах поверх мундира.

— Известное вам лицо просило подождать в этой комнате,— сообщил мне таинственно старичок и ушел, шаркая в сумраке.

Я был в комнате один.

В темном стекле окна, как в зеркале, я видел свое желтое лицо, тощие усы, светлую прядь волос над вздутым лбом и глаза, которые считались демоническими.

На улице близко заржала лошадь.

— У вас в России шуметь имеют право только лошади,— сказал голос с акцентом.

Я обернулся — передо мной стоял Барант, хорошенький французик.

— Будем говорить тихо,— продолжал он улыбаясь.— Я нарочно выбрал уединенное место...

— Я к вашим услугам, мсье Барант.

— Очень важно,— продолжал он.— Я здесь не как сын французского посланника, а как частное лицо, ваш знакомый. Простите, я интриговал вас, вы ждали, что придет дама?

— Ждал,— отвечал я честно.

— Удивительно, как у вас сходится. Вы желаете пребывать в гипохондрии и одновременно иметь успех у дам большого света. Страдаете от одиночества души—и не пропускаете ни одного бала. Нам, французам, представляется, что самое хлопотное занятие в мире—быть русским поэтом.

— Вы желаете говорить о поэзии?

— Об одной поэтической строфе.

— О какой строфе?

— Когда я приглашал вас в наше посольство и подружился с вами.—я именно желал разобраться, понять. Я говорю о стихах, написанных вами на смерть Пушкина.

— Господи, три года прошло!

— Я нарочно просил достать мне «Смерть поэта», чтобы понять, относится ли строфа к одному Дантесе или ко всем французам вообще. Я вам напомню: «...Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет. И что за диво: издали, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов заброшен к нам по воле рока».

— Ну и что?

— Неправда, что вы вспоминаете с таким трудом. Если б не «Погиб поэт, невольник чести», вы пребывали бы в полной безвестности. Стихи распространялись—и вышел беспорядок, а в империи, где общественный порядок основан на гнете, всякий беспорядок рождает мучеников и героев. В вас увидели борца за свободу лишь потому, что вы были высланы на Кавказ.

— Остроумно,—сказал я,—что дальше?

— Мне передали, что вы говорили обо мне так же презрительно, как писали о Дантесе.

— Я никому не говорил о вас предосудительного.

— Смеясь над нами,—продолжал француз,—вы выражаете свой русский патриотизм. Это удивительно! Как патриотизм русских соединяется с любовью к свободе?!

— Любовь к родине—не есть любовь к империи,—сказал я.

— Не вижу разницы. Если переданные мне сплетни справедливы, вы поступили весьма дурно!

— Я ни советов, ни выговоров ваших не принимаю,—сказал я, глядя, как тает на паркетe снег.—И нахожу поведение ваше смешным и дерзким.

— Вы слишком пользуетесь тем, что мы в стране, где дуэль запрещена,—сказал европейский юноша.

— Поверьте,—отвечал я,—в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и мы, русские, меньше других позволяем оскорблять себя безнаказанно.

— Нам-то кажется, что вы слишком терпеливы,—сказал он, любуясь собой.

Тут я кукарекнул петухом.

Он вздернул голову в презрительном недоумении.

— Петух пропел,—объяснил я.— Полночь. Вам пора исчезнуть.

— Насмешка—оружие тиранов и рабов,—сказал он чужие слова.—Я жду ваших секунданта.

На плечах его была такая же маскарадная тряпка, как у меня.

Утром восемнадцатого февраля мы с Монгой ехали по Парголовской дороге к Черной речке. Монго держал на коленях ящик с кухонными тряпками. Шел мокрый снег.

— Ты все хочешь, как Пушкин,—ворчал Монго.—Даже дуэль на Черной речке, но не выйдешь, как у Пушкина. Когда Пушкина пристрелили, государь помог его семейству деньгами. А тебе не поможет, да и семейства у тебя нет—одна бабушка. Пушкина все любили, а ты—бельмо на глазу.

С усов его капала вода.

— И не убьют тебя,—говорил Монго.—А за дуэль на Кавказе опять вышлют. И меня с тобой. Как человек благородный, я не могу отказаться быть твоим секундantom. И донести не могу.

Сани остановились. Противник был уже на месте.

Монго с ящиком под мышкой слез с саней и сразу провалился по пояс в снег.

Я развеселился.

Барант представил секунданта:

— Мой секундонт барон д'Андрэ.

Я сказал:

— Мой двоюродный дядя Столыпин.

Француз переглянулись. Лицо юного Баранта выразило отвращение.

— Не надо, Мишель,—сказал Монго.— Дуэль—дело серьезное.

И, точно, он, как только мы сошлись с противниками, стал вести себя чрезвычайно деятельно и торжественно.

Он подал д'Андрэ ящик.

— Мосье де Барант как лицо оскорбленное имеет право выбирать оружие и выбирает шпагу,—сказал д'Андрэ.

— Я не маркиз восемнадцатого века, чтобы фехтовать,—возразил я.

— Помолчи,—велел Монго и обратился к французам:—Но мосье Лермонтов, может быть, не дерется на шпагах?

— Как же это офицер не умеет владеть своим оружием?—язвительно заметил д'Андрэ.

— Его оружие сабля как кавалерийского офицера,—отвечал вежливый Монго.—И, если уж вы того хотите, то Лермонтов будет драться с вами на саблях. Но у нас в России не привыкли употреблять это оружие в дуэлях, а дерутся на пистолетах, которые вернее и решительнее кончают дело.

— Я начинаю замерзать,—сказал я.

— Мы настаиваем на шпагах,—заявил д'Андрэ, посоветовавшись с Барантом.

— Как угодно—только скорее!— воскликнул я.

Секунданты принялись утаптывать снег. Дело это оказалось безнадежное—снег не уминался, а только чавкал под ногами.

Тем временем Барант сбросил шинель, снял сюртук, расстегнул воротник и засучил рукава рубахи. Поглядев на меня, д'Андрэ шепнул что-то Монго.

— Мишель, раздевайся!— крикнул Монго, прыгая в снегу.

— Господа, мы неминуемо простудимся,— сказал я с искренним удивлением.

— Не будем превращать дело чести в комедию!— прокричал д'Андрэ.— Извольте драться по правилам!

Я покорно разделся и стоял, обхватив себя руками.

д'Андрэ подал нам шпаги.

Барант принялся выделывать гимнастические движения и выпады, чтобы разогреться.

Я стал писать шпагой по снегу. д'Андрэ увидел первые буквы, и брови его полезли на лоб. Монго поспешил затоптать.

— Однако пора начинать,— сказал он и отошел, скрестив руки на груди.

Мы стали по колено в мокром снегу и начали. Дело не клеилось. Француз напал на вяло, я не напал, но и не поддавался.

Монго продрог и бесился.

Барант убедился, что я плохо владею шпагой и старался меня убить. Он сделал ловкий выпад, шпага оцарапала мне грудь и руку ниже локтя. Я захотел тоже проткнуть ему руку, но попал в самую его рукоятку, и моя шпага лопнула.

Секунданты подошли и остановили нас.

— Вот кровь!— объявил Монго, показывая на мои царапины.— Вы удовлетворены?

— Вполне,— отвечал Барант.

Тут меня бес толкнул.

— А я—нет!— заявил я.— И требую продолжения дуэли по-русски—на пистолетах!

Барант сказал:

— Извольте.

Секунданты совещались. Я поспешно оделся. Барант остался в рубашке. Он сильно волновался.

Деревья вокруг нас были, как огромные сугробы—столько снегу налипло на их ветви.

— Мосье, вы будете стрелять по счету, вместе,— объявил Монго.— По слову «раз»—приготовиться, по слову «два»—цельте, «три»—выстрелить.

Нас поставили в двадцати шагах.

Секунданты зарядили кухенрейтеры. д'Андрэ подал пистолет мне, Монго—Баранту.

— Раз!—скомандовал Монго.

Мы стояли с поднятыми пистолетами. Я видел, как французик трусит.

— Два!

Барант вытянул руку и стал целить мне в лоб.

Люблю отчизну я,
но странною любовью!

Не победит ее рассудок мой.

Ни слава, купленная кровью,

Ни полный гордого доверия покой,

Ни темной старины заветные преданья

Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю—за что не знаю сам?—

Ее степей холодное молчанье,

Ее лесов безбрежных колыханье,

Разливы рек ее, подобные морям...

Проселочным путем

люблю скакать в телеге,

И, взором медленным

пронзая ночи тень,

Встречать по сторонам,

вздыхая о ночлеге,

Дрожащие огни печальных деревень...

Утром 15 июля майор Пушкин постучал в мое окно. Ужасно и смешно было видеть его такое похожее и такое другое лицо.

— Привез?— крикнул я.

— Да, да!— Он замахал руками.

Я выскочил к нему на улицу. Мы побежали к роще.

Погода была великолепная.

Железноводск—совсем деревня, он мал и безлюден, роща подымается по склону горы Железной. Скалы, колючие кусты и вольно растущие деревья являют картины дикой природы.

Похожий Пушкин был, как всегда, быстр и суетлив.

— Она с теткой в коляске,—докладывал он скороговоркой,—мы верхом с Бенкендорфом, и Дмитревский приехал—вице-губернатор Кавказа—за двенадцать верст отвлекать дуру-тетку, пока ты будешь любезничать! Ты нам должен за это ужин у Найтаки! Только объясни мне, ради бога, зачем тебе эта бедная девочка?

— А вдруг, Левушка, вдруг?

— Что «вдруг»?

— Женюсь.

— Ты?!

— Твой брат женился.

— Так он же ее любил... А ты кого в этом мире любишь?

Все ждали нас в коляске. Тетушка мне обрадовалась, Катя смутилась.

— Мишель, скажите мне, какие болезни здесь лечат?—спрашивала тетушка.

Мы гуляли в роще.

— Я вам скажу. Во-первых, желудочные: гастриты, несварение,—болтал Пушкин. Они увели тетушку вперед.

Со всеми я был весел, но, оставшись вдвоем с Катей, напустил на себя вид таинственный и печальный.

— Вы приехали... Спасибо вам,—шептал я.

— Отчего вы так грустны?—спрашивала она с участием.

Мы ходили под руку.

— У меня ужасное предчувствие,—врал я, решив больше не откладывать на потом.

— Я знаю, о чем вы думаете,—сказала она.—Об этой глупой гадалке?

— Предсказание судьбы меня не пугает,—говорил я, прижимая ее локоть.— Жизнь мне ужасно надоела...

Она хотела освободиться, поглядывая на тетушку, и, когда тетушку увели за поворот аллеи, совсем испугалась.

— Кузен, что вы так на меня смотрите?—спрашивала она.

Я увлек ее в сторону с аллеи.

— Куда мы идем?—лепетала Катенька.

Я поцеловал ее.

— Не надо,—просила она.

— Как вы похожи, как похожи!—говорил я.

Она озадаченно молчала и позволяла обнимать себя.

Коса ее распустилась, бандо свалилось, я подхватил его и спрятал в карман.

— Катя, Катя,—шептал я быстро и целовал ее.— Никуда я сегодня не поеду...

— Что? Вы должны ехать?

Я опять поцеловал ее, она уже отвечала мне и спрашивала с серьезным видом:

— Кузен, вы любите меня?

Кустарник сомкнул вокруг нас темную блестящую листву.

Катенька подвизывала косу и смеялась, отворачивая губы.

— Убежим от них!—просил я.

— Куда?

— Катенька, если б вы знали,—шептал я,—как много зависит от одного вашего слова...

— Вы опять придумываете!—отвечала она и снова смеялась.

— Катя, ау!—звала тетка.

— Ну вот...—сказала Катенька и кинулась мне на шею.

Мы возвращались из Железноводска: Катя и Обыденная в коляске, мы—верхом.

Я заставил Черкеса танцевать лезгинку.

Катя гордо поглядывала на меня.

— Мы будем обедать в колонке,—сказала она.

На перекрестке колонки под навесом стояла пушка и боевой ящик. Казак, приложив ладонь к глазам, смотрел на небо. Со стороны Пятигорска надвигалась туча.

— Дождик будет,—сказала Катя.

Мы вошли в чистенький домик.

— Гутен таг, милейшая Анна Ивановна!

— Добро пошалофать!—кланялась хозяй-

ка-немка.—Милле! Гретхен! Бистро, бистро!

Две молоденькие прислужницы стелили крахмальную скатерть, носили милых и бутерброды. За кустами акации два пехотных офицера стерегли их на дворе. Когда девицы выбегали на кухню, со двора слышались визги и хихиканье.

— Кушайте, кушайте, фсе свежее,—улыбалась хозяйка.

В туче над Пятигорском сверкнула молния. Пушкин, болтавший беспрестанно, умолк. Предгрозовая тишина сковала воздух. Тетушка обмахивалась веером.

— Который час?—спросил я.

— Пять часов,—сказал Пушкин.—Куда ты собрался?

Я стал прощаться.

— Кузина, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни.

Туча надвигалась как беда. Тоска сжала сердце. Ожидание—страшнее того, что ждет, я предпочитаю идти вперед.

— Мишель, грозу надо переждать,—сказал Пушкин.

— Куда вы?—смеялась Катенька.— Смотрите!

Туча закрыла солнце.

Я несколько раз поцеловал Катеньку руку и уехал.

Казаки беспокойно расхаживали по площадкам на своих вышках. Приближалась гроза.

Я погонял коня, дорога вилась между кустарниками и спускалась в овраги. Я скакал навстречу туче, ветер дул в лицо. Упали первые капли, я въехал в дождь, но это было лишь начало, предвестник ливня, обрушившегося на Пятигорск.

Мартышка, Васильчиков и Глебов ждали меня на дороге.

— Где Монго и Трубецкой?—спросил я у Мартышки.

Он не пожелал отвечать.

— Наверное, дождь задержал их,—сказал за него Васильчиков.— Будем ждать?

— Надо ждать,—вдохнул Глебов, болезненно морщась и придерживая раненую руку.

Васильчиков и Мартынов отъехали в сторону. Васильчиков что-то доказывал Мартышке, тот кивал головой.

— Рука?—спросил я Глебова.

— На погоду,—он улыбнулся, показывая, что все—нипочем.— Миша, поговори с ним. Меня он не слушает.

Я подъехал к Мартынову и спросил:

— Мартышка, зачем мы тут мокнем?

Он повернулся ко мне спиной.

— Лермонтов, есть правила,—обиженно загудел князь,—коли желаешь мириться,

проси прощения, но только в присутствии своих секундантов.

— Пошел ты...—сказал я мирно.

— Сам пошел,—сказал он басом.

— Не желает?—спросил встревоженно Глебов.

— Успеем помириться,—сказал я.—Это не беда, а вот беда, что надо будет отправляться в отряд, к осени пойдем в экспедицию, а из экспедиции когда вернемся? Отставки не дают. А у меня план двух романов.

— Глебов!—позвал Васильчиков.—Мы пока можем выбрать место.

— Без секундантов? Нехорошо!—отозвался Глебов.

— Не тяни, Баронесса! Давай скорей!—сказал я.

Дождь был дрянной, как в день нашего приезда.

Тропинки петляли в кустах.

Мне надоело ходить.

— Здесь хорошо будет,—сказал я.

— Дождь в глаза бьет, видно плохо,—пробурчал Мартышка.

— Станьте боком к дождю,—показал Глебов.

— Так—они на уклоне,—возразил Васильчиков.—Один выше, другой ниже.

— Я вниз стану,—предложил я,—мне все равно.

— Господа!—крикнул Глебов.—Мы все делаем против правил! Нет секундантов Лермонтова. Нет врача, коляски, дождь идет! Так стреляться нельзя!

— Почему нельзя?—опять обиделся Васильчиков.—У противников равные шансы. Пусть они решают.

— Князь, ты—арбитр,—сказал я.

— Можно сделать так,—предложил Васильчиков.—Глебов будет твоим секундантом, я—Мартынова, отмерим барьер, а там, глядишь, твой секунданты появятся.

Глебов растерянно смотрел на него.

— Отмеряйте барьер,—сказал Мартынов.

Мне показалось, что он больше не сердится на меня, но говорит механически, словно исполняя чужую волю. Я улыбался, думая, как бы мне развеселить его, чтобы он проснулся.

Справа черная впадина тянулась к нам с вершины Машука, словно стрела указывая нашу поляну, окаймленную кустами, слева за деревьями торчала Перкальская скала, вся в белых лишаях на местах вынутаго камня. Дождь усиливался.

Глебов и Васильчиков отмерили барьер в пятнадцать шагов и кинули по концам по фуражке, потом от этих шапок еще отмерили в обе стороны по десять шагов и на концах тоже поставили по шапке.

В траве под потоками воды лежали две фуражки, шляпа Васильчикова и папаху Мартынова.

Мы с Мартыновым стали на крайних точках.

— Эй, Лермонтов, где вы?—раздался крик Монго.

— Мы здесь!—отозвался Глебов.

Появились Монго и Трубецкой.

— Нас дождь задержал,—извинился Трубецкой.—Я вижу, зрители тоже дождя испугались?

— Какие зрители?—обиделся Васильчиков.—О дуэли, кроме нас, никто не знает.

— Дело сделано,—сказал Монго, увидев на траве шапки.

Большими шагами он прошел между шапками и отбросил ногой папаху, увеличив расстояние.

Заслонившись шинелью, секунданты заряжали пистолеты.

Мы с Мартыновым ждали. Впервые сегодня я видел его лицо.

Он пристально смотрел на меня, словно желал, чтоб я сказал ему что-то важное.

Васильчиков подал мне знакомый кухенрейтер. Глебов дал пистолет Мартышке.

— Господа, стреляйте, шампанское ждет!—крикнул Трубецкой.

У него и у Монги были ружья и ягдташи—в городе должны были думать, что они на охоте.

— По сигналу «сходись» вы подходите к барьеру и стреляете,—объявил Васильчиков.

— Я готов просить прощения,—сказал я.

Мартышка покачал лысой головой. Белая одежда его промокла и почернела.

— Сходитесь!—сказал Васильчиков.

Мы сошлись к барьеру.

— А может, лучше—на кинжалах?—сказал я Мартышке тихо.

— Стреляй!—дико крикнул он.

Я выстрелил на воздух.

— Вот и слава богу,—сказал Трубецкой,—теперь ты, Николай...

Мартышка, подлец, зашел за барьер, приблизился ко мне и нажал курок.

Я упал и видел небо.

Дождь лил мне в открытые глаза. Мартынов наклонился, заслонив бегущие в небе облака, и поцеловал меня. Я еще не умер.

Меня накрыли шинелью.

Дом был полон звуков: звон посуды, быстрые шаги, окрик, пощечина, хлопанье дверей.

31 декабря 1835 года за окнами стлыла снежная пустыня двора. Выла метель, ветер раскачивал тополя, яблони и далекие ветлы. По двору к дому черной толпой шли крестьяне.

В камине пылал огонь. Масло плавилось на горячей булке, тускло блестели соленые рыжики, искрились желтые и розовые гра-

фины, светился мед. Тарелка перед бабушкой была пуста.

Мы пили чай в гостиной за круглым столом.

— Я, как деревянная, от радости,— говорила бабушка.— Ты приехал. Первый Новый год в радости!

Она плакала.

— Ешь, Мишенька, ешь!..

Я был корнет лейб-гвардии гусарского полка. Все было впереди.

— Я послала за попом—служить благодарственный молебен. Ешь, Мишенька... Я всякий час ждала тебя, я счастлива и, истинно, мой друг, забыла все горести и со слезами благодарю бога, что он на старости лет послал в тебе мне утешение...

Мужики за окном шли и шли.

— ...Лошадей тройку тебе купила, и, говорят, как птицы летают, они одной породы с нашей буланой, только черный ремень на спине и черные гривы...

Мы вышли из дому к церкви. Она—в двух шагах от дома, маленькая церковь Марии Египетской, в память матери. На двух тополях висела доска качелей и сугроб на ней.

Пространство между церковью, домом и обрывом над прудом—невелико, и здесь в снежных горбах над клумбами теснилась черная толпа мужиков, не поместившихся в церковь.

Они расступились передо мной и кланялись в пояс. Сердце сжималось от звериной нищеты их одежд из шкур и бересты, от светлого привета в знакомых глазах. Они благодарили и целовали мои руки.

За что?

— Узнаешь, Мишенька?—спрашивала бабушка.

Я узнавал трещины морщин, провалы ртов, свет глаз.

— Помнишь, мальшом, этому ты велел солону на крыши дарить...

— Помнишь, этот кирпич на печку присил—ты велел дать...

— Помнишь, этого сечь вели, ты не пустил...

Я не помнил.

Крутила метель.

В церкви запели. Ревели стройно басы, сливались в серебряной чистоте голоса баб. Каким чудом эти звуки родились в черной, зажатой страхом толпе?

Большие кирпичи церкви были самодельные, иконы просты.

— Останься с нами, Мишенька,— говорила бабушка.— Здесь тебя любят... Что тебе в Петербурге?

— Я останусь,—решил я.— Мне только бы в отставку выйти.

В маленькой церкви пели. Звуки были светлы и радостны. Бабушка плакала.

В марте надо было ехать.

— Прощай, Мишенька!

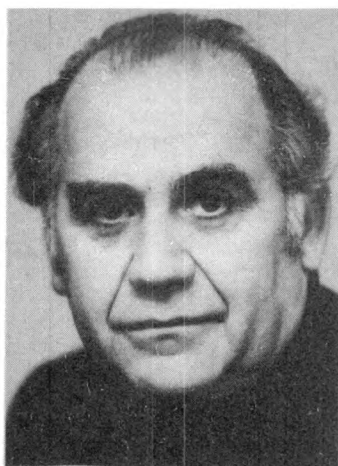
Бабушка крестила воздух.

— Поезжай, о нас не печалься, как-нибудь проживем, только себя береги!

Наш деревянный дом и двор остались позади, тройка взлетела на плотину—влево, опять влево—на Бугор, избы, крытые соломой, думы, черные бревна, слепые окна, лай собак...

Открылось поле без конца и краю. Бренчал колокольчик, ремни скрипели, стучали копыта. Я люблю дорогу—там, в конце пути, все будет иначе, все будет иначе... Свистели полозья, мучила надежда. Снега были чисты, дорога весела.

1976 г.



ЛЕОНИД АБРАМОВИЧ ГУРЕВИЧ (родился в 1932 году) окончил химический факультет Воронежского университета. В кино работает с 1958 года. Режиссер, критик, драматург. По сценариям Леонида Гуревича поставлено более семидесяти документальных и научно-популярных фильмов, многие из которых удостоены премий всесоюзных и международных кинофестивалей. Среди них «Сердце», «Пока есть кедр», «Мравалжамьер», «Олимпийский прицел», «Почин», «Крестьянский сын», «Человек из Очамчиры», «Сделайте меня красивой» и другие.

ЛЕОНИД ГУРЕВИЧ

Сценарии документальных фильмов **ЕСТЬ НАД ЧУЕЙ-РЕКОЮ ДОРОГА...**

Туман.

Он сползает откуда-то сверху, с седловины Семинского перевала. Там, наверху, идет дождь. Или снег, или и то и другое вместе... Машины преодолевают семинский «тягун», стараясь идти колонной. Слишком близко — опасно. Откажут тормоза у той, что впереди, — не успеешь сманеврировать... Слишком далеко — отобьешься от стада: случись что нехорошее — кто поможет?

Щетки «дворников» гоняют мокрую грязь по стеклам. Руки держат «баранки» прочно. Руки с обломанными черными ногтями, иные — с наколкой... Крутят дверную рукоятку, опускается стекло. Становится чуть виднее: лесной урман справа над обрывом, гнилой, болотистый... В слежавшемся сером снегу или в воде по колено стьнут ободраные сосны, ольха, орешник.

Надвигается, проступает из тумана безымянный неказистый обелиск — жестяная

пирамида на обочине. Ложится ладонь на кнопку сигнала. В сыром воздухе звук глухнет быстро...

Туман сползает с вершин сосен. Фары включены, но свет вязнет в водяной губке.

— А кто его знает, — молодой шофер отвечает без особой уверенности. — Говорят, Колька Снегирев тут скапотировал!

Одна, другая, третья машина сигналият на разные лады — кто басовито, кто дискантом, — проходя мимо обелиска... Цистерны, «КраЗы»: «КамаЗы». Руки на кнопках сигнала. Лица тех, кто сигналиит.

Тихо вступает, вторя гудкам, гитара. Знакомая мелодия.

Сквозь пелену тумана проявляется название фильма: «Есть над Чуей-рекою дорога...»

А этот сигнал звучит непривычно: старомодный голос клаксона. Не то «уйди-уйди», не то «матчиш». Дядя в летах, нажавший «пипку», довольно смеется. Улыбаются и его приятели: кто беззубой, а кто сплошь золотозубой улыбкой.

Странная собралась тут компания и по

Фильм по сценарию «Есть над Чуей-рекою дорога...» ставится на студии Новосибирского телевидения режиссером В. Соломиным.

странному поведению. Кому за шестьдесят, а кому и под семьдесят... В промасленных куртках, в картузах, кому жарко — распахнулся до исподнего. Седые все, если не лысые, как колено. Руки мослатые, хваткие. Лица — хватившие и ветра, и солнца, не ухоженные ежедневным бритьем, тем более лосьоном... «Старая гвардия» — пенсионеры-шоферы, ветераны Чуйского тракта. Может быть, Николай Думнов, Киприан Субботин, может, Алексей Попов или Кулаков Константин, или безногий дядя Саша Сапцын — кого соберем, кого заинтересуем...

Вот и предмет интереса — старый «зисок» — «ЗИС-5». На зеленой траве, подле дощатого забора, в чьем-то не перекопанном под картошку уголке, в бийском Заречье. Постарее машину теперь не найти: ни «форда», ни «АМО». «Зисок», конечно, на тракт позже пришел, но по нынешним временам и он на мамонта смахивает. Такого «мамонта» и надо бы найти, а потом перебрать, обновить — марафет навести да на ход поставить. Что с ним в итоге сделать — на постамент ли поднять, на трассу ли выпустить — разберемся. Но, понятное дело, лучше других справят работу ветераны, кто поездил на нем в тридцатые-сороковые. Вот и собрать такую бригаду: чтоб неторопко, со знанием делали свое дело. Развинтили бы, да перемыли в керосине, да отшкурили, прошпаклевали, каждую деталь обиходили. А потом и собрали бы.

А пока бы они это делали — на траве, на самодельных козлах, с простым подъемником — талью, — наверное, нашлось бы немало что им рассказать, а нам — о чем поспрошать.

Так и выглядит наша первая затея, пока фильм складывается, — машину отладить и истории заснять и записать. Главным образом, про Кольку Снегирева (и про Раечку) — из той самой шоферской песни:

В профшколе встретились
шофер и комсомолочка,
И Кольку знали все по бийским гаражам,
Стрелой носилась у Коли полутоночка,
Он был примером
многим бийским шоферам.

...А был ли Коля? И какой он был?..

Играет гитара позабытую песню, шкурят крылья, крутят болты старики. Дядя Костя Кулаков — так тот просто считает, что выдумали все трепачи. Просто «шоферня» хорошо зарабатывала, как в ресторан придет — эту песню заказывает... Ну, а дядя Киприан Субботин говорит, что Кольку лично знал, отчего же не рассказать:

— Вот было однажды...

Попробуем нащупать в этих рассказах начало нашей нити, по которой пойдём в

лабиринт, на поиски: как сложили песню да про кого ее сложили. Бль? Легенда?..

А на случай, если не окажутся словоохотливыми наши старики или не смогут многого вспомнить, вот что сделаем: дадим в бийской газете и по радио объявление. Что, мол, просим собраться — кино снимают! — всех, кто знает, как сложили песню (ее и сегодня поют!), и кто знает Кольку и Раечку. Примерно так...

Думается, немало придет людей. И мы снимем и запишем их рассказы — самые интересные и неожиданные.

И станет нам ясно, что пока ничего не ясно... Была такая любовь — это точно. А когда — сорок или пятьдесят лет назад, разобратся надо. А кто конкретно кого любил — пяток версий и столько же имен. И погиб — в Катунь, или в Чуе — или вообще не погиб — тоже, разберись попробуй!

Но главное — была любовь. И дороги шоферские, лихие и тяжкие, были.

Они и сейчас такие... Подъем на Чикет-Аман станем снимать в снегопад или гололед, в какую ни на есть непогоду. «КрАЗ» спереди — с тросом, «КрАЗ» — сзади, а в середине тяжкий трайлер с экскаватором на нем... Колодки раскалены. Порвет тормоза — костей не собирать.

Извивы Чикет-Амана голые и мрачные. Каменистые осыпи, серая галька. Богом забытое место — ни деревца. Впрочем, вот они — обугленные черные стволы: ни хвоя, ни ветвей. И в самом деле — пожар прошел?

А вон черный ствол, где сучьев побольше, — так они все в завязках лоскутков и тряпок. Поверье — «пронеси, господи!» Какой господь — мусульманский, православный — не о том речь. Тут все язычники, когда и слева и справа откосы в пропасть, а лед песком посыпать некому.

Там внизу — хочешь, присмотришь! — лежит ржавый скелет «КамАЗа». Сюда же карабкался, по этим «серпантинам».

Обмотаны цепями колеса. Трескается под звеньями цепи корка льда...

Открыты двери кабин: профессиональная предосторожность, может понадобится... Не дай бог — понадобится!

Буксуют колеса... Летят из-под них комья грязи и льда. Снег идет все гуще, но льда на дороге ему не покрыть.

...Пробка на перевале. Лента машин тянется на километры. Там, возле первой, заглухой, клубится шоферский консилиум. Кто-то уже лежит на ватнике под передком. В снегу или в грязи или в воде.

И вот — тронулись колеса метр за метром... Крутанулись «баранки», обвитые шнуром и блестящей проволокой, одетые в мех и кожу.

Пошла колонна.

Ветер шевелит лоскутки на обугленных сучьях. Простирают вверх обожженные черные руки стволы...

Тот водитель в порядке, кто доберется к ночи до заезжего дома. Домов на тракте немало, и по-разному они смотрятся, порой и неприглядно. Но везде можно худо-бедно отмыться, отогреться, перекусить и поспать до рассвета.

В печке жарко горят дрова, а то и уголек. Умывальник простой—подбивай сосок ладонями, но зато и горячей воды можно подлить. В задней комнате десяток-полтора кроватей под серыми одеялами; в передней—длинный стол, поесть-попить. Везде радио кричит, а где побогаче—телевизор.

Но телевизор—потом... С мокрыми волосами, расстегнув ворота, скинув телогрейки, они достают и складывают на стол, «в общий котел», свой припас. Кто хлеб, кто картошку, кто рыбу-таранку... Горячий чай, ощущение освобождения—отпускает понемногу!—развязывает языки. Тут едва толкнуть разговор—он пойдет, покажется, если только не вконец измотался за день народ.

И услышать тут можно истории удивительные: и героические, и лукавые. Например, даже Пушкин, оказывается, из-за границы возвращаясь (!), родную землю по дикой тряске экипажа узнал. Совсем, как чуйские шофера за Кураем... Так что и «мюнхаузену» есть тут свои, и «деды Шукари», а есть и просто бывалые люди. Чего только не случится на такой дороге, где «от Инюшки до Ядрушки—триста тридцать три вилюшки!»

— Отказали тормоза. Говорят, прыгай!.. Не прыгнешь: сто двадцать в час, вниз и вниз! Слава богу, ни одной встречной... Домой вернулся, жена говорит: ты почему седой?

— Петро водку вез—перевернулся. Четыре дня потом весь тракт проезжал, принохивался!..

— На вольфрамовый рудник, в Колгуты шел... Минус шестьдесят градусов. Под лед нырнул, торчком стал... С двенадцати дня до двух ночи над водой лежал в кресле. Не мог вылезти! И все приемник играл... Трактор пришел, вынули меня, стакан спирта дали и круг колбасы... Ноги вот по сю пору кровят...

— Июнь был, а снег пошел. Буран! Машинной сугробы били. Капотом! То я, то сменщик... Солярку везли, на Акташе бутить нечем было.

— Кошкин Васька—четыре раза в Катунь падал. Живучий, черт!

Кипит который уже чайник, а то и самовар. Второй раз выходит на мороз прогреть всем моторы здешний «прогреваль-

щик»—бывший шофер, на пенсии теперь... Машинны заводятся трудно. Пар изо рта, пар от радиаторов.

А в заезжей все не наговорятся. Нам бы тут и про свое услышать, направить разговор в нужную сторону. Кто его знает, как...

Как же откликнется на песню нынешняя молодежь? Сегодня на дорогах рулит все больше народ под тридцать или чуть за тридцать. Есть и постарше—к ним все с уважением. Дядя Ваня, например, Шуваев из «Совцветметтранс»—как старшина в роте. Ну, а другие, скажем, Саша Сатонин или Саша Вяткин—из той же конторы? Эти недавно женились, едва детишек нажили. «Что им Гекуба?» Что берedit, и берedit ли хоть что-нибудь в них старая песня?..

А вот в этих молодых ребятах? Тоже ведь шоферское семья!

...Мы хотим найти в Бийске театральный кружок. Обычную самодеятельность: не лучше и не хуже других. Но хотелось бы в шоферском клубе. И хотим взять в союзники руководителя такого кружка: чтобы предложил он своим ребятам поставить на сцене—в лицах!—старую шоферскую балладу. Да-да, ту самую. Про дорогу над Чуєю-рекою, про лихого шофера с «АМО» Кольку, про «шоферницу» Раечку... Ту, что водила зеленый «форд» и накликала беду, когда поддразнила:

Если «АМО» «форда» перегонит—
Значит, Раечка будет твоя!

Тут ведь возможен спектакль: и музыка доморощенного ВИА, и мелодекламация в лицах. Дар памяти, ностальгия по времени храбрецов и романтиков. А если так, то надо отбирать кандидатов на роль Кольки Снегирева. Поглядим, как это будет...

— Ну, а как ты Кольку представляешь?—спросит худрук. И некто с усиками и в веснушках попытается сказать, что был, мол, смелый. Гонял, как ас... Ну, красивый, наверное, был (а девчонки, свои, кружковские—тут же засмеются).

А другой, безусый, «Фома неверящий», скажет, что зря, не надо делать этот спектакль. Никакой такой любви не бывает.

А третьему даст худрук гитару: ну-ка, спой, ты же умеешь! Вроде бы ты—Колька Снегирев. Этюд такой, понимаешь?..

Он и запоет:

Полюбил крепко Раечку Коля
И всегда, где бы он ни бывал,
Средь просторов Курайского поля
«Форд» зеленый глазами искал.

Дороги, дороги... То скалы, то обрывы. Тугая вода Катунь внизу. Старые кедры в облаках на перевале. Гривки берез на даль-

них гребнях. Суслики шмыгают из-под колес, птицы взлетают... Лес внизу, лес вверху... И снова откосы, обрывы — иobelisks,obelisks...

Камни, пирамидки, со скамеечкой, без... Безымянные все больше. Над Семей, над Катунью, над Чуйей... «Кусаковский поворот», «Кошкин Бом»... Белые, голубые, черныеobelisks.

Нет, не лихачество, не неосторожность. Тракт требовал мужества, таланта от тех, кто его осваивал. А значит, требовал риска.

Вот они — покрышки стертые: по кюветам и под обрывами.

Вот они — остовы машин, совсем ржавые и новенькие еще.

Вот они, знаменитые места на дороге: бомы — полочки, мост навесной, первый в этих краях красавец, селения вдоль тракта — тоже из песни: Иня, Курай.

Страна Шоферия!

...Звучит гитара...

А вот и начало тракта. От парома (через Бию) первые десятки метров выложены брусчаткой: складное такое, чистое покрытие, только временем изрядно потертое. И в скале выбито: «По распоряжению Томского Губернатора... 7 мая 1901 года... приступлено к устройству Чуйского колесного пути...»

Замелькали, надвинулись из глубины времени старые фотографии. Подводки и экипажи на тракте, конная тяга, а то и верблюды, а вот и первые авто, и первые водители — в шлемах и очках, «кожаных» и крагах, кумиры времени, люди романтической профессии. За рулем, или на валуне над свалившимся в воду авто, или на парадном фото. И везде — белозубые улыбки!

Страна Шоферия!

Разные знавал времена тракт. И мирные, и бурные... Заново, под автомобиль, перекрывали гужевую трассу новыми гатями и щебенкой люди подневольные. И носил ромбы в петличках начальник строительства. И газета «За темпы» поменяла имя, стала «На страже». И рапорт на имя Сталина и Кагановича о сдаче тракта не одни стахановцы и ударники, но и «Сиблаг» подписывал.

На труде и поте встала та дорога, да не на них одних...

Эх, страна Шоферия!

А в июле тридцать четвертого пошел поехал по новенькому тракту автопробег: те самые «ЗИСы-5»! И если поискать в хронике, то найдутся, пожалуй, эти кадры: кургузые грузовики и улыбочивые парни в шлемах — жмут на педали: «Наш марш!»

...А вот и нынешнее бийское Заречье: что ни двор — водителеские династии. Милешины, Зыбины, Чичаковы, Лошкаревы. Деды легли в землю на шоферском кладбище. Внуки уже шоферят.

Кто знает, может быть, нам повезет?

Тесть Саши Сатонина, уходя на пенсию, снял со своей машины рулевое колесо — от «Студебеккера» еще, с военной поры. И переставил зятю на «ЗИЛ-131». Тут так принято: руль по эстафете передают. Не просто «баранку»; а правило жизни.

Может, и при нас в какой-никакой династии уйдет «дед» на пенсию?

Нам бы снять это — без помпы, без фанфар. Просто «дед» и сын возьмется в кабине. Одно колесо рулевое сняли — другое ставят. Да еще внученок под ногами путается, пассатижи подает.

Готово, встал штурвал! Можно ехать!

...Там, в Заречье, прямо возле тракта, на глухой стене одного из шоферских домов — от крыши до земли — нарисовал какой-то романтик карту-схему тракта.

Наивный и прекрасный в своей простоте чертеж: можно ехать!

...Двинулась под колесами брусчатка, побжал асфальт, поспешила грунтовка...

Звучит гитара.

Между тем, у наших «старичков» дело двинулось. Уже не «раскуроченный» на куски, а в сборе, так сказать, стоит «ЗИС-5». На всех четырех. Правда, в пятнах шпаклевки кузов, и не одеты еще крылья, и с движком возни много...

А при интересном деле и сами водители-пенсионеры как-то «оживели». Недели две вечно прошло — а глаз уже иной. Тут уже и весна берет силу: тепло, зацветают сады. Работают в майках, и видно, что не отняла пока природа у мужиков ни разворота плеч, ни коренастости шоферской. Шутки чаще, контакты теплей, воспоминаний больше...

Может, кто-то притащит добытую из сундука шоферскую амуницию. И пойдет она по рукам, станут, посмеиваясь, примерять мужики шлем, краги натягивать. И разговор веселей станет.

И куда же мы продвинулись в нем? Кажется, все-таки сошлись, что такого Снегирева Кольки «в природе не было». Но, в общем, конечно, с кого-то «списали» для этой песни. Как это у писателей говорят, прототип, что ли?.. А кто «писатель» — тоже не знают... А списано — вот Думнов считает, что с Лошкарева, помните?..

— Да с какого Лошкарева, он и ездить-то стал с тридцать восьмого года! Это все с Петра... Ну, как же его фамилия?..

А Кулаков Константин Николаевич, ежели войдет в раж, так и признается, может быть, что с него та песня списана. Нет, в Чую он не падал, а любовь, может, и была — не для всех речь. А ездил — хорошо!

...Если повезет — откроется нам тут спектр всех человеческих эмоций: от тщеславия и большого самолюбия до самоотвер-

женной преданности друзьям. И от скепсиса — до веры.

Уж скептик тут обязательно будет: чего болтать-то? Итак расплодилось этих любителей приврать да приукрасить! Песни сочинять! Давайте работать, мужики! Шоферское дело — вкальвать, а не песни петь.

Что ж, еще раз снимем это «вкальвание». На сей раз где-нибудь на куске дороги, может, и не на самом трудном, но самом опасном. Где-то на Белом Боме.

...Отвес, скала — внизу Чуя. Туда лучше не глядеть, но будто притягивает. Вот эти кадры: с лица водителя — на окно, и вниз, за окно: подножка кабины — над обрывом. И снова на лицо водителя. Жарко... Пот льет, глаза застилает...

Серпантин тут крутой и узкий. Скорости переключать приходится часто... Ревет движок. Гудит коробка передач... Ползти надо на первой, волочиться не спеша. Тут не разгонишься... А если встречный сползает сверху? Разъедешься — и тогда обмен гудками: салют — привет! Спасибо, мол, дождался, пропустил! Еще и крикнет: «Привет, Вася!» Или нужное что-то, деловое, бросит: «Бочку пустую мне в Акташ прихвати!»

А есть места, где, встретившись, не разъехаться... И тогда скрежещет коробка: включай заднюю! И пятится, пятится вниз до разъездного пятачка та машина, что шла вверх, а нос к носу с ней, на тормозах, съезжает вниз верхняя.

Добрались... Разъехались: капотами в разные стороны. Можно постоять минутку. Поговорить: из кабины в кабину — не вылезая — перекурить. Недолго: грузы не терпят. Передать приветы: он в Бийск, а ты — в Ташанту. «Бывай, поехали!»

...Если снять Белый Бом из долины, с того берега Чуи, — букашки на ленте дороги: высоко, круто... Если снять из машины — Чуя ниточкой смотрится.

Там, где дорога начинает подъем на Белый Бом, поставил кто-то толковый плакат:

«Помоги товарищу в беде!

Не ловчи за счет другого!

Не трепись — делай!

Помяни добрым словом хорошего человека».

И подпись: «Василий Шукшин, «Любавины»».

Помянем. Помянем 120 бийских шоферов — целый автополк, ушедший с Чуйского тракта на «Военно-автомобильную дорогу № 101». В ноябре 41-го колонна грузовиков «ГАЗ-АА» пошла по «Дороге жизни», через дымящиеся воронки во льду Ладогои.

Туда — хлеб, оттуда — прозрачных детей.

Бомбежки и артобстрелы, машины, уходящие в полянюю.

Может быть, сохранились кадры хроники, может, фотографии в Бийске сохранились? Кто-то из чуйских шоферов погиб там, на Ладого, кого годы здесь унесли... 54 их было — почетных граждан Ленинграда. Кочин Иван Васильевич — под 70, старейшина ветеранов «Дороги жизни», недавно вот умер: по-мужски, по-водительски — в парной бане...

Но есть кому вспомнить: может, Манаеву Михаилу, Ялунину Борису.

Ползут по ночной Ладого машины с потуженными фарами. Туда — хлеб, оттуда — прозрачных детей.

Мелодия знакомая, алтайская возникает. Что с того, что когда-то для салонного романса «Коломбина» ее сочинили? Забыт тот «первоисточник», а на войне, на Ладого, она была своя...

— Есть над Чуей-рекою дорога...

Перебирают фотографии ревматические, узловатые пальцы. Фронтные «фотки», присланные домой, и тыловые — с тракта на фронт: жены, подруги. Сорок с лишним лет назад: и прически, и наряды не те... Но то же самое, вечное обаяние женственности.

— Ну, а Раечку кто хочет сыграть? Ты, Галя, как ее представляешь?

Девочки из драмкружка молчат. Впрочем, смущение недолго.

— Ну, наверное, боевая была...

— Это понятно. А еще какая?

— Красивая! Раз из-за нее так убивались!

— Озорная!

— Кокетливая!

— Дерзкая!

— Заводная!

Определения теперь сыплются наперебой.

— А внешне, вы думаете, какая?

Кто-то из девчонок уже показывает, как ходила Раечка, кто-то описывает и челку, и берет. Берет должен быть надет кокетливо: «фик-фок на один бок». Вот так...

Очень немолодая женщина сидит перед нами. С непокрытой головой, скромно, даже скудно одетая. Но не горькая, а наоборот, смешливая даже.

Пенсионерка Юлия Крюкова. Одна из первых женщин-водителей на Чуйском тракте.

Пусть простят блюстители нравов — место для этого эпизода выберем мы не в ладу со временем. Будем снимать Юлию Крюкову в бийском ресторане, в самом лучшем, где играет по вечерам оркестр. Наверное, сами мы с ней окажемся за столом, а может, и те девчонки из драмкружка... Те, кому интересно узнать: какие они были, тогдашние «Раечки»?

Почему ресторан? Да, конечно, не ради бутылки шампанского. А ради песни, которую по заказу для нас, а—главное!—для водителя Юлии Крюковой сыграет—быть может, и не очень в лад—ресторанный оркестр.

Есть над Чуйе-рекою дорога,
Много ездит по ней шоферов.
Но один был отчаянный парень,
Звали Колька его Снегирев.

Они будут играть, Юлия и девочки слушать... Может быть, и не вызовет песня особой растроганности у старой женщины: привычно. Но может быть и иное...

Нам хочется, чтобы вспомнила Юлия, как играли им эту песню после тяжелых рейсов. Чтобы вспомнила она и про Раечку и про Колю—если были такие! А самое важное—чтобы вспомнила молодость и любовь.

Вот они на фотографии: первые королевы Чуйского тракта Юлия Крюкова, Аня Ренгольд, Маша Панкова, Маша Бойко, Паша Свириденко.

Грустит виолончель в ресторанном оркестре.

...Черненькие, русые, коротко стриженные, в шлемах, за рулем, в городской фотографии (виньетка вокруг), с гаечными ключами в руках—«Бригада слесарей».

Лица ясные, открытые...

Может, голос Юлии Крюковой вплетается, а может быть, текст письма Маши Бойко:

«...Некрасиво получается ставить нас в пример молодежи, что, мол, люди работали по двое суток, по трое, не спавши, не жравши, не было когда и умыться... Да, я забывала о своих детях, не было мне и доглядеть когда. Так и восхвалять попусту не надо...»

Подпевают виолончели скрипка—ресторанная сентиментальная скрипка.

А на этих фотографиях они рядом с любимыми мужчинами: первые семейные фото, полные надежд молодые лица.

Была, была любовь! Как бы тяжело ни было... Настоящая—что бы там ни бормотали скептики!

Они еще звучат, эти скрипки—в ясное весеннее утро над трактом. Еще не спала вода в широкой Бие, и здесь, на городской окраине, алтайская весна в садах намекает на свою царственную красоту там, в горах, куда уходит тракт.

Возле стайки девушек у дороги—кто в форме стройотряда, кто в гражданском—нет, нет, да затормозит тяжелый «КрАЗ» или «ЗИЛ», распахнется дверца... Разговор недолгий, «поторгуются», прояснят... Редко когда захлопывается дверца. Чаще протягивается из кабины рука—за чемоданчиком, а

вот и за самой попутчицей. Хлопнула дверь с трафаретом: «Пассажиров не брать». Потянулся «ЗИЛ» в гору.

Постоишь еще и увидишь порой и иное: как тронется грузовик с попутчицей, а пройдя метров 50, вдруг станет. И выскочит пулей девчонка с чемоданчиком в руке. Всякое бывает...

Но чаще того постоишь и дождешься: никого не останется в ожидании попутных на том повороте, подальше от ГАИ.

Они часто знакомятся в кабинах на Чуйском тракте: парень и девушка. Водитель и попутчица. Шофер и подруга.

Не станем ханжить, не будем пуританствовать. Попробуем снять несколько пар в дороге, в самых разных оттенках отношений.

Первые часы пути: приглядка, молчание...

Разговор, улыбка, смех...

Болтает без умолку раскосая попутчица—«алтаечка». Водителю только успевать слушать да «баранку» крутить.

Уплетает преподнесенный бутерброд девушка, косит глазом довольный шофер.

И снова молчание—совсем другое, взрывчатое.

А вокруг—за опущенными стеклами кабины—волны черемухи захлестывают долину Катуня. Свежая зелень берез по-особому нарядна на фоне зеленой темноты елей. А вся земля—не зеленая, а желто-голубая от пролесков и бог весть каких еще цветов.

Весна!

Мы поговорим с девушкой:

— Скажи, ты почему с ним едешь?

— Нравится, вот и едзу.

— Он нравится?

— И он тоже...

— А ты ему?

— Это вы его спросите!

— А может, у него жена в Бийске?

— А это его дело.

— А если—ее?

— Да он только подвез, а вы уже!..

— Но он звал и обратно поехать?

— Звал... Я сама не захотела.

— Испугалась?

— Ага... Привыкла бы еще больше...

И с парнем:

— Одному-то скучно ехать. А с девушкой—поболтаешь, все веселее. Дорога короче. Если понравится?.. Все бывает, может, и жену так найду!

Нет ничего хуже, чем придумывать такие диалоги. Впрочем, зачем придумывать—слышали мы такое. Но спросить заново надо. Ответят наверняка интересно. А если и не захотят отвечать—все равно интересно, как они «не захотят».

Но об одном ответе надо позаботиться заблаговременно. Очень повезло бы нам,

если кто-то из молодых шоферов—автобаз в Бийске немало!—женился бы накануне наших съемок. И вопреки всем служебным запретам повез молодую жену: показать «свой» тракт, свою работу.

— Скажи, ты почему с ним едешь?

— А я его жена.

И две улыбки в камеру: что, не вышло у вас?

Они не догадываются, что у нас, наоборот, все «вышло». Нужно еще совсем немного: чтобы на ночевку пришел этот сто тридцатый «ЗИЛ» в «заезжку» возле Акташа. Там у «Совцветметтранса» поуютнее. Вроде все так же: спальня на 15 коек, комната-столовая, где рукомойник и печка. А все же чище как-то, и светлей, и дерево стен согревает глаз мягким коричневым тоном. А всего приятней—место... Заезжий дом стоит над горной речкой, окна прямо в нее смотрятся. И говорливый этот шум не мешает ничуть... Успокаивает.

...В этот раз в «заезжке» уже оттрапезовали. Еще не стемнело, и каждый находит себе дело. В углу—самодельная парикмахерская: процедура уже закончена, и «мастер» поливает одеколоном клиента. Прямо из бутылки, не забывая при этом дуть на голову: освежает. Кто-то пришивает пуговицу, кто-то возится с неведомой нам железкой: мелкий ремонт техники. А в центре внимания, конечно, домино. «Козла забивают» усердно, но, похоже, это не мешает привычным байкам.

На сей раз тема вечно новая: любовь. Благо повод для подтрунивания есть: один из сражающихся в домино—наш молодожен. Пока стирает жена—везет же людям!—его рубашку прямо на камнях реки, он не отрывається от коллектива. Зато и наслаждается вдоволь. И мы вместе с ним...

Ну, от самых соленых шуток мы зрителя избавим. Но, сдается, не подведет чувство меры приятелей-шоферов. Есть—не раз замечено—и у мужчин ощущение деликатности. А «потрепаться» о дорожных безымянных «амурах» или пошутить насчет того, как бы за рулем завтра не уснуть—отчего же нет? И смолкнут они разом, когда пройдет с выжатым бельем молодая. А потом?..

А потом (так мы хотим, а выйдет ли—не знаем), потом скажет кто-то из старших: вот что, мужики, давайте-ка спать... И по кабинам—там не хуже, даже мягче!..

И все—не сразу, но деликатно, потихоньку уйдут во двор, в медленно опускающийся весенний вечер.

Будет пустовать сегодня спальня-казарма. Почти пустовать—только двое останутся в ней.

...Шумит горная река в ущелье Акташ. Кто спит в кабине—дверь приоткрыта. Кто курит, присев на подножку; в наступающей

ночи ярче разгораются огоньки сигарет. В дальнем углу двора костерок развели: ночь все же прохладная.

В окнах спальни, что смотрят на речку, гаснет свет.

Гитарная струна да шум воды...

А на трассе, поодаль от шоссе, уткнувшись капотами в скалу, то там, то здесь нечуют уставшие машины, задраены стекла кабин.

И если на рассвете, проезжая мимо раньше всех, остановиться и погудеть—опустится стекло и первым выглянет девице лицо.

Встревоженные, смущенные, улыбающиеся лица...

Мы же договорились: не будем ханжами. Была, есть и будет любовь!

И где же быть ей—если не в этой стране, которую за красоту и богатство окрестили когда-то мечтатели и изгнанники Беловодья?

Рассвет застает долину Чуи в весеннем наряде. Все склоны сияют оттенками фиолетового и синего—цветет маральник. И белыми вспышками на фиолетовом—стволы берез и купы черемух. Светло-зеленая река петляет в зеленых берегах, и белые вершины гольцов венчают панораму.

Рассвет вступает под голоса жаворонков и дальних кукушек, под топот табуна и пастуший оклик всадника-алтайца.

Она в самом деле обильна, эта библейская земля...

Табун коней—белых коней—промчался на том берегу. Козьи, овечьи стада влекутся (как кстати это слово!) по тропам... Детство и юность, рассвет мироздания: белые и черные ягнята, козлята, табун жеребят при кобылицах.

Ниспадают с белых вершин фиолетовые ковры предгорий.

Праздник жизни, плодородия, счастья.

...Видят ли, ощущают ли его наши шоферы из кабин? До того ли им, когда надо вписать многотонный прицеп в вираж или протрястись по щебенке сотню километров?

Видят, непременно видят! Есть труд, но есть и романтика!

...Ну, теперь, кажется, все: дело сделано. «ЗИС-5» блестит черным лаком и отполированными поверхностями бампера и фар. Остались разве что последние штрихи: лобовое стекло протереть до блеска или лозунг на бортах выписать белым по трафарету. Вот еще баллоны подкачать...

Шипит насос: туда-сюда... Распрямляется, стирает пот один из ветеранов. Другой его подменяет...

Тут и последний разговор, последний «моток» нити: Снегирева-то не было, а был Ковалев! Тоже, правда, Колька!..

— Да вы его не слушайте, лучше найдите, кто придумал эту песню!..

— Мишка Михеев, электрик, стихами, статейками баловался... Живой, говорят, где-то в Новосибирске. Писателем стал...

— Вот пусть за свои писания-выдумки и отвечает: кто там утонул, а кто живой остался!..

Шипит насос: туда-сюда.

Так кто же тонул, а кто в живых остался? Не откроет ли что-нибудь нам «премьера»? Тот самый драмкружковский спектакль, которого мы давно ждем?..

Полон зал шоферского клуба. Зрители и актеры здесь давно знакомы, атмосфера теплая и своя. «Артистов» принимают неравнодушно.

И в самом деле любопытно: и костюмы из той поры, и само театрализованное действо.

Нам сейчас не дано описать его во всех подробностях. Не станем стеснять ни в чем постановщика: наверное, он придумает немало. И, наверное, зрелище это будет прекрасное в своем несовершенстве и в своей наивности. Романтическое «ретро» на самодеятельной сцене в клубе шоферов, в бийском Заречье:

И как птица, зеленая «АМО»
Над обрывом повисла на миг,
Говорливые чуйские волны
Заглушили испуганный вскрик!..

И будет испуганный крик... И возденет руки ошеломленная Раечка. И ударит в аккорде по струнам самостоятельный ВИА. И загремит листом железа ассистент за кулисами, изображая падение «АМО» на прибрежные камни.

И будет аплодировать зал.

И среди аплодирующих заметим и выделим мы двух сидящих рядом зрителей: милостивую женщину лет пятидесяти и высокого худого мужчину — лет семидесяти с гаком. Клару Николаевну Ковалеву и Михаила Петровича Михеева.

— Чуйский тракт—это мои банановые острова...

Что можно добавить к этой фразе Михаила Петровича? Вот и сейчас он, когда говорит, с трудом справляется с волнением. Давно не был в Бийске; давно не затрагивал этой темы... И ехать сюда боялся: юность есть юность.

— Тогда шофер на трассе был ровно сейчас летчик-истребитель или космонавт. В такой же кожанке и шлеме... И так же они погибали. И так же их встречали после смерти—с почетным караулом, и обломки грузовиков торжественно везли... У них

тогда на роду написано было—рисковать. Девки гужом за ними ходили. За Колькой—тоже ходили.

Вот и расскажет нам Михаил Михеев, как ему, молодому и небогатому слесарю, нечего было подарить на свадьбу своему другу, шоферу Коле Ковалеву и его невесте—Ирочке. И подарил он тогда, в 32-м, стихи, те самые стихи... Кольку так и оставил, только Снегиревым нарек. А Иру не только в Раечку перекрестил, но еще и водителем сделал геройским: это из автобусного-то кондуктора! Ну, сами знаете, дело поэтическое, без домысла не обходится...

— А кто-то взял гитару да напевать стал... Оно под музыку и пошло. Так-то ведь читать стыдно, текст не лучший... Но ребятам всем понравилось... Да и вранья там по сути не было, а только так, для красоты. Ребята эти друг друга любили по-настоящему, это их жизнь потом доказала...

— Очень любили папа и мама,—говорит Клара Николаевна,—очень...

Коля и Ира на фотографиях. Николай Павлович и Ираида Никифоровна... Вот и Клара появилась.

Идут годы. Меняются лица.

Что расскажет нам Клара Николаевна, инженер-конструктор, дочь Кольки «Снегирева»? Не знаем... Песню ведь эту сложили, когда Клары не было еще на свете. А потом, дома, вспоминали? Пели?

А может быть, волнуясь и сбиваясь, расскажет она, как вместе с мамой—совсем еще маленькой была—встречала на бийском перроне вернувшегося с фронта отца-инвалида... Как продала «Раечка» все, что могла, чтобы купить дорогое лекарство для больного туберкулезом мужа... Как поднялся от этой заботы на ноги Колька «Снегирев» и вновь сел за руль.

Как ни крути «баранку», а жизнь мудрее и щедрее поэтического вымысла. У нее свои способы испытать любовь на крепость. И доказать—была! Настоящая!..

Была и потом жизнь Колю Ковалева, доставала болезнью, бедами...

Может быть, нехотя, но расскажет нам Клара Николаевна, как «человек из легенды», Колька «Снегирев», подметал на склоне лет двор автобазы—за руль врачи не пускали.

Но «Раечка» и тут была рядом.

...Была и осталась. На бийском городском кладбище они лежат в одной ограде.

Михеев и Клара стоят у ограды. Цветет кладбищенская сирень.

Как там было в песне?..

На могилу лихого шофера,
Тот, что страха нигде не знал,
Положили разбитую фару
И согнутый от «АМО» штурвал...

...Музыка остановилась.
Нет штурвала на могиле.
Михеев бережно опускает на могилу букет.

В тишине перед нами открывается—нет, распахивается!—заповедное место Чуйского тракта, его тайна, его высота...

Там, внизу,—слияние Чуи с Катунью. Изогнутое зеленое драконье тело Катунь и пепельная помутненная вода Чуи.

Тишина вокруг. Горные вершины, густая синева ущелья, голые каменные плато.

Говорят, здесь любил помолчать Рерих.

Покой и истина мироздания.

Слияние навек.

— Может, полгода прошло, как запели песню,—досказывает Михеев,—и тут газета «Звезда Алтая» откликнулась. Написала, что, мол, песня псевдонародная... с элементами блатной речи... Что не борется за безопасность движения, а, наоборот, побуждает к лихачеству. И что автор должен нести ответственность. А спустя какое-то время вызывают меня в НКВД... Большой начальник, орден Красного Знамени у него, на круглой подкладочке. «Ты песню написал?»—спрашивает. «Я,»—говорю. Ну, а что чувствую при этом—вам объяснить,

наверное, не надо. Прощаюсь со всеми... «Молодец!—он говорит.—Хочешь, мы тебя в Литинститут пошлем? Очень хорошую песню, товарищ, сочинил!»

А ведь и правда, хорошую!.. Вот она звучит полногласно, без слов, в оркестре, и под нехитрую эту мелодию движется по Чуйскому тракту необычная процессия.

Впереди могучий КраЗ с молодым парнем за рулем, да и сзади такой же: эскорт. А посередине—наш знакомый, тот самый «ЗИС-5», в полном почете и блеске!

Ветви черемухи и маральника покрывают его капот и борта, и вихрь развеивает эти белые и фиолетовые «флаги». Ветер бьет в лица седым, крепким еще мужчинам, в шлемах с очками и кожанках, и они посменно—кто за рулем, кто в кузове—ведут авто по дороге своей жизни, по дороге-легенде.

Потому что легенда—это потребность человека в прекрасном. В том, чтобы добыть из повседневности высокое и вечное. Идущее от поколения к поколению.

...Вихрь бьет в лицо, треплет ветви черемухи и маральника, и мелодия льется по ветру:

Есть над Чуей-рекою дорога...

ЛЮБОВЬ

Еще совсем рано... Летний рассвет заглядывает в тесную комнату, заполняет всю ее ровным ясным потоком южного солнца... Потертый диванчик—постель не убрана; гора сложенных штабелями картин, прикрытая драпировкой; старый, побитый коричневая дерева мольберт—в углу, ближе к окну.

Пожилая—может быть, даже старая—женщина в заношенном, заляпанном краской халате распахивает рамы, впуская голоса птиц и гудки автомобилей... Она всматривается в начатый холст—холст стоит в изголовье ее постели, потом осторожно переносит картину на мольберт. Снова всматривается в обновленные рассветом краски.

Низкий глуховатый голос вступает за кадром: грузинские слова звучат пряно и плавно. И тихо вторит русский перевод—тоже женским глуховатым голосом:

Фильм по сценарию «Любовь» поставлен на Грузинской студии документальных и научно-популярных фильмов режиссером Л. Бакрадзе.

Не дарите мне платьев красивых,
Дорогих мне подарков не надо,
Только божий мой дар сохраните;
На тропу мою тень не бросайте
И оставьте все так, как было...

Женщина у мольберта берет в руки кисть. На самодельной прямоугольной палитре смешиваются тона. Ложатся краски на поверхность холста.

Буду тихо играть в свои игры
Вместе с птицами
И цветами,
И с зеленой травой высокой...

Ложатся мазки на полотно... Лежат морщины на челе... Смотрит женщина: печальные и прекрасные глаза.

Кольшется зеленая трава под набегающим ветром.

И появляется титр: «Любовь».

И еще один титр появляется вслед:

«Правдивая и удивительная история о живописце из Армении Геворге Григоряне (Джотто) и его жене из Грузии Диане

Уклеба-Григорян, рассказанная в картинах и в исповеди и стихах овдовевшей Дианы».

Крыльцо невысоко, пять-семь каменных ступеней. Но Диана Нестеровна поднимается неспешно: все же почти семьдесят пять. Ключ туго входит в замок, скрипит дверь. Над дверью надпись на камне: «Мастерская-музей заслуженного художника Армянской ССР Геворга Григоряна (Джотто). 1897-1976 гг.».

Хозяйка музея раздвигает шторы на окнах. Поправляет картину на стене. С картины смотрит на нее муж... Последний автопортрет, последний год...

Хозяйка садится за стол, открывает журнал посещений. Выписывает морщинистая рука очередную дату на чистом листе.

...Люди в маленьких залах музея сдержанны и молчаливы. Иначе и не может быть при встрече с художником такой мощи, такой неброской, но уверенной силы. Разворачиваются перед нами его могучие натюрморты и проникновенные портреты: коричнево-зеленая, охряно-черная гамма...

А в этом зале свет словно брызжет из глубины холста. «Диана» — так называется портрет. И еще одна «Диана»: оранжево-золотой и пурпурный, сияние молодости, свет красоты...

Старая женщина, хозяйка музея, что-то объясняет посетителям, стоя возле лучащегося солнцем портрета. Потом она умолкает... Нет, время не смогло стереть гордую осанку, притушить пылкий взгляд, измелчить спокойное достоинство облика.

Грузинские ритмы вновьпряно и плавно звучат за кадром:

Словно библию — книгу древнюю
Раскрываю сердце, перелистываю,
Так взволнованно,
терпеливо так...

Я ищу, ищу,
и мне видится:

В сердце бережно тайна спрятана
Драгоценной той, дивной радости,
Что была со мной,
что всю жизнь была

В нашей юности,
в нашей старости...

Звучат слова, перелистывает экран книгу сердца. Ее страницы — холсты и рисунки Геворга Григоряна... Мы «переворачиваем» их как бы в обратном порядке: от 70-х к 30-м. Пейзажи, композиции. Тбилисские дворики, груши Сагареджо, профили друзей... Лики вдохновенные, радостные, скорбные... «Лунное ласкание»... «Материнство»... Автопортреты разных лет чередуются с полотнами и рисунками, на которых Диана. Диана в венце кос, с ясным вопроша-

ющим взглядом... Молодой Геворг на раннем портрете... Диана задумавшаяся...

О, когда б, мой друг,
мы могли с тобой

Те страницы вместе вновь пролистать,
Знаю я, что вновь подивился б ты
Той любви, что в сердце
светится — горит.

Впервые — как бы возникая из сопоставления полотен — фотография. Почти свадебная, очень молодая. Он и Она. Удивительные лица. Его волевой напор. Ее мягкая большеглазая нежность.

Но звезда померкла
И угасла...

Смотрит с холста человек с лицом мудреца, которому открылась последняя тайна жизни. Кисть в руках. Страдальческий и удивленный излом бровей.

«Последний взгляд» — так называется эта работа Дианы Нестеровны Уклеба-Григорян.

— Это я потом написала... Через четыре года, как он, Джотто, умерла... А сначала я ничего не мог, только плакала...

Диана Уклеба рассказывает свою историю так, как будто все случилось вчера. Речь этой женщины поражает: неловкий русский язык, забавная и трогательная путаница женского и мужского родов, поиск необходимого слова — все это не мешает ее рассказу быть пронзительным. По сути, по чистоте выражения мысли, по редкой искренности и эмоциональности.

Она сидит на краешке дивана. Все тот же мольберт рядом, справа. На стенах квартиры картины Джотто, а ее — единственная: «Последний взгляд».

— Она последние слова сказал, за руку меня взял: «Не хочу лежать один. Хочу с вами». Я каждый день на кладбище ездила, как с ума сошла... Все пусто тут, на сердце... Домой вернусь — хоть умирай. А вот лежит его этюдник, и кисти — и словно кто-то шепчет: возьми, попробуй! И страшно мне очень, и что-то тянет... Вдруг открою этюдник — рука ее касается этюдника, шевелит замок, — а он оттуда посмотрит!..

Удивленный и страдальческий излом бровей Джотто.

— Шестьдесят семь лет мне было... Никогда раньше не пробовала... Рисовать училась, да. Но живопись... Джотто всегда говорил: «Вы хорошо цвет чувствуете, а я отнял у вас время писать». Я говорю: «Не беспокойтесь, лишь бы вам было хорошо». А тут — взяла кисть... Словно он сказал... И сразу легче стало.

Из стопки полотен, прислоненных к сто-

лу, она выбирает самый первый свой опыт: «Цветок бегонии». Еще только опыт... Но вот второй, третий натюрморт... Как крепнет линия, как набирает силу цвет! Мотив незатейливый и вечный: цветы и плодоносные ветви, и льющиеся линии драпировки.

Они и сегодня лежат на столе перед мольбертом: гранаты на фоне драпировки. Загрунтованный холст стоит в ожидании, но Диана не работает. Течет ее исповедь:

— Этот мольберт я ему подарила. Вот он тут работала, а я рядом сидела. Краски его готовила и вот так передавала. Он последние годы уже болела, плохо ходила—я его доведу до мольберта, я сильная была. Кресло вот это со спинкой достала, чтобы не падал, и кормила вот тут... У работы прямо, с ложечки...

Самое поразительное сейчас даже не рассказ Дианы, а то, как она все показывает.

— Я ведь с тех пор даже ремонт не делала, видите? А как я могу ремонт делать? Здесь Джотто жил, он этих стен касался, их нельзя красить...

Косынки дверей, ручки, выщербленные переплеты окон...

— Я уйду на кухню готовить, слышу—поет. Рисует и поет... «Джотто, что вы поете?»— «Мне хорошо!..» А это он пела, чтобы я не слышала, как он по картону руками бьет. Кисть уже плохо в пальцах держал, рукой краски клала и стучал, и песни громко—чтобы я не поняла, не огорчилась... Мы так любили друг друга, нет?

...Старый, побитый коричневого дерева мольберт в углу.

Негасим огонь любви
В сердце у меня...
Тень твоя перед мольбертом
Навсегда застыла.
Роза красная лежит
У подножья камня,
А в моей души долинах—
Горе голосит.

Лежит букет красных роз у подножья камня... Будний погожий день, на кладбище немногочисленно. Диана Нестеровна убирает старые листья и ветви, поливает посаженные цветы...

Устав, она садится рядом с надгробием на скамейку.

— Я сейчас на кладбище легко хожу. Когда я тут—он там, дома. Когда я дома—он тут... Я не знаю, лежит он тут или нет. Он—езде.

Светлое, даже чуть улыбающееся лицо. «Геворг Григорян, 1897—1976 гг.» выбито на стеле памятника. А на оборотной ее стороне так же выбито: «Диана Уклеба-Григорян. 1910—...». И тягостная, неведомая пустота за черточкой тире.

Дальняя музыка, свирель или флейта... Размывается в неясное марево гранит, проступает из него сельская дорога. Ветер шумит в мокрых кронах деревьев, мелкий дождь сеется паутиной... Молодая женщина в грубом черном платье босыми ногами ступает по прибитой дождем дорожной пыли. Мокрое платье облегает стройное тело, ветер шевелит волосы. Далеко-далеко: не разглядеть лица. Быль? Небыль?..

В дождь и ветер иду,
Мне твоя ласка нужна,
Что там случится потом,
Что будет после—не знаю.
Птица любви золотая
Плачет в груди у меня...

Переплетенные пальцы морщинистых рук. Круглые крепкие ногти со следами краски... Жест покоя? Или жест раздумья, перед тем как вновь взять в руки кисть?

Это руки Джотто—на фотографии. Она висит на стене комнаты.

— Он этой рукой вот так холсты ласкала, ласкала. Как ребенка...

Диана Нестеровна гладит рукой обратную сторону холста, натянутого на подрамник. Замирает рука...

— Мы бедно жили, пенсия—меньше ста рублей. Я картон где-то доставала, в магазинах, знаешь, упаковка. Джотто на нем писала... Я видела, ему совсем становится плохо... Деньги на базаре сэкономила, купила холст... Хотела его порадовать напоследок... Сама нарезала. Во дворе ремонт был—остатки деревяшек собрала. Ночью подрамники сбила, натянула... я сильная была.

У холстов, обернутых к стене, явно нестандартные подрамники, нескладно сколоченные из строительных реек.

— Я их утром вот сюда поставила—двенадцать штук... Он, как маленький, радовалась, после картонок... Сам на большие ноги встал. Говорит: «Эти холсты напишу и брошу рисовать»... А на следующий день—удар с ним случился. Ни одного холста так и не успел нарисовать...

Она замолкает. Потом встает, подходит к стене.

— Я их все потом сама записала.

И поворачивает одно за другим полотно. На этот раз перед нами ее автопортреты:

Так легко раскрыла крылья
Моя птица
И взлетела
Высоко над тихим садом...

Удивительны эти три портрета... И уже в первом из них—ключ к этой судьбе, да и к нашему фильму.

Женщина с лицом, озаренным предчувствием чуда, прижала к груди кисть. В

широко раскрытых глазах тревога и надежда. Чего ждет она от провидения?

Женщина на втором портрете так же прекрасна. Зеленая накидка ниспадает с головы на грудь, тонкая рука прижата к груди в почти молитвенном жесте. Лицо ее теперь спокойно и вдохновенно: судьба вернула ей любовь, наградив неожиданным даром.

И на третьем портрете устремлен вверх ее чистый, благодарный и теперь уже уверенный взгляд... Там, в небесах, в правом верхнем углу полотна держит в длинных пальцах сияющую, манящую пламенем свечу чья-то рука.

Так легко раскрыла крылья
Моя птица
И взлетела...

— Это Джотто рука там, вверху... Это он меня охраняет и ведет.

Через заросли трав пробивается, журчит ручеек. Еще несколько шагов к истоку: вот он, родник!.. Ключ бьет из-под земли, пульсирует, колышется ритмично зеркало воды в маленьком озере... Роятся взбалмученные током воды песчинки.

Зачерпывают ладони ключевую воду.
Омывает лицо Диана.

Родники детства... Вот отсюда все и начиналось. Давно, семьдесят с лишним лет назад, на окраине имеретинской деревни Курсеби. Тогда был родник на околице. Теперь — на улице разросшегося села. Трудно было отыскать, а все ж нашелся... Спасибо тем, кто сберег!

Сюда, к истокам своей жизни, Диана Уклеба приезжает нечасто. В этот раз на свиданье с детством и юностью привезем ее мы и попробуем вместе с ней ощутить волненье. Попробуем сделать так, чтобы перехватило волненьем горло и у зрителей.

Нет уже тех улиц, да и домов тех... Где та площадь, на которой заезжий торговец-грек подарил потрясенной пятилетней Диане саженцы орехов и красивую картинку: девочку с красным бантом? Где тот овраг, что дожди промыли к самому крыльцу такого неказистого, но родного дома? Где друзья детских игр — не эти ли вот старики с палками на крыльце сельсовета?

А вот старый колодец сохранился. Тот самый, к которому ходила по воду и в 8, и в 12 лет... Потрескался деревянный ворот, не раз менялась крыша над колодцем, не раз обрывалось ведро...

...Последний поворот рукоятки — и ведро встает на край колодца. Плещет темная чистая вода. Отражается в ней лицо Дианы Уклеба. Лицо старое и одновременно детское в своей чистоте.

Рябь на воде дробит отражение.

...Дальняя музыка, свирель или флейта.

Далеко вперед
Устремляю взгляд —
Молча обвожу
Мокрые поля...

...Молодая женщина с полными кувшинами-доки идет по тропинке среди высокой травы. Ступают по траве босые стройные ноги... Серое крестьянское холщовое платье облегает тело. Оттягивают руки тяжелые доки, остановилась, поставила их на землю... Далеко-далеко: не разглядеть лица... Небыль? Быль?

Кто приник к колодцу
В глубине души,
И меня тревожа,
Кто полощет руки?

— Мне все папу, маму жалко... Пятерых детей потерять — как с ума не сойти! Братья мои на войне, сестры в тылу погибли. Такая была семья хорошая... — На пустыре в Курсеби, в утренний час, когда еще нет прохожих и солнце только выглянуло из-за окрестных холмов, слушаем мы Диану: — Тут вот виноградник наш был небольшой... домишко бедный, но уютный. Когда младший брат погиб, известие пришло, папа виноград срезал. «Я уже не могу плакать», — говорит. — Пусть виноград плачет...»

На картине капает сок из срезанной виноградной кисти. Старый грузин держит ее в руках, упрямо глядя перед собой расщепленными, невидящими глазами... Младший брат, Алио, с беззащитно вытянутой детской шеей... Средний, Васко, обнявший шею коня... Дед-гончар, хранитель традиций рода... И, наконец, мама — в короне пышных пшеничных кос. И еще, и еще мама: грустная, тихая, с тем же, что и у дочери, пытливым взглядом. А вот и просветленная...

Как любила ты весной
Эти утра ранние...
Сердце чистое твоё
Чем бы мне порадовать?

Утреннее солнце поднимается над садами Курсеби...

Мама, ты зачем грустишь,
Траур надеваешь?
Знаешь, я пишу стихи
И рисую — знаешь?

Аплодисменты звучат широко, неистово. В залах художественной галереи в Кутиси — вернисаж.

Диана Уклеба встает неуверенно из кресла, выпрямляется, улыбается смущенно. Как легка, естественна и проста она дома, в разговоре или в работе, и как теряет грацию ее пластика здесь, в непривычном шуме похвал.

— Диди мадлоба!—кланяется она.

Может быть, самая большая радость сегодня—родная грузинская речь вокруг. Она у себя на родине. Дома!

Букеты, букеты, гора цветов... Улыбки, рукопожатия, поцелуи...

Что скажет она сейчас в наступившей тишине друзьям и поклонникам? Какие будут первые слова?

— Я никогда ничего бы не смогла сделать, если бы не Джотто!

У женщины на фотографии огромные печальные глаза. И в то же время тень легкой улыбки на губах. Простая прическа, прямой пробор—чистота и юная стать—не дашь и двадцати... Он прижался щекой к ее волосам. Упрямый взгляд сквозь стекла очков, плотно и решительно сжатые губы.

Мы уже видели эту фотографию, в начале фильма. Теперь вновь всматриваемся в нее: на стене, в квартире Григоряна.

Давно это было, в 37-м... Ей двадцать семь, ему—сорок. Через год после свадьбы.

Словно библию—книгу древнюю
Раскрываю сердце,
перелистываю...

— В войну, в Тбилиси, совсем уже невмоготу стало. Надо было Джотто ноги вырывать. У него всегда ноги болели, мерзли. Я на толкучке продала тогда часы, папин подарок, из серебра. И купила ботинки. Он в них ходила, долго не болела. Так меня ругал за часы: «Зачем вы это сделал?»

Вот он, натюрморт работы Дианы Уклебы «Ботинки Джотто». В самом деле, прочные, американские, видно, крепкой кожи... И написаны так же прочно и уверенно, сильной рукой. Как знак времени чуть поодаль—керосиновый фонарь, последний луч света в голодном, затемненном от бомбежек городе.

— А часы мне жалко... Жалко, что папин подарок, а не богатства. Зачем богатство? Пальто, правда, надо купить... Я очень богато могу жить: за картины Джотто такие деньги давали! И сейчас дают! Но я не хочу. Джотто умерла голодной, но картины не продавал... А я что, после его смерти буду продавать?

Она даже рукой взмахнула, не свойственным ей широким и сильным жестом.

— Вот все собрала в музей—пусть люди видят. Он хотел, чтобы я в Грузию поехала... Я, говорит, родину у вас отнял. Но тут сделали его музей, висят его картины... Тут его жизнь—и я тут останусь. Навсегда...

Пять-шесть каменных ступеней... Диана Нестеровна поднимается не спеша. Поворот ключа. Распахивается дверь.

Хозяйка музея раздвигает шторы. Еще есть несколько минут: постоять одной в пустых пока залах.

Холсты Джотто окружают ее, и ей тепло и не одиноко.

Кто там смотрит из прошлого? Молодая Диана в отсвете оранжево-красных тонов любви?..

Старая женщина встречает свой взгляд из прошлого спокойно, без сожаления и страха. Она не сдается.

Она работает. Упрямое и вдохновенное лицо, уверенные мазки. Она творит, и проходит перед нами в последний раз панорама еще не виденных ее работ.

Как похожи и одновременно не похожи друг на друга ее натюрморты! Как в сходных, но каждый раз иных очертаниях и оттенках раскрывается ее нежность, ее мощь, соприкосновение с вечностью! Кто лучше ее самой может сказать об этом?..

То я солнце,
То—луна,
То—ручей бурлящий,
То—вода из родника,
 чистая, прозрачная,

То метель,
То ветер горный,
То в саду укромном
Соловей ручной и мирный,
Вкрадчивый и томный.

Сменяется один холст, другой—и строки стихотворения руководят этой сменой.

То грозна, как зверь рычащий,
То, как зной, пронзаю.

Она работает. И лицо художницы, кажется, тоже вторит строкам.

То—как бог—
Не знаю смерти,
Старости—не знаю.

...На мольберте новое, только что законченное полотно. «Автопортрет»—но на этот раз совсем иной. Кажется, впервые она позволила себе написать свои годы... Свои морщины и седину... Но все равно, дыхание любви освещает холст—голубка на руках у женщины!—и так же устремлен в неведомое ее взгляд.

Дальний напев флейты...

Утренний туман лежит над горной рекой. Он растворяет очертания берегов, смягчает зелень роции, черноту холмов, синеву бурлящей воды.

Молодая женщина в длинном белом платье переходит реку вброд. Ступают по камням, разрезают струи потока босые крепкие ноги... Брызги и струи, стройная

осанка, неспешная и легкая поступь... Все ближе дальний берег...

Грузинские ритмы звучат пряно и плавно:

Нет не знаю,
Куда на рассвете
Мои мысли и думы
Бегут, мечтая...
Ступаю босая
В ручей —

Я уже на другом берегу,
И когда-нибудь буду с тобой
Или нет —
Я — не знаю...

...Вот она уже вышла на тот берег, и
скрылась, растворилась в тумане.

Кольшется росистая трава под набега-
ющим ветром.

СЦЕНЫ У ФОНТАНА

Он журчит негромко, этот фонтан... Причудливая зелень окаймляет его, и капли блестят на ворсинках длинных, подобных лианам, листьев. А струи почти неслышно взлетают и опадают, и сквозь их ажурную строчку прорисовываются голубые восточные орнаменты на стенках дворика.

«Сцены у фонтана» — уведомляет заглавный титр, а струи все рябят гладь бассейна, пятнают россыпь капель бетонные берега, песок вокруг.

Скользит наш взгляд по песку дворика. Песок незаметно сменяет сходящаяся земля, перевитая корнями степной полыни, катятся по выжженной степи кусты перекати-поля, и легкий шум воды «уплывает» под тихую гитарную музыку.

Странная степь... Полупустыня... Вроде безлюдна она, а сколько примет человеческого труда! Ржавое железо, искореженные трубы, обрывки то войлочных, а то блестящих, отливающих металлом одежд, проволока, какие-то щиты, и снова трубы, контуры недвижных тракторов, — и снова песок... Камера долго ведет нас куда-то... Куда? Но вот примешивается к гитарным переборам далекий механический ропот. Звук близится, усиливается, вот это уже рокот, вот уже — рев.

И только теперь находит объектив свою цель: рыжее и малиновое, в черных прогалах не успевающей сгореть нефти, бьет из земли могучее пламя. Яростный и угрожающий перст растревоженной Природы.

«Сцены у фонтана» — вторично удостоверяет титр. И пока ненасытная пламя взлетает и топорщится, словно поигрывая могучей мускулатурой, диктор сообщает нам сухо и официально, что 24-го июня 1985 года в результате допущенных нарушений режима буровых работ из скважины № 37 на нефтяной площади Тенгиз управления «Эмба-нефть» ударил нефтяной фонтан, который,

спустя двое суток, самопроизвольно вспыхнул в результате воздействия статического электричества.

...Он ревет и ухает, то обволакивается дымом, то освобождается от него. И камера, найдя рядом с ним — фонтаном — в небе солнце, обнаруживает, что солнце куда менее ярко.

...Спекшаяся почва в округе. Опустевшие отверстия муравейников, паучьих нор — никакой живности. На песке то там, то тут — обгоревшие перья и тела перелетных птиц, потерявших ориентировку...

Меланхолично пережевывая колючки, смотрят удивленно на столб огня вечные верблюды, и отблески пламени играют на их бесстрастных мордах...

СЦЕНА ПЕРВАЯ. ВОКРУГ ОГНЯ.

На обычном вагончике, из тех, что кочуют по промыслам, корявая надпись: «Штаб». Вокруг вагончика, как и положено, транспорт: «ГАЗики», автобусы, аварийные вахтенные машины. Чуть поодаль вагончик походной метеостанции; желтый «чулок» — указатель ветра — над ним. Подле дверей штаба — группа людей самого разного обличия. Кто в чем — от франтоватых полевых курток до странных шерстяных и суконных роб... На ногах сапоги, а то и валенки. На головах — шерстяные вязаные шапочки, войлочные шляпы, береты и белые кепи, а чаще всего — каски.

В открытых дверях вагончика появляется начальник штаба — в куртке, свитере и шерстяных штанах, заправленных в сапоги, — первый заместитель министра нефтяной промышленности СССР. Он пригласает, люди входят: очередная планерка.

...На вертолетную площадку шагах в пятидесяти от штаба, поднимая облако пыли, приземляется дежурный «МИ-8». Спускаются по лесенке вновь прибывшие: «фонтанщики» с рюкзаками за спиной, управленцы с чемоданчиками-дипломатами, инженеры с приборами.

Фильм по сценарию «Сцены у фонтана» поставлен режиссером И. Гонопольским на киностудии «Казахфильм».

...В аппаратной зарядки лежат ровными рядами дыхательные приборы индивидуального обеспечения: баллоны с кислородом, со сжатым воздухом.

...Мерно дребезжит стекло вагончика: это фонтан сотрясает землю округи. Ползут по столу стаканы, бутылки с минеральной водой.

Отсюда до огня—800 метров. Он виден и слышен с любой точки. Вагончики, машины, тракторы как бы окружают и теснят его со всех сторон.

Самое поразительное—никакой суеты. Никакого внешнего проявления бурной деятельности. Совершенно иные ритмы: сдержанные, сосредоточенные. Что-то «варят» сварщики, что-то варит кухня, курсируют автомашины, поднимая шлейфы мелкого песка.

Вот и передний край: до огня уже где триста, а где и сотня метров... То там, то здесь, партиями, группами—пожарные машины или смонтированные на мощных «Уралах» насосные агрегаты. Из скважин, из накопленных весною «амбаров», непрерывно перекачиваются по тугим шлангам, по металлическим трубам потоки воды. Туда, в огонь. Там, у самого фонтана, мощными струями вырывается вода через четырехствольные гребенки гидрантов. «Гребенки» окружают фонтан, и если взглядеться, можно увидеть водяную завесу, белые наклонные пологи струй.

Но как беспомощен, как бессилён этот напор рядом с яростью пламени! Воде под силу лишь испариться и снизить хоть незначительно температуру у устья фонтана: чтобы там могли работать.

Работать?.. Кто и как сможет проникнуть в это пекло?

Вот кто. Эти люди, сидящие, подобно солдатам в окопах, в своих укрытиях. В передвижных, на полозьях, платформах с двумя длинными скамейками вдоль металлических стен. Стены не до пола; в торцах платформа открыта, гуляет ветер. Белый металл стен отражает жар пламени. За ними можно отсидеться, потому что на открытом воздухе здесь не просто жарко. Жар слепит глаза, опалает лицо, печет тело. Чтобы смотреть в огонь, надо встать сзади металлического щита, воткнутого в песок. В щите—рваная прорезь, как в танке. Оттуда смотрят в пламя...

Но люди на лавках словно и не думают об аском пекле, пылающем в 100 метрах от их бивака. Кто-то смеется, кто-то рассказывает байки. Кто-то пьет «боржоми» прямо из бутылки или из личной кружечки... Рюкзаки с одеждой под лавками, каски торчат из-под шнуровки. Ящики с бутылками: полными воды и пустыми... Баллоны дыхательных аппаратов... И развешанные по стенам защитные костюмы: серебристого цвета из

металлизированных тканей... Гигантские серебряные бахилы, штаны и куртка с капюшоном, с закрывающим лицо прозрачным щитком-маской.

Кто уже одет в такие штаны, кто пока еще в сукне и шерсти, кто в мокрой от пота белой рубахе... Табор, цыганский табор, ощущение вольницы... Вот раздевается человек, словно загорать собрался. Вот просто спит, «кемарит», другой на груди прогoreвших костюмов...

Не торопитесь удивляться и пожимать плечами. Вглядитесь в эти лица. Они как десантники перед броском. Да и лавки—как в транспортном самолете.

Всмотритесь, как временами то один, то другой выглядывает из-за укрытия и, прикрываясь от жары козырьком ладони в рукавице, вглядывается в фонтан.

Там беснуется пламя, и пока отыскивают в нем что-то свое фонтанщики, бесстрашный диктор вновь сообщает нам, что температура в 20-30 метрах от устья около 400 градусов Цельсия, на самом устье—примерно 170 градусов, что уровень шумов—120 децибелл, а высота пламени—200 метров, что нефть вырывается с глубины в 5 километров под давлением 800 атмосфер и что содержание сероводорода в ней—около 18 процентов.

...Носилки для пострадавших лежат позади укрытия. Здесь же бутылки и аэрозольные упаковки с медикаментами.

Михаил Лукьянович Некрасов, командир части, плотный человек лет шестидесяти, подымает со скамьи «десантников». Пора...

Вот они и уходят: не оборачиваясь. В серебряных скафандрах, тяжелый шаг—беречь дыхание!—руки с ломами за спиной. Неторопливо, враскачку. Все труднее следить за ними: расплываются очертания блестящих фигур в мареве кольшущегося воздуха.

Уходят в огонь.

Зачем? Почему? Ради чего?

Что ж, все эти и другие вопросы мы зададим—только не у этого фонтана: здесь все равно ничего невозможно услышать. Лучше там, у того тихого и тенистого, чье журчанье и плеск так целительны после реактивного воя. Там распрямятся, отпустит напряжение сжатая пружина поединка. Там вместо засыпанных песком, пропахших нефтью роб наденут люди чистые рубашки, отмоются и побреются, и захотят передохнуть вместе с нами. Оглядываясь на прошлое, думая о будущем.

...Мы хотим пригласить к разговору разных людей, работавших на 37-й аварийной. «Генерала» Михаила Некрасова—опытного руководителя, за спиной которого 20 лет противопожарной службы у командного руля,—и Александра Стукалова, фонтанщика-бойца, всего лишь несколько лет провед-

шего в этом пекле. Талантливого молодого нефтяника, инженера-бурильщика Мурата Шавалиева из Гурьева—и Леона Кальну, посевшего ветерана, тоже «генерала», из Полтавы. Лучшего из командиров—Владимира Бондаренко, молчаливого двухметрового гиганта, надежного в любом переплете, и блестящего практика, человека огромного опыта Чингиза Агамалиева из Баку.

Спектр индивидуальностей подарит нам и спектр мнений. И тогда окажется, что на вопрос, ради чего человек шагает в огонь—а он и будет для нас главным в «сцене первой»,—ответить не так просто:

—...Деньги, разумеется, роль играют. Но платят не так уж много. Да всех и не заработаешь!..

—...Это мужская профессия. Сегодняшним хлопцам в самый раз, а то «засиживаются в детках».

—...Была совершена техническая ошибка, ее надо исправлять. Тут есть работа для ума. Интересно, всякий раз новое: один фонтан на другой так не похож!

—...Жалко: народное добро на ветер летит!..

Плещет фонтан, люди разговаривают негромко и искренне. Словно приглашают нас к раздумью.

— Ты отсидишься, он отсидится, я отсижусь... А кто тогда сделает?

...Они уходят в малиновом колеблющемся мареве, лиц не видно, походка вперевалочку. Под тихий плеск струй. Или вообще в абсолютной тишине.

А он—фонтан—надвигается все ближе и ближе, все в той же тишине: как бы с их точки зрения.

И вот он взревел!..

В самом деле, кому по плечу его побороть?

ИНТЕРМЕДИЯ

СОЛО ДЛЯ ФОНТАНА С ЧАЙКОЙ.

Бывают минуты, когда это кажется невозможным... Наглый и самодовольный фонтан пыжится, щеголяет своей мощью. То фыркнет клубами черной нефти, то мотнется под ветром в сторону... То подожжет оставшиеся возле устья недогоревшие цистерны и оттенит себя черным шлейфом дыма.

Страшнее всего смотреть на исток огненного столба. Там нет огня. Зато просто физически ощущается мощь потока: он так туго и яростно рвется из жерла, что пламя не удерживается, срывается. И только на высоте, метров через пятнадцать, оно «седает» фонтан.

Отсветы огня пляшут на стеклах кабин и вагончиков, пламенеют на земле, на искоре-

женных—зигзагом!—трубах, изодранных пожарных шлангах.

Ирреальный мистический «пейзаж после битвы». Серый высохший солончак и кусочки железа в нем, как скелеты погибших чудовищ. Мертвое болото в трещинах.

Сохнут губы, печет лицо... Ни шагу уже не сделать вперед...

И где-то близко от огня, на фоне его, нелепо прыгает по растрескавшейся земле обгоревшая чайка: лететь не может, обгорели крылья. Скачет, крутится на месте, мечется в страшном танце калеки. Ей не хватает сил убежать от человека, и парень-пожарник в брезентовой робе ловит птицу. Он опускает чайку в «амбар», яму с водой, из которой сосут день и ночь—не бесполезно ли?—пожарные насосы.

Слабо перебирает лапками в воде очумевшая птица.

Ложатся на мутную глинистую воду отсветы необоримого пламени.

СЦЕНА ВТОРАЯ. В ОГНЕ

И все-таки «не так страшен черт!»...

Поглядите-ка: человек в серебристом защитном костюме, совсем вроде бы неподалеку от огня, стоит, широко расставив ноги и, видимо,—не станем стыдливо отводить глаза—справляет малую нужду... Это при фонтане-то!.. Вызов?.. Брошенная перчатка?..

Вот, запрокинув голову, другой человек в войлочной шляпе пьет из бутылки «минералку» и, отерев губы рукавом робы, качает оценивающе головой, глядя на фонтан: «Хорош, хорош!»—вот точно так, с такими точно словами подходит наездник к коню-первогодку или дрессировщик в цирке к присевшему на задние лапы тигру...

...Потом они уходят. Чаще всего звеньями: по двое-трое. Неповторим ритуал одевания. Пока натягиваются серебряные штаны с помочами—даже комично. Но вот засовывается куда-то за пояс баллон со сжатым воздухом... А вот и финал: один одевает другого. Помогает накинуть на голову капюшон с маской...

Встряхивает головой, как отфыркивающийся конь, один. Другой огромной рукавицей натягивает ему шлем. Потом—наоборот. Что-то есть теплое, родственное в этом обряде...

Пошли!

Впереди грохочет трактор—он пятится к огню. Трактор одет в железный кожух, и наскоро прорезанные для обзора щели-амбразуры похожи на пробойны от снарядов—загнутыми опаленными краями.

На лицах молодых казахских парней-трактористов смесь восторга, отчаяния и

внимания. Они не отрывают глаз от зеркал заднего вида.

Там, в зеркале, ближе к огню, человек в серебряном комбинезоне управляет — дирижирует движением тракторов.

Азартные лица трактористов — одно, другое, третье... Пятясь, машины тащат в огонь длинные плети труб.

Повинуясь «дирижеру», трактора ускоряют ход, или замирают, или крутятся на одной гусенице в маневре, пока люди в костюмах отцепляют и прицепляют тросы.

Люди идут к фонтану под прикрытием тракторов. Но и для машин наступает предел, и трактор разворачивается и уходит. Теперь люди один на один с пламенем.

С тыла, «от окопов», смотрят в огонь те, кто остался ждать. Сквозь прорезь щитов... Прикрываясь рукой... Смотрят пожарники, выстроившись в ряд у своих машин, смотрит начальство возле «газиков», — амфитеатр взволнованных зрителей...

Только отсюда, издалека, и увидишь серебристые фигурки у огня. Да еще водяную завесу рядом с ними... Копошатся, не торопятся... Что же так мучительно долго?

Вооружимся телеоптикой. Вот теперь виднее: один человек ковыряет ломом бетонированную толщину возле устья: долбит шурф для взрывчатки. Двое других под прикрытием вынесенных к огню щитов страхуют. Лиц не видно: щитки из темного оргстекла закрывают глаза. Но что это — стальной лом в руках гнется, как будто сделан из пластилина!.. Вспыхивает и сгорает черенок лопаты, корезится ее ковш. 170° С на устье!

Вот человек откидывает лом и перебегает за щит. Другой, с другим ломом, занимает его позицию. Снова двое страхуют...

А в ста метрах от очага, «у окопов», все так же всматриваются в фонтан товарищи ушедших. Все, кто за них в ответе.

Рука робы у командира закатан: он следит за стрелкой часов. Время вахты в огне строго отмерено.

И снова мы слышим диктора: четыре месяца продолжают аварийные работы. Аналогичного фонтана не знает мировая практика. Помимо рекордного сверхдавления, нефть и попутные газы содержат в высокой концентрации крайне ядовитый сероводород. Сейчас он сгорает. Но если пламя удастся потушить, а сам фонтан при этом не будет ликвидирован — создается аварийная обстановка, грозящая катастрофическими последствиями.

Вот почему расставлены красные лампы и сигнальные сирены в разных частях лагеря.

...Бежит секундная стрелка на часах командира отряда. Пора бы выходить.

Тут самое главное — ничего не упустить на лицах.

Ждут полуодетые сменщики — осталось

надеть капюшоны: сейчас их очередь. Суетится, переходит от группы к группе Некрасов. Меряет шагами площадку у щитков Калына: взмокли седые волосы под каской. Спокойно, вроде бы прислонившись к трубам, сидят фонтанщики... Но нет-нет, да и косятся на огонь.

А этот не выдержал, повернулся спиной... Так легче спрятать волнение.

Наконец-то! Опускаются козырьки ладоней от глаз: идут, возвращаются!

Они пыгаются спешить — видно, немогут уже. Но шаг тяжелый, усталый... Стягивают рукавицы, снимают на ходу капюшоны: волосы мокры, как после купания, свистящее дыхание... У одних на лицах усталая улыбка, поднят вверх большой палец. Другие не в силах говорить: скорее бы опуститься на землю, прилечь, стянуть раскаленную «шкуру».

Как их встречают! Протянутая бутылка с водой, зажженная сигарета. Помочь раздеться, усадить... Сдержанная, без показухи, мужская нежность: приобнять, ударить ладонью по ладони.

А может стать и так, что двое выведут из пламени третьего — обессиленного и обожженного, и тогда быстро сорвут одежду, и желтая пена — лечебная смесь — брызнет из аэрозольного баллона на плечи и спину.

Обрызганный желтым, уже преодолевший испуг, но все еще непривычно тихий, он сидит в кругу участливо молчащих товарищей... Так бывает, вероятно, на войне...

А эти двое — Бондаренко и Кухарь — как будто с прогулки: улыбки, спокойны, точны в ответах. Это их обступили инженеры: как будто сдуло с песка «штабиста» с биноклем, забывшего о своей тучности; как будто прибавилось живости у Некрасова или Калыны. Что там?.. Сработал ли прием? Удался ли инженерный ход или надо искать новые пути?

В самом деле, «сцены у фонтана» — это и эпизоды творческих вспышек, новые идеи, наступления и отступления, надежды и разочарования.

При нас долбили бетон ломками... Пытались взрывать... При нас стремились размыть грунт из гидропушки. И тогда подтащивал трактор ее все ближе к огню, и монтировали фонтанчики водяную магистраль, скручивали муфты при 200° по Цельсию, и рвалась тугая струя, и плясали стрелки манометров на агрегатах-насосах, и освещались надеждой лица — чтобы потом погаснуть...

При нас шел в пламя танк и отстреливал из орудия тяжелую арматуру над устьем фонтана. А потом шли на устье фонтанщи-

ки, чтобы зацепить тросами остатки металла и трактором выволакивать их.

И была радость «улова» или горечь неудачи: ничего не вышло, сорвался трос...

...Надо смотреть и видеть. Что бы ни происходило там, в огне,—после короткого совещания пойдет к устью новое звено. А остальные опять будут ждать.

И будет бежать стрелка по кругу часов. А диктор сообщает, что любой фонтан непредсказуем, что в 1975-м году в городе Грозном, например, семь человек одновременно погибли при ликвидации фонтана, и что поэтому для работы в этой службе требуются особые качества.

Какие же?

Еще раз вернемся мы к тихим струям во внутреннем дворике гостиницы, к спокойному раздумью и взвешенным, но искренним ответам.

— Страшно. Мурашки по коже... Но когда в руке трос — только цель и помнишь!..

— Нужна обдуманность каждого шага... Надо себя подсобрать. Самое важное — четкий самоконтроль.

— Здоровье прежде всего!.. И опыт надо набирать, во все нос совать. Тогда приходит чутье, как у зверя. Чувство опасности, возможной беды...

— Одновременно нужны и самостоятельность, и абсолютный контакт с партнером. Психологическая совместимость — как в космосе! Когда я к устью иду — обязательно смотрю, с кем иду... Это правильно говорят: «чувство локтя».

— Толковая организация нужна. Без лихорадки, без разгильдяйства, когда того не привезли, а этого не сделали. А такое — бывает!

— Не на рожон переть, а чтобы все надежно сделать, без людских потерь.

— Если овладел профессией — то делаешь все автоматически. А думаешь о другом: что было в молодости, как там семья...

— Да не в смелости дело! *Надо!*

...Дробят фонтанные брызги поверхность бассейна, просвечивает мозаика дна.

...Садится, сделав круг у огня, вертолет. Очередной десант сходит по ступеням, не дожидаясь, пока осядет пыль. С рюкзаками и дорожными «сидорами» — эти здесь не впервой, уже обстрелянные, старожилы. Выгружают ящики и упаковки.

Тракторы вновь пятятся в огонь — «пушки к бою едут задом».

И идут неторопливо вслед за ними люди в блестящих костюмах с опаленными прорезами на рукавах и штанинах.

АНТРАКТ. НОЧЬ У ФОНТАНА.

Ночью фонтан не ведает отдыха. Разве что стихает ветер пустыни, и «свеча» выпрямляется гордо и строго.

Мы не слышим на сей раз грозного рева — его заменяет музыка.

Фонтан горит торжественно. Он царит и пирует, и полная луна рядом с ним выглядит сиротливо и неуютно.

Ночью, в ровной степи, его видно за тридцать земель. Вот и на вахтенном комплексе в 30 километрах от очага — здесь ночуют смены — пляшут по окнам общежития сполохи.

Спят фонтанчики: пусто в освещенном коридоре общежития, плотно прикрыты двери всех комнат. Каплет тихо вода из крана. На сушилке в прихожей — сапоги и ботинки...

...Прислонившись к «газику» спиной, молча курит Некрасов, глядя в степь, туда, где уже четвертый месяц полыхает эта свеча.

Фонтан горит, и свет его сбивает с пути осенние караваны перелетных птиц, спешащих на юг с каспийских заливов. Сезон охоты, и кто-то постреливает в ночной степи: что ему фонтан!

Где-то за полночь, около двух, косяки уток влетают в шлейф пламени. Черные тела прочерчивают малиновый фон, корчатся и падают ничком на песок с глухим стуком.

Что это? О чем предупреждает нас природа? О том, как мы не бережливы и не сдержаны? О том, как в непростых контактах с ней надо семь раз отмерить, прежде чем отрезать?.. Хочет погрозить пальцем: помни о моей силе? Кто ты, человек, и кто — я!..

Говорят, фонтан на Тенгизе фотографируют космонавты. Вот бы нам в фильм такую фотографию! Серебристая полусфера в лучах Луны, угадываемые очертания Каспия и яркая красная точка — у самого черного провала моря с серой твердью материка.

Всего лишь точка — из Космоса.

И огненный смерч вблизи, когда ты рядом.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ, НО НЕ ПОСЛЕДНЯЯ.

«ИДУ НА ВЫ!»

А утром «ветер с востока одолевает ветер с запада»; ветры меняются каждые два часа, и нет времени на фонтане хуже этого... С какой стороны подступиться к нему?

Тракторы цепляют укрытия фонтанчиков и волочат их вокруг него на наветренную сторону. Фонтанчики сидят на скамейках, кто-то вскакивает на ходу — эх, прокатиться! — но веселость эта — деланая.

Работать надо, а работы — нет.

Болтаются из стороны в сторону «колба-

сы» или «чулки» метеостанции и вертолетной площадки.

Пыль и песок летят по дорогам, бежит перекасти-песок.

Стопились в кучу, как овцы в непогоду, тяжелые тракторы. И даже двигатели в них, против обыкновения, выключены.

И только сыплется водяная пыль из брандспойтов гребенок, не долетая до устья фонтана.

А если двинуться по металлическим трубам и брезентовым шлангам назад, от огня, то камера приведет нас к насосам пожарных машин и агрегатов, день и ночь делающих свое дело.

Вон как обмелели уже «амбары»!..

У насоса дежурный пожарный залег в тень машины, в руках свежая газета... Воду останавливать нельзя, вдруг ослабнет ветер, и люди пойдут на устье?

А пока на стенках укрытий, обращенных к нему, раскачивает ветер развешанные аварийные костюмы. Безжизненно болтаются ноги-бахилы, головы-шлемы... Каски, подвешенные к потолку, тоже качает ветер. Лежат бесхозные торбы и рюкзаки... Ушли — кто в вагончики, кто к штабу.

Спят люди прямо за козырьком укрытия.

На койке в вагончике, утрюмо глядя в потолок, вытянулся Некрасов: давление пошаливает. Да и настроения нет — действовать же надо!

Потому что он горит и горит. И диктор сообщает документально строго, что в момент выброса было уничтожено все обустройство буровой на сумму в несколько миллионов рублей. И что сейчас ежедневно выбрасывается и сгорает 8-12 тысяч тонн ценнейшей нефти, то есть сгорает дневная продукция мощного объединения. К этому надо еще добавить расходы на топливо для техники, ее амортизацию, зарплату, питание, транспорт на каждый день аварийных работ...

Нет, надо действовать!

Оттого и нужен нам этот медлительный разворот «сцены третьей», чтобы созрела neodолжимая потребность рабочего порыва.

Вот он — час штурма: «пан или пропал!»

И тут уже трудно что-нибудь описывать, потому что это надо прежде увидеть: этого еще не было.

Была разве что вот эта массивная конструкция, напоминающая дальнобойное орудие, — ее мы уже не раз замечали на рабочей площадке около штаба. Есть смысл всмотреться в нее. Именно в ней — ключ к успеху всей операции. Пока расчищали снарядами и тракторами устье фонтана, пока готовили площадку, каждый раз рискуя собой, в Грозном торопились изготовить «гидравлический натаскиватель». В последний час боя тракторы должны натаскать эту конструкцию на фланец трубы, а гидравли-

ка — выпрямить ее и надеть прямо на струю мощную заглушку с арматурой. Если удастся — фонтан захлопнется: так в старину после бала специальной крышкой тушили свечи канделябров.

Потом сотни автоагрегатов, опоясавших площадку, обрушат в скважину глинистый раствор под давлением — навстречу нефтяной струе, чтобы задвить ее.

Но чтобы все это произошло, надо открыть доступ к устью, снять с трубы все лишнее. Да так, чтобы не повредить фланец: иначе ничего не надеть.

Тут уж ни выстрелить, ни взорвать...

Значит, снова пойдут люди в огонь: откручивать или срезать болты — а мы будем это снимать.

Значит, снова будут оттаскивать ненужный лом — а мы и это будем снимать.

А потом настанет час, и в штабе примут решение: «иду на вы!» — и поползут трактора, волоча за собой могучую «дуру» натаскивателя, а мы и это станем снимать.

...Так что же: «пан или пропал»?

Не знаю. У этой истории пока что открытый финал.

ЭПИЛОГ.

Помните, у Пастернака: «но поражение от победы ты сам не должен отличать»?

Это про наших героев и про наш фильм.

Разумеется, даже представить трудно, какое будет потрясение, если на наших глазах могучая «нашлепка» из жаропрочного металла наползет на него — и джинн оглохнет и ослепнет, и все ревущие 120 децибелл рухнут до нуля, и воцарится тишина, чтобы услышали мы в ней (впервые явственно!) ликующие голоса и увидели бы, как в воздух полетят отнюдь не чепчики, а каски, а то и сами шестипудовые фонтанчики!

А потом закипят бурным движением муравьиные норы, запрыгают трясогузки по искореженным трубам, и спокойно потянутся над Тенгизом стаи белых гусей, и верблюды будут все так же меланхолично жевать свою жвачку, только не будут играть в их больших печальных глазах огненные отблески...

Ну а представьте себе, что «нашлепка» сядет на него, но фонтан взревет, двинет могучими плечами и сорвет все, да так, что клубясь дымом и огнем, песком и пылью, скроется все в черном мареве взрыва?

Что делать им, фонтанщикам, — да и нам — тогда?

Ничего, кроме как собирать силы для новой попытки.

...Но в любом случае услышим мы в третий раз плеск фонтана в гостинице — мы ведь собрали всех перед отъездом — и снова задумаемся о самом главном, существенном.

— Что значит «поражение»? Мы не имеем права не довести дело до конца.

— Конечно, хорошо, если бы фонтаны не возникали. Но их создает, увы, человек. Это неизбежно.

— Тут горький парадокс, знаете ли: мы обязаны фонтанов не допускать. Профилактика, так сказать... Но если только так и будет,— значит, мы лишим себя каких-то самых ярких мгновений жизни.

— Про нас говорят: «наркоманы». Или — «смертники». Это чушь, конечно. Но жить без фонтанов скучно. Какая-то неполноценность!

— Это по вашей, конечно, части, по искусству... Но написано же: «есть упоение в бою!»

Есть, это верно. Про это мы и хотели рассказать.

...Стекают прозрачные капли по причудливой листве, дробится мозаика на дне бассейна.

А колонны фонтанчиков уходят с 37-й аварийной.

Вереница тяжелых «Уралов». Автобусы, цистерны, самосвалы. Уходят гуськом непривычно тихие красно-белые «пожарки». Увозят на прицепах метеостанцию и штаб.

И колонна штабных «газиков» пылит по песчаной дороге среди зарослей и колючек. Все меньше они, все слабее их очертания.

И взлетает, зависнув в прощальном привете, вертолет.

Обернемся, уходя... Что мы увидим сзади? Тишину и покой? Или все тот же грозно гудящий огненный столб?

Если даже и так—это не капитуляция.

Армия отступает в порядке. Сегодня он— сильнее. Пока что сильнее.

Но армия еще вернется.

И тогда у наших «сцен» возникнет продолжение. А почему бы и нет? Например: «Сцена четвертая. Дай отдохнуть и фонтану».

Помните, куда бы ни поворачивалась камера, маячили в мареве за фонтаном две буровые... Все время, пока шло сражение с огнем, на них шла четкая работа: пробуривались наклонные скважины в направлении ствола тридцать седьмой. Того самого, из которого так яростно рвется на волю подземное нефтяное озеро... Где-то в декабре наклонные стволы опустятся к отметке 4800, приблизятся к руслу нефтяного потока. Тогда останется заложить в них взрывчатку, и...

Увидим ли мы на экране этот финал? Или сообщим о его результате в титре-послесловии на черном пленочном ракорде?

Не будем загадывать. То, что мы хотели рассказать в наших «сценах», мы выскажем, как бы ни развернулись события.

И пусть улетает вертолет—ведь не о фонтане, в конечном счете, эта лента.

Она о красоте человеческой в час испытания.

P.S. В фильме фонтан так и остался непокоренным. Ликвидирован он был спустя год, один месяц и четыре дня после возникновения. Скважина № 37 на нефтяной площади Тенгиз законсервирована и подготовлена к будущей эксплуатации. Авторы работают над новой лентой о фонтане под названием «Послесловие».

СКАЗАТЬ СВОЕ

По сценариям Леонида Гуревича поставлено более семидесяти документальных лент. Чуть ли не каждая третья отмечена дипломом или призом, некоторые награждались по многу раз. На сегодняшний день в послужном списке Леонида Гуревича тридцать одна награда. Количество попаданий довольно редкое в судьбе кинодраматурга-документалиста, что должно, наверное, иметь свою причину. Возможно, даже не одну.

Учтем, что за его плечами—не только годы работы редактором, но и полнометражная иэровая картина, где в титрах он фигурирует в качестве режиссера-постановщика. Мы часто встречаем его фамилию и на страницах журналов и газет—он выступает там как напористый, а иногда и очень хлесткий критик. Существует Гуревич-теоретик и даже Гуревич-философ. Блестательный мастер публичного выступления, он объездил немало городов по путевкам Бюро пропаганды киноискусства. Сегодня, в качестве признанного мэтра он ведет мастерскую на Высших режиссерских курсах при Госкино СССР.

Многообразие интересов? Многообразие таланта.

При чтении любого из сценариев Л. Гуревича бросается в глаза, что они многослойны, «многосоставны», в них богатый опыт практика постоянно проверяется отточенной критической мыслью. С другой стороны, сценарии Л. Гуревича оказываются удивительными—убедительными!—аргументами в теоретических спорах последних лет. Например, о месте сценариста в докумен-

тальных жанрах. Написанное им не следует играть, изображать, а надо как бы подсмотреть. Но можно ли дважды войти в одну и ту же реку? Вот и получается, что, как ни крути, работа сценариста в этой области оказывается «преднаблюдением». Работой разведчика, иначе говоря.

Опередив основные кинематографические силы—те, что занимаются собственно съемкой,—имея времени гораздо больше, чем они, сценарист должен аналитически овладеть объектом, нащупать неизбежные помехи завтрашнему общему продвижению, выявить возможные препятствия—они могут прятаться и в трудном для съемки месте действия, и в трудном характере главного персонажа.

Л. Гуревич проектирует фильм. Он перечисляет то, что невозможно упустить, то, что приподнимает снятое над обыденным, приземленным уровнем—к уровню символа. Он не останавливается перед чисто профессиональными указаниями, как это надо запечатлеть, каким должен быть объектив и куда следует направить микрофон. Он бегло перечисляет будущие возможности—какая-то из них обязательно пригодится. Похоже, он уже поставил свой фильм в уме и несколько раз его перемонтировал. Но всего этого было бы мало, если бы не главное отличие его произведений от того, что слывет средним сценарным уровнем,—в его текстах нас поджидает личность.

Сначала это личность повествователя. Ни одна из проблем не существует на экране в вакуумной стерильности. Напротив, эмоциональное, заинтересованное отношение к ней автора подчеркивается и выявляется многообразно. К собственным своим ощущениям Л. Гуревич относится как к материалу глубоко общественному по содержанию. Он твердо надеется на переключку с ощущениями зрителя. Такой контакт и есть, по Л. Гуревичу, смысл, итог документального (разве одного только документального?) фильма. В отличие от логического, информативного перечисления «сторон и аспектов данной проблемы». Такое годится только в просветительскую ленту, да и ее не украшает.

Затем в силовом поле экранной структуры наводится и возникает вторая личность—личность того, чей портрет предлагается нашему вниманию. Проблема, как бы она ни была интересна сама по себе, для Л. Гуревича всегда заземлена на некоем «проблемоносителе». Это может быть волшебник-хирург, приводящий в порядок детские сердечки. Или мастер пластической хирургии, дарящий желающим скульптурные носы. Это может быть человек, всю жизнь мечтающий взлететь в небо на особом, своем собственном, аппарате. Или Иван Самойлов, восстанавливающий в полном одиночестве заброшенный храм, чтобы открыть в нем музей. Или Давид Арсенишвили, создатель и первый директор музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Это может быть коллективный портрет людей, воюющих с пылающими газовыми фонтанами. Сначала—портрет, а «проблема фонтанов»—потом.

Согласившись с этим, читатель должен будет принять и наш вывод. Существуют журнальные очерки—вроде лекций или докладов, с цифрами, фактами, статистическими выкладками. Но существуют еще «очерки нравов». Разгадка Л. Гуревича в том, что он делает вполне художественное кино. Художественное кино на документальной основе.

Виктор Дёмин,
кандидат искусствоведения

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ!

Литературно-художественный альманах «Киносценарии» выходит четырнадцать лет. И надо полагать, читатели уже неплохо осведомлены об основных тенденциях развития отечественной кинодраматургии, знакомы с творчеством ведущих мастеров, особенностями нашего издания. Очевидно, пришло время и альманаху поближе познакомиться со своими читателями. Пока нам известно лишь число подписчиков: за два года, с той поры, как альманах стал подписным изданием, оно возросло с 35 до 68 тысяч.

Редакционная коллегия и редакция альманаха просят вас, дорогие читатели, сообщить, что нравится в нашем издании, а что нет, каково ваше мнение о его художественном и полиграфическом оформлении, что вы хотели бы предложить для того, чтобы альманах стал содержательнее и интересней лично для вас. Хотелось бы знать, повышает ли предварительное знакомство со сценарием интерес к фильму, по этому сценарию поставленному. Просим также указать при этом ваш возраст, профессию, место жительства — республика, область, город, сельский район.

Ответы на эти вопросы помогут нам при подготовке программы работы редакции на следующий, 1988 год. Обзор писем будет, разумеется, опубликован на страницах альманаха.

Пишите нам по адресу: 103006, Москва, Воротниковский переулок, дом 12.

Редакционная коллегия

1р.20к.
70434

КИНОСЦЕНАРИИ

1987

2